

*НОВЫЙ
Журнал*

133

*THE NEW
REVIEW*

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Required by 39 U.S.C. 3685)

1. Title of Publication — The New Review. — A. Publication No. 596680

2. Date of Filing — [Sept. 30. 78.]

3. Frequency of issue — Quarterly. — A Number of issues published annually — 4
— B. Annual Subscription price \$20.

4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

5. Location of the headquarters or general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

6. Names and complete addresses of publisher, editor and managing editor—
Publisher, The New Review Incorp. 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025; Editor,
Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N.Y. 10025.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given.)

The New Review Inc. — 2700 Broadway, New York, N. Y. 10026; Alexis Goldenweiser — president, 523 West 112-th Street, New York, N. Y. 10025. Zoya Yuricff — secretary 46-04, 196-th Street, Flushing, N. Y. 11358. Peter Muraviev — treasurer 316 Monroc Ave. Wyckoff, N. J. 07481.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities.—None

9. For completion by nonprofit organizations authorized to mail at special rates (Section 132.122, Postal Manual).

The purpose, function, and nonprofit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purposes.—Have not changed during preceding 12 months.

10. Extent and nature of circulation

	<i>Average No. copies each issue during preced- ing 12 months</i>	<i>Actual number copies of sin- gle issue pub- lished nearest to filing date</i>
A. Total No. copies printed (Net Press Run)	1500	1500
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	64	68
2. Mail Subscriptions	1173	1225
C. Total paid circulation	1237	1293
D. Free distribution by mail, carrier or other means, samples, complimentary, and other free copies	38	40
E. Total distribution (Sum of C and D)	1275	1333
F. Copies not distributed		
1. Office use, left over, unaccounted, spoiled after printing	225	167
2. Returns from news agents		
G. Total (Sum of E & F 1 and 2— should equal net press run shown in A)	1500	1500

11. I certify that the statements made by me above are correct and complete.
(Signature of editor, publisher, business manager, or owner)—Roman Goul, Ed.

12. For completion by publishers mailing at the regular rates (Section 132.121
Postal Service Manual).

Signature and Title of Editor, Publisher, Business Manager, or owner

Roman Goul, Editor

**THE
NEW REVIEW
Новый Журнал**



Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 до 1975 редактор Роман Гуль

*С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский*

Тридцать седьмой год издания

РЕДАКЦИЯ:

Г. АНДРЕЕВ и РОМАН ГУЛЬ (главн. редактор)

Секретарь редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW. DECEMBER 1978

Quarterly No. 133

2700 Broadway, New York, N. Y. 10025

Subscription Price \$20 — for one year

Publisher: New Review Inc.

Second Class Mail postage paid

at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>М. Волошин</i> — Владимирская Богоматерь	5
<i>Р. Гуль</i> — Я унес Россию	9
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	46
<i>П. Палий</i> — Военнопленный № 7172	48
<i>Ю. Иофе</i> — Стихи	78
<i>Г. Андреев</i> — Минометчики	80
<i>В. Вейдле</i> — Костер Геракла	102
<i>Забывтая статья Н. Гумилева</i> (публ. Г. Струве)	105
<i>В. Перелешин</i> — Стихи	120
<i>А. Скидан</i> — Н. Набоков и его "Багаж"	121
<i>М. Крепс</i> — Стихи	126
<i>Л. Тарасюк</i> — Фехтовальщики Пушкинского времени	127
<i>Б. Садовской</i> — Заметки	135

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>А. Бахрах</i> — По памяти, по записям. Разговоры с Буниным	144
<i>Письма И. Бунина к М. Вейнбауму</i> (публ. А. Раннита)	177
<i>Письма М. Цветаевой к В. Рудневу</i> (публ. Г. Лимонт)	189
<i>Ю. Кротков</i> — Конец маршала Берия	212
<i>Полк. Ф. Елисеев</i> — В Индокитае	233

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>М. Михайлов</i> — Не глубоко, но правдиво	247
<i>Рой Медведев</i> — Н. Хрущев на пенсии	257
<i>С. Войцеховский</i> — Неудачное совпадение	277

ПАМЯТИ УШЕДШИХ: прот. <i>А. Киселев</i> — Светлой памяти <i>И.В. Морозова</i>	283
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: <i>К. Аренский</i> — Н.К. Печковский. — Самоубийство <i>И.В. Морозова</i>	285
БИБЛИОГРАФИЯ: <i>С. Женук</i> — Проф. <i>С. Пушкарев</i> . Ленин и Россия. — "Русское Возрождение" №№ 1 и 2. <i>Л. Ржевский</i> — Книги на литературоведческой полке. — <i>Книги для отзыва</i>	290

*

Склоняясь ниц, овеян ночи синью,
Доверчиво ищу губами я
Сосцы твои, натертые полынью,
О, мать-земля!

Я не просил иной судьбы у неба,
Чем путь певца: бродить среди людей
И растирать в руках колосья хлеба
Чужих полей.

Мне не отказано ни в заблужденьях,
Ни в слабости, и много раз
Я угасал в тоске и в наслажденьях,
Но не погас.

Судьба дала мне в жизни слишком много
Я ж расточал, что было мне дано:
Я только гроб, в котором тело Бога
Погребено.

Добра и зла не знаю верных граней,
Бескрылая изнемогла мечта...
Вином тоски и хлебом испытаний
Душа сыта.

Благодарю за неотступность боли
Путеводительной: я в ней сгорю.
За горечь трав земных, за едкость соли
Благодарю.

Эти, насколько нам известно, нигде еще ненапечатанные два стихотворения
М.А. Волошина получены нами с оказией из СССР. РЕД.
Copyright by The New Review, New York, 1978.

ВЛАДИМИРСКАЯ БОГОМАТЕРЬ

Не на троне — на Ее руке,
Левой ручкой обнимая шею,
Взор во взор, щеку прижав к щеке,
Неотступно требует... Не мею —
Нет ни сил, ни слов на языке...

Собранный в зверином напряженьи,
Львенок-Сфинкс к плечу Ее прирос,
К Ней прильнул и замер без движенья.
Весь порыв, и воля, и вопрос.

А Она в тревоге и в печали
Через зыбь грядущего глядит
В мировые рдеющие дали,
Где Престол пожарами повит.

И такое скорбное волнение
В чистых девичьих чертах, что Лик
В пламени молитвы каждый миг,
Как живой, меняет выраженье.

Кто разверз озера этих глаз?
Не святой Лука-иконописец,
Как поведал русский летописец,
Не Печерский темный богомаз: —

В раскаленных горнах Византии
В злые дни гонения икон
Лик Ее из огненной стихии
Был в земные краски воплощен.

Но из всех высоких откровений,
Явленных искусству, — он один
Уцелел в огне самосожжений
Посреди обломков и руин.

От мозаик, золота, надгробий,
От всего, чем тот кичился век,
Ты ушла по водам тихих рек
В Киев княжеских междоусобий.

И с тех пор, в часы народных бед
Образ Твой, над Русью вознесенный,
В тьме веков указывал нам след,
И в темнице-выход потаенный.

Ты напутствовала пред концом
Воинов в сияньи литургии...
Страшная история России
Вся прошла перед Твоим лицом.

Не погром ли ведая Батыя,
Степь в огне и гибель южных сел,
Ты, покинув обреченный Киев,
Унесла великокняжий стол?

И ушла с Андреем в Боголюбов,
В прель и глушь Владимирских лесов,
В тесный мир сухих сосновых срубов,
Под намет шатровых куполов.

И когда Хромец Железный предал
Русский край мечу и разорил,
Кто ему в Москву прохода не дал?
Кто на Русь дороги заступил?

От лесов, пустынь и побережий
Все к Тебе за Русь молиться шли:
Стража богатырских порубежий,
Цепкие сбиратели земли.

Здесь в Успенском — в сердце стен Кремлевых
Умилясь на нежный облик Твой,
Сколько глаз, жестоких и суровых,
Увлажнялись светлою слезой.

Преклонялись старцы и черницы,
Дымные мерцали алтари,
Ниц лежали кроткие царицы,
Преклонялись хмурые цари...

Черной смертью и кровавой битвой
Девичья светилась пелена,
Что осьмивековой молитвой
Всей Руси в веках озарена.

И Владимирская Богоматерь
Русь вела сквозь мерзость, кровь и срам,
На порогах киевским ладьям
Указуя правильный фарватер.

Но слепой народ в годину гнева
Отдал сам ключи Твоих твердынь,
И ушла Предстательница-Дева
От своих поруганных святынь.

И когда кумачные помосты
Подняли перед церквами крик, —
Из-под риз и набожной коросты
Ты явила подлинный Свой Лик:

Светлый лик Премудрости Софии,
Заскорузлый в скаредной Москве,
А в грядущем — лик самой России
Вопреки наветам и молве.

Не дрожит от бронзового гуда
Древний Кремль и не цветут цветы.
В мире нет слепительнее чуда
Откровенья вечной красоты.

Посыл А.И. Анисимову.

Верный страж и ревностный блюститель
Матушки Владимирской — тебе
Два ключа: золотой в Ее обитель,
Ржавый — к нашей горестной судьбе.

Я УНЕС РОССИЮ

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

ГЛАВА 2. РОССИЯ В ГЕРМАНИИ.

”Новая русская книга”

Часто в ”НРК” приходил тишайший Борис Константинович Зайцев. С Яшенко они были хороши по Москве. Иногда он заходил со своей энергичной, остроумной женой Верой Алексеевной. В Берлине Зайцев издал три тома своих старых рассказов и пьес (”Тихие зори”, ”Сны”, ”Усадьба Ланиных”). В ”НРК” мое знакомство с Зайцевым было поверхностным. Позже, во Франции я узнал его ближе, когда после Второй мировой войны мы оба работали в парижском ”Союзе русских писателей и журналистов”: он председатель, я — товарищ председателя. Но это относится к главе ”Россия во Франции”.

Заходил в ”НРК” Алексей Михайлович Ремизов, на которого всякому любопытно было посмотреть и которого всякому стоило послушать. Вроде карлика, угловатый, ”футуристический”, весь ”сделанный” как и его проза — с завитками и завитушками. Конечно, Ремизов своеобразный прозаик и в литературе занял свое место, но я никогда не был поклонником его таланта; нравилась мне только его ”Взвихренная Русь” (Временник 1917 - 21 гг.). Ремизов — хитрюга и ловкач. Любил, чтоб о нем писали (хвалебно, конечно). Посему, наверное, вскоре и Яшенко и я получили из его Обезвельолпала (Великой Обезьяньей Вольной Палаты) превосходные грамоты, удосто-

Начало ”Я унес Россию” см. в кн. 131, 132, ”Н.Ж.". Здесь печатается окончание очерка ”Новая Русская Книга”, начало его в кн. 132. РЕД.

веряющие, что мы возведены в кавалеры 1-й степени сего фантастического, придуманного Ремизовым, ордена. Ященко — с заяшными шариками. А я — с васильками. Грамоты эти Ремизов писал сам на плотной бумаге удивительной, старинной славянской вязью со всякими выкрутасами и росчерками и неизменно подписывал: скрепил забеглый канцелярист Обезвельволпала Алексей Ремизов. Когда я потерял грамоту А. М. прислал мне, уже из Парижа, "взамен чудесно пропавшей грамоты" — новую, замечательную, с возведением меня уже в "берлинские полпреды Обезвельволпала", с подписями мексиканского полпреда Д. Святополк-Мирского, парижского полпреда П. Сувчинского, а скрепил, конечно, забеглый канцелярист Алексей Ремизов. Эта грамота ездила со мной по всему свету, пока я не передал ее (вместе с другими документами) в прекрасный русский архив и музей моего друга Томаса Витни в Америке (Вашингтон, Коннектикут). Ремизов любил прибедняться, хныкать, жаловаться на беды жизни, но всегда жил неплохо, умел находить и издателей и почитателей; в годы эмиграции он ухитрился выпустить 44 книги и в зарубежной печати опубликовал больше семисот отдельныхopusов.

В Берлине у Ремизовых на Кирхштрассе я был как-то всего раз. Но мой друг, художник Н. В. Зарецкий, очень любивший Ремизова, как великого забавника, бывал у него часто, крепко дружил с ним и много о нем рассказывал. Так, оказывается, Ремизов у себя устраивал — выдумки-игры. С гостями. И вот как-то после обеда Ремизов объявил, что сегодня будет игра в ревком. И обращаясь к своей жене, богатырской женщине необычайно полных форм, Серафиме Павловне, рожденной Довгелло, — сказал: "Ну, вот, Серафима Павловна, — стало-быть, ты будешь у нас — ревком!" На что Серафима Павловна, обидевшись, ответила: "Я не хочу быть ревком, я хочу быть царица!" Так "игра в ревком" и не состоялась.

Одно время в Берлине Ремизов редактировал (вместе с Н. М. Минским) шуточный листок (в несколько печатных страниц) — "Бюллетень Дома Искусств" и в нем печатал всякие фантастические штуки о братьях-писателях. Но некоторые из писателей (напр., Е. Лундберг) на него за них обиделись и листок прекратился на втором номере. Помню из него только заметку,

как Н. Бердяев почему-то проглотил сливовую косточку и что из этого вышло. А о приехавшем в Берлин Борисе Пильняке сообщалось, что какие-то люди на каком-то собрании — с криком, "Пильняк начинается!" — бросились друг на друга. Ремизов был хорош с А. Белым, Н. Бердяевым, М. Горьким.

Заходил (но не часто) в "НРК" старичок-живчик, в былом декадент-символист Николай Максимович Минский. Тот самый, стихи которого — "Тянутся по небу тучи тяжелые" и "Я боюсь рассказать, как тебя я люблю" — были положены кем-то на музыку и до революции обошли всю Россию, как мелодекламации. Их у нас декламировали всегда на гимназических вечерах. Минский был еврей, хотя вид у него был самый русейший. В свое время злой критик "Нового Времени" Буренин, который, говорят, своими жестокими статьями ускорил смерть чахоточного Надсона, написал эпиграмму на Минского: "Я в храм вошел / И в храме замер / Там Брюсову / Поставлен мрамэр!".

Довольно часто заходил в "НРК" Михаил Андреевич Осоргин (Ильин). Он был выслан в числе 44-х ученых и писателей из Сов. России. У Осоргина тогда, в 1921-м году, вышла книжка "Из маленького домика" и о ней похвально написал в "НРК" Ф. Иванов. Но об Осоргине я тоже буду говорить в главе "Россия во Франции", ибо в Париже я его лучше узнал. Да и свои главные вещи в эмиграции Осоргин написал в Париже.

Бывали и сотрудничали в "НРК" — П. Муратов ("Образы Италии"), С. Юшкевич ("Леон Дрей"). Помню, как Юшкевич, большой, полный, седой, громогласно восторгался Сергеем Есениным, говоря, — "Чтобы навсегда остаться в русской литературе достаточно всего вот этой одной строки: 'Словно я весенней гулкой ранью / Проскакал на *розовом коне!*'" Юшкевич считал, что "розовый конь" навеки вомчал Сергея Есенина в русскую поэзию. Это стихотворение Есенина, действительно, прекрасно: "Не жалею, не зову, не плачу". Но, думаю, что в нем есть и лучшие строки.

Бывали в "НРК" — художники Г. Лукомский, Б. Григорьев, Н. Милиотти (Г. Лукомский много писал в нашем журнале), Зинаида Венгерова (вечная спутница Минского), А. Ветлугин (В. И. Рындыук, хлесткий, циничный литератор, автор, к

сожалению, неудавшейся автобиографической повести "Записки мерзавца"), приехавшие на время из Сов. России Б. Пильняк (давший в журнал свою автобиографию), имажинист Александр Кусиков (тоже давший автобиографию и прославившийся одной строкой своего стихотворения — "Обо мне говорят, что я сволочь!" — Алексей Толстой был в восторге от этой строки и хохотал над ней до упаду). Бывал и бежавший тогда из Сов. России от надвигавшегося на него ареста Виктор Шкловский, он выпустил в Берлине "Ход коня" и "Сентиментальное путешествие", обе книги в "НРК" были обруганы — одна мной, другая Ю. Офросимовым. Но Шкловский вскоре дал "задний ход коня" и вернулся в Сов. Россию, чтоб стать там настоящим сталинским подхалимом. Бывал приезжавший из Сов. России проф. А. Чайнов, выдающийся ученый, во времена Временного Правительства назначенный товарищем министра земледелия, при большевиках — член коллегии Наркомзема. Чайнов был и писателем-фантастом ("Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии" и мн. др.). Через несколько лет по сфабрикованному ГПУ процессу Чайнова арестовали, а позднее расстреляли.*

Бывали и сотрудничали в "НРК" проф. Ю. И. Айхенвальд, проф. Сергей Гессен (философ, педагог), проф. Г. Г. Швиттау (экономист, кооператор), проф. Б. П. Вышеславцев (философ, "Русская стихия у Достоевского" и мн. др.), проф. Лев Карсавин (философ, автор многих трудов за рубежом, после Второй мировой войны схваченный КГБ и погибший в ГУЛАГе в 1952 г.). Бывали в "НРК" приезжавшие из Сов. России — Борис Пастернак и Влад. Лидин. Приехавший в Берлин Вл. Маяковский дал свою автобиографию: "Я поэт — этим и интересен". Из писателей живших в Сов. России в "НРК" присылали и печатали статьи — Э. Голлербах, Андрей Соболев, Инн. Оксенов, Н. Ашукин, А. Яковлев и др. Приходили — старый бытовик-писатель С. И. Гусев-Оренбургский, проф. Н. Н. Алексеев, приват-доцент И. Пузино, высланный из Сов. России известный архивист А. Изюмов, Наталья Потапенко (дочь

*Это была акция псевдонимов по физическому уничтожению русской интеллигенции с заменой ее марксистско-ленинской образованщиной. В переводе на китайский это была всероссийская "культурная революция".

известного романиста, сама беллетристка), проф. А. Л. Байков, высланный, мой московский профессор по "Энциклопедии права", члены "Цеха поэтов" — Н. Оцуп и Г. Иванов. Заходил — высланный проф. Ф. А. Степун, тогда автор известных "Писем прапорщика артиллериста", а позднее замечательных воспоминаний "Бывшее и несбывшееся", заходил левый эс-эр А. Шрейдер (тоже высланный, но этих "скифов" выслали как-то странно, они были скорее — полувысланные), заходила приезжавшая на время из Сов. России поэтесса Мария Шкапская, выпустившая в Берлине книгу "Барабан строгого господина", приходил старый профессор С. Гогель (Ященко говорил, что в России о нем ходила острота: среднее между Гегелем и Гоголем), экономист Д. Лутохин (высланный). Часто бывали мои приятели — Ю. Офросимов, Ф. Иванов, Вл. Корвин—Пиотровский, совсем молодой А. Бахрах. Приходила беллетристка А. Даманская, А. Дроздов, Глеб Алексеев и множество других, всех не упомяну. Раз — вот это я запомнил — пришла в "НРК" писательница Е. Выставкина, подлинная дама хорошего общества, недавно вырвавшаяся из Сов. России, писавшая так же "легко", как Н. Лаппо-Данилевская ("Русский барин"), которая тоже была в Берлине и я с ней встречался. Ященко знал Выставкину по России, но принял ее почему-то грубовато и среди разговора вдруг спросил: — "А скажите пожалуйста, сколько вам лет?" — На эту бестактность Выставкина с улыбкой ответила: — "L'état — c'est moi". Такой элегантный дамский отпор очень понравился Ященко и он разразился своим обычным громовым хохотом. В Берлине Выставкина выпустила роман "Амазонка", который кто-то вдребезги разругал в "НРК".

Помню, как пришел в "НРК" Игорь Северянин со "своей тринадцатой". Глядя на него я невольно вспомнил его вечер в Политехническом музее в Москве в 1915 году, когда я был студентом. Громадный зал Политехнического ломился от публики, стояли в проходах, у стен. Северянин напевно читал, почти пел (надо сказать, довольно хорошо) стихи из "Громкипящего кубка", из "Златолиры", и эти уже известные публике стихи покрывались неистовыми рукоплесканиями: аплодировала неистово молодежь, особенно курсистки. В Северянина из зала летели цветы: розы, левкой. Поэт был — как говорится —

на вершине славы. И в ответ молодежи пел:

Восторгаюсь тобой, молодежь!

Ты всегда, даже стоя, идешь!

И идешь неизменно вперед!

Ведь тебя что-то новое ждет!

Еще сильнее — гром рукоплесканий, сострясаящий зал. А сейчас передо мной в кресле сидел Северянин, постаревший, вылинявший, длинное бледное лицо, плоховато одет. Его "тринадцатая" — серенькая, неприметная, тоже бедновато одетая.

В тот страшный день, в тот день убийственный

Когда падет последний исполин,

Тогда ваш нежный, ваш единственный

Я поведу вас на Берлин!

Это "военные" стихи Северянина 1914 года. И вот "он привел нас в Берлин". Северянин в Берлине дал — "поззоконцерт". Публики было мало. Когда он читал свои старые, когда-то "знаменитые" стихи, это было еще туда-сюда. Но когда читал новые — было совсем нехорошо:

Народ, жуя ржаные гренки

Ругает "детище" его:

Ведь потруднее сбыть керенки

Чем Керенского самого!

Как раз в это время на побывку в Берлин приехал В. Маяковский. Они встретились. И даже выступали вместе на каком-то вечере русского студенческого союза. С ними выступал и Кусиков. Но я не пошел, ибо эгофутурист превратился в ничто, а футурист, "наступив своей песне на горло", — преобразился в сытого казенного пропагандиста. В 1914 - 15 - 16-м годах их можно (и даже интересно) было послушать. Но в 1922-м в Берлине — трудновато. Всё-таки, по старой знаменитости, Игорь Северянин издал тогда в Берлине в русском издательстве Отто Кирхнера книгу стихов — "Падучая стремнина".

Кто бывал в "НРК" очень часто, почти ежедневно, так это Иван Сергеич Соколов-Микитов. Он скончался в СССР в 1975 году, и в каком-то советском журнале о нем писали, как о "старейшем советском писателе". "Старейший" — возможно, он умер на девятом десятке. Но чтоб И. С. Соколов-Микитов был "советским" — опровергаю.

В Берлине 1920-х годов я его хорошо знал, часто встречал. Выше среднего роста, крепко сшитый (чуть-чуть горбился), лицо всегда густо заросшее темным волосом (но это не борода, а некая темная щетина), небольшие хитро усмехающиеся глаза, ушедшие в подлобье. В облике И. С. было что-то не славянское, а скорее татарское, хотя он был чистейший русак. Как писатель Соколов-Микитов шел за Пришвиным: хороший кондовый русский язык, прекрасные описания природы, деревни, охоты, рыбной ловли, рек в разливе, лесной тишины, запахов полей. Но это и всё. Круг внутренней темы И. С. был очень узок: людей в их душевно-психологическом разрезе у Соколова-Микитова не было. И здесь он сдавал Пришвину. Пришвин был человек образованный. Соколов-Микитов — примитивный интуит. Образования у него, я думаю, никакого не было. По душе он был не только очень, но разочень русский — "Мы — русские, какой восторг!" Ни на одном нерусском языке он не читал и не говорил ни слова. (Вспоминаю Чехова: "Из всех иностранных языков владею только русским") И за границей Микитов *увидеть* ничего не мог (да и не хотел). И правильно сделал, что в 1923 году вернулся на свою землю — в Смоленщину.

Из русских писателей Соколов-Микитов не просто любил, а обожал, боготворил, обожествлял Бунина, так же как Саша Черный. Бунин, мне казалось, это знал и в разговоре со мной, в Париже, как-то сказал: "Рад, что вы оцениваете его прозу, я ее тоже очень люблю, а многие ее не чувствуют". Константин Федин, с которым Соколов-Микитов в СССР был дружен, говорил мне в Берлине, что у Микитова в комнате всегда висит портрет Бунина. В Берлине И. С. очень дружил с Ремизовым, это по той же линии истого русизма. По Берлину я вспоминаю Соколова-Микитова почти всегда пьяноватым (вполпьяна). До эмиграции он служил матросом торгового флота, в эмиграцию попал по какой-то случайности и чувствовал себя тут как рыба на песке — вот и выпивал не в меру, хотя все мы тогда выпивали неплохо.

Был И. С. страшно хитер и наглухо скрытен, о себе говорил мало, почти ничего, о своих убеждениях (а они у него были!) и подавно помалкивал. Только раз, всердцах, когда мы оба (в компании) здорово выпили, у него сорвалось, вероятно,

заветное. Обращаясь ко мне, полупьяный, он резко, даже зло, вдруг проговорил — “Вот вы всё о какой-то там своей свободе, о демократии галдычите, плетёте, а на что она нам? Да ни на что! Нам что нужно? — и раздельно, как гвозди вбивая, произнес: — *Нам новый Иван Грозный нужен! Вот что нам нужно!*” Что у трезвого на уме — у пьяного на языке. Вырвалось это у И. С. честно, из самого нутра. И сразу оборвался, как бы жалея, что высказался. Федин мне тоже о Микитове много рассказывал. Поэтому-то я ни в какого “советского” Соколова-Микитова и не верю. Знаю: коммунизм он ненавидел.

Как он продержался в СССР без репрессий? Это уж его умелость, мужичья хитринка. К тому ж он держался всё “на периферии”, странствуя то с полярниками на Север, то в Сибирь, то родная глухомань Смоленщины, в столицы наведывался не часто. Повторяю, И. С. был хитер как лис, скрытен, как волчья яма, по-мужицки недоверчив ко всему. А описательный его талант был несомненен, к тому же без всякой социальности и политичности, он и держал его в т. н. советской литературе. Так я думаю.

В “НРК” Соколов-Микитов часто приходил потому, что был большим другом Яшенко. Где и как они подружались не ведаю. Только дружба была крепкая. И Яшенко прощал Микитову всевозможные полупьяные шутки. Помню раз пришел Соколов-Микитов вполсвиста. Яшенки нет, он сел за его стол, чего-то там рылся, пересматривая корректуру и... ушел. А потом, уже перед печатью номера, Яшенко вдруг увидел среди “книг поступивших для отзыва” в последних, готовых к печати, сверстанных листах жирно набрано: А. Яшенко. Астры. Мемуары. Берлин. 1922. Яшенко просто взревел от негодования. — “Роман Борисович, что это такое?” — Я смотрю. — “Не знаю, говорю, когда я читал этого не было”. А Яшенко вдруг: “А Соколов-Микитов тут был?” — “Был как-то, недавно”. — “Ну, я знаю, это его дело! Я ему дам! Я ему покажу!” — И вдруг, как в театре, — звонок. Отворяю дверь: Иван Сергеич собственной персоной и навеселе. Яшенко на него, как зверь: — “Это ты, Иван Сергеич? Ты?” — “Что я?” — “Да эти ‘Астры’ тут набраны!?” — Но в ответ Соколов-Микитов заливается хохотом, еле выговаривая: “Да разве это плохо?! ‘Астры’? Мемуары? Это ж реклама тебе!” — И

Ященко вдруг принялся вместе с ним хохотать. Так друзья и помирились на хохоте.

Из рассказов Федина в Берлине о Соколове-Микитове я знал, что в СССР он женился, что у него родилась дочь, знал, что жена психически заболела. Федин говорил, что злоязычная Ольга Форш удивлялась его дружбе с Микитовым: "Ну, Константин Александрович, ну как вы можете с ним дружить? Не понимаю. Ведь он же... мерин..." И над этим форшевским "мерином" Федин смеялся.

Ященко в "НРК" очень рекламировал Соколова-Микитова, о нем печаталось, что он что-то готовит, что-то выпускает: повесть "Заря-заряница", повесть "Нил Мироточивый", повесть "Прорва" — но никаких этих повестей в природе так и не оказалось. Была издана книжка для детей в изд-ве "Грани" в 1922 году — "Кузовок", потом очерки "Об Афоне, о море, о Фурсике и прочем", и "Сметана", северные русские сказки по записи Онучкова. И это всё. Я о его "Афоне" писал, хваля. А в 1923 году И. С. Соколов-Микитов был уже не в Берлине, а у себя в Смоленщине. Из возвратившихся и занявших положение в советской литературе писателей-эмигрантов только он и Толстой, кажется, умерли естественной смертью. Обычно писатели-возвращенцы кончали тюрьмой, концлагерем или самоубийством (М. Цветаева, Д. Святополк-Мирский, С. Лукьянов, Глеб Алексеев, Г. Венус и др.). Правда, кое-какие журналисты-стукачи выживали.

В 1921 году в Берлин приехали меньшевики. Одни были высланы, другие — выпущены Лениным по добру по здорову. До высылки кое-кто из них посидел в Бутырках. Приехали: Ю. Мартов (Цедербаум), Р. Абрамович (Рейн), Ф. Дан (Гуревич), Д. Далин (Левин), Б. Двинов (Гуревич), Г. Аронсон, М. Кефали (Камермахер — милейший человек), Б. Сапир, С. Шварц (Монозон), А. Дюбуа, Б. Николаевский и другие. Меньшевики создали заграничную делегацию партии с. д. (меньшевиков). Очень скоро стали издавать в Берлине журнал "Социалистический Вестник", просуществовавший за рубежом больше 50-ти лет (в Берлине, Париже, Нью-Йорке), пока не умер последний меньшевик. Основать меньшевикам журнал в Германии было легко: они — интернационалисты — и помогла братская герман-

ская социал-демократическая партия, которая (кстати сказать) тогда правила страной.

— Вот, Александр Семенович, — помню как-то сказал я Яшенке, — хорошо быть меньшевиками, не надо нигде искать никакого издателя, куда ни приедут везде братская социалистическая партия.

— Да, только для этого надо сначала сидеть по тюрьмам и пребывать в ссылке, благодарю покорно, — засмеялся Яшенко, — нет, я уж предпочитаю искать издателя.

В 1922 году к нам в "НРК" пришел Б.И. Николаевский. Он был очень высок, широк, крепок, тогда очень худ, в лице что-то как будто башкирское (он уфимец). Был Б.И. сыном священника, вообще кондового духовного звания, только вот он подгулял, став меньшевиком-начетчиком. Тогда у Б.И. была редкая русско-интеллигентская борода. Голос, не гармонирующий с его мощной внешностью, — высокий тенор (особенно смех!). Впрочем и у железного канцлера Бисмарка голос (говорят историки) был такой же. Только-только вырвавшийся из Бутырок Б.И. по виду был *типичнейший* русский революционер (хоть позируй для передвижников: "Не ждали...").

Б.И. повел с Яшенко разговор о возможности его сотрудничества в "НРК". Яшенко — с удовольствием. И сразу договорились, что Б.И. будет давать обзоры советской литературы. Это была, конечно, ерунда, ибо для художественной литературы у Б.И. "уха" не было. Но и Яшенко литературно не был чуток. И Б.И. стал давать в "НРК" эти самые обзоры, подписываясь Б. Н-ский (и еще как-то).

Позднее я понял, почему пришел в "НРК" Б.И. Конечно, не для "обзоров". Тогда русская эмиграция (а ее насчитывали два-три миллиона душ или больше), рассыпавшись по всему миру — в Европе, Сев. Америке, в Южной Америке, в Австралии, в Азии (на Дальнем Востоке), везде сразу же стала издавать русские газеты и журналы (и строить православные церкви). Все эти газеты и журналы приходили в "НРК". Думаю, не совру сказав, что русской печати выходило тогда 200-300 названий*. Почта заваливала нас.

*Желающим установить точную цифру рекомендую обратиться к ценному

Я бегло просматривал, вырезал кое-что для "НРК" и охапками выбрасывал остальное в мусорный ящик. Раз это увидел Б.И. Не преувеличу, сказав, что на лице его изобразился ужас. — "Роман Борисович, что вы делаете!? Вы всё выбрасываете!?" — "Ну да, а что же с этим делать?" — "Да что вы! Что вы! Это же неоценимая вещь! Ради Бога не выбрасывайте ничего, всё оставляйте для меня, я буду приходить и всё забирать!" — Я был так глуп, что чистосердечно не понял, зачем это всё Борису Ивановичу.

Дело в том, что во мне нет (а уж в молодости и подавно не было!) архивных страстей. У Бориса же Ивановича это была всепожирающая, главная страсть всей его жизни. Он уносил из "НРК" вороха русских газет. И позже (когда я работал в архиве Николаевского над своими книгами "Азеф", "Бакунин", "Дзержинский", "Тухачевский" и др.) я увидел, что Б.И. из этих охапок газет сделал. Я в восторг пришел от множества ценнейших папок с газетными вырезками. Кого и чего тут только не было! Конечно, не из одних этих газет Николаевский создал *уникальный* русский архив, единственный в мире. Он тащил всё отовсюду. И сколько людей — писателей и политиков — впоследствии пользовались архивом Б.И. Николаевского, который с удовольствием предоставлял свой архив для работы. Недаром, когда немцы вступили в Париж, они в первые же дни бросились на розыски "архива Николаевского" и захватили почти всё. Замечательный архив Б.И. пошел в Германию и погиб там при бомбежках Германии союзниками. Только небольшую часть, зарытую Николаевским где-то во французской провинции, он, приехав во Францию после Второй мировой войны, отрыл, а потом ездил по Германии в поисках остатков своего архива. Но в Америке Б.И. создал вновь замечательный русский архив, который в последние годы его жизни перешел в Хувер Лайбрари, в Калифорнии.

Я не встречал ни у кого такой архивной страсти и понимания архивного дела, как у Б.И. Николаевского. Причем в добывании архивных материалов у Б.И. было, так сказать, —

библиографическому труду М.В. Шатова в 4-х томах. "Half a Century of Russian Serials". Russian Book Chamber Abroad. New York, 1972.

”всё позволено”. Как-то уже в Нью-Йорке я и Б.И. пили чай в скромной квартире на Бродвее у И.Г. Церетели. И И.Г., любивший всякие ”остроты”, говорил — ”Вот, Р.Б., вы, конечно, знаете, архивную страсть Б.И. и то, что некоторые обвиняют его даже в возможности приобретения им чего-нибудь для архива путем похищения?”. И Церетели продолжает, смеясь (и мы оба смеемся!), — ”Но если даже так, то ведь это же — *страсть!* А если страсть, то что же вы хотите? Почему похитить любимую женщину можно, а похитить книгу нельзя? Страсть всегда есть страсть... и с ней ничего не поделаешь...” Пошутили, посмеялись.

Но в ”НРК” я был свидетелем такой вспышки страсти Б.И. Я говорил, что под редакцию изд-во Ладыжникова отвело нам одну комнату в квартире на первом этаже, где были сложены какие-то старые, уже непродávающиеся книги и какие-то большие пакеты. Два таких пакета лежали даже на кухне, где мы обычно мыли руки. Архивных страстей во мне не было, и на эти пакеты я не обращал никакого внимания. А оказывается на пакетах кем-то было начертано ”Мандельштам”. И Николаевского эта фамилия сразу привела в волнение. Он предположил, что это, может быть, архив умершего эмигранта эс-дека Мандельштама, которого он по меньшевицким святцам, конечно, превосходно знал. И оказался прав. Я не видел, как Б.И. аккуратно вскрыл пакеты — и о, боги! — он увидел подбор книг по революционному движению, да таких, что ни в сказке сказать, ни пером описать!

Б.И. вошел ко мне в редакционную комнату с двумя книгами в руках. Яшенко не было. — ”Роман Борисович, — сказал Б.И., — там на кухне в двух пакетах книги социал-демократа (Б.И. произносил по старинке — ”социаль”) Мандельштама. Никому они тут не нужны, только пропадут зря. Я возьму эти две книги?” — ”Борис Иванович, — сказал я, смеясь, — вы у меня спрашиваете? Но книги же не мои, и я ни разрешения дать не могу, ни запретить вам не могу”. — ”Ну, и ладно, вы только помалкивайте”. И я увидел Бориса Ивановича — ”в страсти”. В течение недель двух-трех пакеты Мандельштама всё худели, худели, а потом перестали существовать. В кухне стало просторнее. По существу это было, конечно, — похищение. Но по сути дела — правильное. Тут в кухне пакеты бы пропали, ушли бы, может быть, в мусор. А в архиве Николаевского — книги пошли

во всеобщее пользование, к радости создателя архива (и быть может даже к радости покойного Мандельштама: в настоящие, хорошие руки попали).

О Б.И. Николаевском я буду еще много говорить во всех трех главах книги, ибо дружески общались мы и в Берлине, и в Париже, и в Нью-Йорке (пока здесь не оборвались все наши отношения, но по мотивам не человеческим, а политическим). Б.И. мне очень много помог своим архивом, да и не только архивом, он мне много помог и в жизни, и потому я вспоминаю его только добром (несмотря на разрыв в Америке).

Из общения же с Б.И. в "НРК" вспоминаю еще только одну сцену. Пришел как-то к нам Николаевский. Ященко был в веселом расположении духа и, оглядывая богатырскую фигуру Николаевского, говорит: — "Ну, и здоровенный же вы экземпляр! Я меньшевиков таких что-то никогда и не видел. Они все какие-то дохлые". — Б.И. улыбаясь: "Имеются и не дохлые". — "Да вот вижу, — и Ященко вдруг встал из-за стола. — Ну, давайте-ка поборемя, кто сильнее". И они схватились. Стол был опрокинут, стулья отлетели в стороны, лицо и лысина Ященко побегрели. И всё-таки Николаевский грохнул его на диван. Ященко поднялся. — "Ну, и здоровенный же вы бык! Вот вам и Второй Интернационал!" — смеялся он, тяжело дыша. И Николаевский задохнулся: победа над Ященко была нелегка, кубанец был тоже здоровенный и уфимцу пришлось с ним поднатужиться.

Письмо Максимилиана Волошина

Этот случай из бытия "НРК" я выделяю, ибо он не только литературно, но исторически важен. Был январь 1923 года. Во второй половине дня в дверь редакции позвонили. Я отворил. Передо мной — скромно одетая женщина с удивительно приятным, строгим лицом. Она спросила, здесь ли профессор Ященко? — "Да, пожалуйста". — И она вошла. Ященко она была незнакома. Поздоровавшись, он предложил ей сесть (у нас было хорошее, большое, кресло для посетителей) и спросил, чем может служить.

Я сидел за своим столом. Женщина эта — явная интеллигентка, правильное хорошее лицо, красивые, карие глаза. И во

всем ее облике — какое-то удивительное спокойствие. В руках у нее — кожаный портфель. Глядя на Яшенко, она сказала негромким грудным голосом: — “Я к вам от Максимилиана Александровича Волошина”. — От неожиданности Яшенко даже удивленно-вопросительно полувскрикнул — “От Макса?!”. — “Да, от Максимилиана Александровича”. — “Значит вы из Крыма?” — “Я была у него в Коктебеле. И он просил меня передать вам письмо и рукопись в собственные руки”. — “Очень, очень рад...” бормотал несколько пораженный Яшенко (он с Волошиным был дружен еще по России).

Женщина вынула из портфеля тетрадку и довольно толстую рукопись на отдельных листах. “В тетради — личное письмо вам, а это — стихи Максимилиана Александровича, которые он просит вас опубликовать за границей, где вы найдете возможным”. Яшенко всё взял. Стал расспрашивать, как Волошин живет, давно ли она его видела, остается ли она за границей или возвращается назад. — “Нет, я не остаюсь, — с легкой улыбкой сказала она, — я скоро уеду назад... может быть я еще зайду, если разрешите”. — “Конечно, конечно, буду очень рад...” — забубнил Яшенко. Она встала, простилась с Яшенко и кивнула мне. Я проводил ее до выходной двери.

В редакции наши письменные столы были приставлены один к другому спинами. Так что мы сидели друг против друга. Конечно, стихи Волошина, переданные из рук в руки, меня заинтересовали. Но Яшенко погрузился в чтение письма, оно было страниц в 40-50. А я — в какую-то редакционную работу. Но вскоре читать спокойно Яшенко уже не мог, он то и дело восклицал: “Ужас!.. Черт знает что!..” И вдруг, прервав чтение, сказал: “Р.Б., это что-то невероятное, я прочту вам...” И стал читать письмо вслух. Волошин сначала писал, что посылает письмо и стихи с очень верным человеком. “Стихи о терроре” просит опубликовать там, где Яшенко сочтет правильным, так как “здесь” они опубликованы быть не могут. Дальше Волошин описывал свою жизнь в Коктебеле во время гражданской войны и после нее, когда в Коктебель приехал “очищать Крым” важный посланец Кремля Бела Кун, поселившийся в доме у Волошина.

Известно, что Бела Кун, венгерский еврей, коммунист, в гражданской войне руководитель интернационалистических

отрядов, ходил в Кремле на самых верхах. И вот — после занятия Крыма красными прибыл туда, чтобы провести жесточайший террор. Перед отъездом в Крым Бела Кун цинически заявил: — "товарищ Троцкий сказал, что не приедет в Крым, пока там останется хоть один белогвардеец". Бела Кун приехал не один. С ним "на руководящую работу" (как официально выражаются большевики) приехала "Землячка", псевдоним-женщина (Розалия Семеновна Залкинд), большевичка с 1903 года, фурия большевизма, не имевшая никакого отношения ни к "пролетариату", ни к "беднейшему крестьянству", а происходившая из вполне буржуазной еврейской семьи. Эта гадина была кровава и беспощадна так же, как и Бела Кун, и Троцкий.

В Крыму верховный руководитель террора Бела Кун и его напарница Землячка расстреляли больше 100 тысяч (!) бывших военнослужащих (белых), которым сначала была "дарована амнистия". Для процедуры расстрела составлялись списки, но они были недостаточны и "остряк" Бела Кун приказал всем, всем, всем бывшим военнослужащим под угрозой расстрела зарегистрироваться "для трудовой повинности". И вот по этим-то спискам для "трудовой повинности" Бела Кун с Землячкой и повели массовые расстрелы. Спаслись единицы из не зарегистрировавшихся и сумевших бежать из Крыма. Впоследствии такие марксистско-ленинские массовые убийства людей перешли в Китай, в Камбоджу, в Вьетнам, в Эфиопию. И к Гитлеру. По свидетельству Раушнинга — "фюрер" среди близких людей говорил, что он "многому научился у марксистов".

Макс Волошин в письме к Яценко необычайно сильно описывал эти кровавые крымские дни. Волошин писал, что он и день и ночь молился за убиваемых и убивающих. Дальше шло что-то — "потустороннее". Он писал, что они много и долго разговаривали с Бела Куном, и у них установились какие-то "дружеские" отношения. Чем Волошин покори́л Бела Куна? Вероятно душевной чистотой. По письму, Бела Кун сошелся с ним настолько, что разрешал Волошину из "проскрипционных списков" вычеркивать одного из десяти. Волошин описывал, каким мучением для него было это вычеркивание "десятого", ибо он знал, что девять будут зверски убиты. Волошин писал, что в этих кровавых проскрипционных списках он нашел и свое соб-

ственное имя, хотя ему и не надо было регистрироваться, как человеку штатскому и не белому. Но его имя вычеркнул сам его страшный новый друг — Бела Кун. Боюсь утверждать, но по моему Волошин писал, что Бела Кун иногда присутствовал при молитвах Волошина за убиваемых и убивающих.

Письмо было потрясающее, больше чем страшное и какое-то метафизическое. Оно произвело сильное впечатление и на Ященко и на меня. Мы пропустили время обычного окончания работ. И когда я пришел домой, мама взволнованно сказала: "Почему так поздно? Я уж волновалась..." Моя мать, Ольга Сергеевна, вместе с нашей няней Анной Григорьевной Булдаковой в 1921 году бежали из Советской России (пешком). Но о ее побеге я расскажу особо.

А сейчас — два слова о судьбе исторического письма Волошина. Ященко читал его многим, почти всем, кто приходил в редакцию: Толстому, Соколову-Микитову, Эренбургу, Николаевскому и другим, кому бы я на его месте никогда бы не стал читать. В редакции он его не оставил, а взял с собой. Но однажды, придя в "НРК", Ященко стал взволнованно рыться в папке с корреспонденцией, в ящиках стола, везде. И наконец проговорил: — "Вы представляете себе, письмо Макса пропало!" — "Как пропало?! Ведь вы же его взяли с собой?" — "Да, взял, а вот не нахожу: ни у себя (всё перерыл!), ни здесь... украли...", мрачно добавил Ященко. В этом виновато было, конечно, легкомыслие Ященко. Копии он не снял и чересчур уж рекламировал письмо Макса. Так это письмо и кануло в Лету. Страшно грустил об этом Б.И. Николаевский, говоривший: "Ведь это же совершенно уникальный исторический документ! И как мог Александр Семенович так легкомысленно его потерять!"

"Стихи о терроре", переданные одновременно с письмом, Ященко опубликовал в очередном, февральском, номере "Новой Русской Книги" (НРК, февраль, 1923). Позднее "Стихи о терроре" вышли книгой в берлинском русском "Книгоиздательстве Писателей", основанном типографщиком Евгением Гутновым и редактировавшемся Глебом Алексеевым.

В СССР в т.н. "Библиотеке поэта" (М. Волошин. Стихотворения. Издание третье. Л. 1977) стихов Волошина о терроре, конечно, нет и никогда не будет. Приведу хотя бы два стихо-

творения М. Волошина о терроре, переданных тогда из рук в руки А.С. Яценке:

ТЕРМИНОЛОГИЯ

"Брали на мушку", "ставили к стенке", "Списывали в расход" —

Так изменялись из года в год

Быта и речи оттенки.

"Хлопнуть", "угробить", "отправить на шлёпку",

"К Духонину в штаб", "разменять" —

Проще и хлеще нельзя передать

Нашу кровавую трёпку.

Правду выпытывали из-под ногтей,

В шею вставляли фугасы,

"Шили погоны", "кроили лампасы",

"Делали однорогих чертей".

Сколько понадобилось лжи

В эти проклятые годы,

Чтоб разорить и поднять на ножи

Армии, царства, народы.

Всем нам стоять на последней черте,

Всем нам валяться на вшивой подстилке,

Всем быть распластанным — с пулей в затылке

И со штыком в животе.

ТЕРРОР

Собирались на работу ночью. Читали

Донесения, справки, дела.

Торопливо подписывали приговоры.

Зевали. Пили вино.

С утра раздавали солдатам водку,

Везером при свече

Вызывали по спискам мужчин, женщин,

Сгоняли на темный двор,

Снимали с них обувь, белье, платье,

Связывали в тюки.

Грузили на подводу. Увозили.

Делили кольца, часы.

Ночью гнали разутых, голодных,

По оледенелой земле.

Под северо-восточным ветром
 За город, в пустыри.
 Загоняли прикладами на край обрыва,
 Освещали ручным фонарем.
 Полминуты работали пулеметы.
 Приканчивали штыком.
 Еще не добитых валили в яму,
 Торопливо засыпали землей,
 А потом с широкою русскою песней
 Возвращались в город, домой.
 А к рассвету пробирались к тем же оврагам
 Жены, матери, псы,
 Разрывали землю, грызлись за кости,
 Целовали милую плоть.

Через много лет в Нью-Йорке, когда я работал в "Новом Журнале", ко мне пришел поэт и журналист Александр Браиловский и передал для печати рукопись поэмы Волошина "Дом поэта", написанной уже в 1926 году. В поэме есть некое косвенное упоминание о пребывании Бела Куна в доме Волошина и о том, что имя Волошина было в проскрипционном списке.

"И *красный вождь* и белый офицер
 Фанатики непримиримых вер,
 Искали здесь, под кровлею поэта,
 Убежища, защиты и совета.
 Я ж делал всё, чтоб братьям помешать
 Себя губить, друг друга истреблять.
 И сам читал в одном столбце с другими
 В кровавых списках *собственное имя*".

Я рассказал Браиловскому историю получения "Стихов о терроре" и письма Волошина о пребывании у него Бела Куна и предложил, что всё это добавлю к его краткому предисловию к поэме. Он согласился.

Остается сказать об убийцах. Не знаю, приезжал ли Троцкий в "очищенный для него" Крым. Кажется нет. Его очень скоро, с полным позором для такого Робеспьера, Сталин выбросил на Принцевы Острова, а потом в Мексике убил ледорубом сталинский агент, испанец Меркадер. Злом злых погублю. Троцкий вполне заслужил такую смерть. Так же кончил и Бела Кун. В

ежовщину Сталин его "шлепнул" в каком-то чекистском подвале. Только Розалия Семеновна расцвела: при Сталине с 1939 года по 1943 была заместителем председателя Совнаркома СССР и членом ЦК ВКП(б). Да к тому же удостоилась награждения двумя орденами Ленина и орденом Красного Знамени. Вот так Розалия Семеновна Землячка-Залкинд! А отдала черту душу только в 1947 году, 71-го года от роду.

Бегство матери из Сов. России

Где-то я читал, что знаменитый итальянец Джузеппе Гарибальди всегда носил с собой портрет своей матери. Портрет этой красивой женщины он иногда вешал над своей кроватью. Однажды, вошедший в комнату, с удивлением спросил его: "Кто это?" Гарибальди с улыбкой ответил: "Мама mia". Вот также я и брат любили свою мать.

О том, что мы внезапно увезены из Педагогического музея мать узнала из газет. В чужом Киеве она осталась одна. Правда, жила она у близких людей, у Высочанских. В небольшом домике на Лукьяновке жили: моя тетка Е.К. Высочанская (старшая сестра отца), ее муж милейший А.Г. Высочанский, полковник артиллерии в отставке, их единственная дочь Валерия (Леруся, как мы ее с детства звали) и, старый друг Высочанских, А.Д. Похитонова, дочь в былом известного генерала. Никаких заработков у жителей этого домика не было. А это был страшный 1919 год военного коммунизма, террора и полного разорения всей страны.

Диктатор Украины (председатель Совнаркома), бывший долголетний эмигрант, социалист-интернационалист, болгарин из румынской Добруджи, никак не связанный с Россией, Христиан Раковский в Киеве жил во дворце бывшего миллионера Могилевцева и на его парадной лестнице стояли пулеметы. Перед зданием ЧеКи, в которой "работали" Лацис и Португейс, часовые, развалясь, сидели в национализированных "буржуазных" креслах.

Киевские школы были без учителей, больницы без лекарств, дома без отопления, магазины без товаров, у жителей были хлебные карточки, но хлеба не было и обитатели многоэтажных

домов стояли в очередях во дворе к единственному водопроводному крану, чтобы получить немного воды. В киевских садах и парках деревья рубили на дрова. Изнуренный террором, голодом, сыпняком Киев превратился в великую коммунистическую нищину. Жизнь этих нищих управлялась декретами, мандатами, ордерами, мобилизациями, реквизициями, уплотнением, выселением и... расстрелами. Списки расстрелянных "в порядке красного террора", печатали в органе ЧеКи "Красный меч", газетке никогда еще невиданной в мире, чекисты за всякое сопротивление грозили усилением террора.

Голод, бездровье, безводицу, солдатские постои и все испытания, которым властвующая чернь подвергала русскую интеллигенцию, — мать, тетя Лена, А.Д. Похитонова, Леруся и престарелый Алексей Григорьевич, в домике на Лукьяновке, переносили достойно. Жили тем, что выменивали на еду, не Бог весть какие, еще оставшиеся вещи.

Продрогшая, полуголодная, в туфлях, сшитых из лоскутов какого-то старого ковра, моя мать ежедневно шла на Еврейский базар, чтоб у приезжих окрестных крестьян выменивать скатерть, простыню или полотенце на какую-нибудь еду. На Еврейском базаре шла теперь древняя меновая торговля. Сытые краснощекие бабы из подкиевских сел, и скупые на слова их мужики у голодных горожан за картошку, за хлеб, за молоко брали — юбки, обивку с кресел, зеркала, гардины, графины, стулья, ножи, столы, даже ночная посуда шла в деревню, как горшки для каши. Так, чтоб просуществовать, "торговал" весь когда-то богатейший город, так торговала вся Россия. И какой-то остроумец пустил словцо, что это и есть "национализация торговли", когда вся нация "торгует".

Но когда у обитателей маленького домика на Лукьяновке почти уже ничего не оставалось для меновой торговли, все они (кроме Алексея Григорьевича) разошлись на работу по чужим людям. Мать пошла в услужение к жившей неподалеку старухе. У старушки оставалась еще всякая заваль на мену, а главное был сад с огородом, что в великую эпоху коммунизма было несметным богатством.

Став прислужгой за все мать носила на базар яблоки, стирала белье, мыла полы, убирала дом, работала в огороде и готовила

на восьмерых буденовцев, стоявших постоем у тихой старушки. Эти удалые, нахрапистые парни тоже помогали жить. С кладбища, разрушая жилища мертвых, они воровали деревянные кресты и могильные ограды, и распиливая их, создавали дрова. В эту лютую зиму киевляне так спасались от замерзания.

Тогда, в 1920 году я жил в Берлине, а брат под Берлином, работая на каменоломне. На воскресенье он приезжал ко мне. Мы, естественно, говорили о матери и судьбы ее не знали. Жива ли? Киев раз шесть, кажется, менял власть: петлюровцы, большевики, белые, опять большевики, поляки, опять большевики. В разговорах о матери у меня с братом были разногласия. Сережа был импульсивней и говорил, что мы должны бросить всё и попытаться пробраться к матери в Киев. — "Чем же, ты думаешь, мы маме поможем? Тем, что нас — если даже и пустят! — арестуют или расстреляют, как белых?" — "А что же ты хочешь делать?" — Я отвечал, что хочу прежде всего установить письменную связь с мамой. В те времена это было, конечно, не просто, ибо регулярного почтового сообщения не существовало. Еще из Гельмштедта я послал первое письмо — с оказией — через Швецию.

Мое письмо, из которого мать узнала, что сыновья ее живы, старший — шахтер на соляной шахте, а младший — дровосек в брауншвейгском лесу, — мать читала и перечитывала на своей работе в нетопленном детдоме. Счастье этой вести было велико, но смешалось со страхом и даже ужасом: а вдруг из этих немецких шахты и леса вздумают возвращаться к ней, в мертвый Киев? И в одну из зимних ночей, когда плакали некормленные ребятишки детдома, мать решила: — уйду к ним, к сыновьям. Как? Пешком из Киева в Германию? Да. И это решение стало жизнью матери, благодаря ему она как будто даже жила уж не в затерроризованном, голодающем Киеве, а где-то гораздо ближе к сыновьям.

В Берлине почтальон принес мне наконец первое письмо матери от 16 августа 1920 года. Она писала: "... родные мои, только мысль, что вы живы дает мне силы тянуть жизнь. Ради вас все мне кажется легким, и то, что вы живы, сторицей вознаграждает меня за эти два года... Много пережито, но все ничто в сравнении с тем, что наступит день, когда я вас увижу... В

декабре нас очень обокрали — все ваше платье, которое я так берегла, украли... В прошлом году была больна два месяца, и день, в который получила ваше письмо, был первым днем моего выздоровления, температура с этого дня стала нормальной...”

После первого письма (хоть и не часто) ответные письма матери стали приходить. Эти письма были в чудовишно-грязных конвертах, склеенных клеем то из каких-то бумаг киевской консистории, то из бумаг окружного суда. Почтальон-немец с страшным удивлением смотрел на самодельные конверты и неведомые марки, и раз от имени заведующего почтовым отделением попросил подарить их для их почтового музея. Я подарил.

Мать писала: — “... я жила у одной старушки, теперь пришлось уйти от нее, так как нет теплой обуви и одежды, и я опять поселилась у Высочанских. Работаю иглой, хожу по домам и беру работу к себе... только мысль о вас привязывает меня к жизни, если б я могла вас увидеть... но об этом нельзя даже мечтать... Обо мне не волнуйтесь, как-нибудь проживу. Господи, чтобы я дала и какие бы муки перенесла лишь бы вас увидеть...” И в другом письме: — “... живу по-прежнему, зарабатываю тысячу в день и едва-едва хватает, чтоб не быть голодной. Работаю все — и шубы, и платья, и белье, и шляпы, все, конечно, приходится шить из старья... Нынешний год зима не холодная, но очень ранняя, в сентябре начались уже морозы. От холода в комнатах тяжело... но все ничего, лишь бы дожить до встречи с вами... мысль встретиться с вами заняла все мои помыслы, жду весны с нетерпением, по предсказаниям весна будет ранняя...”

У Анны Даниловны Похитоновой от отца генерала осталась военная семиверстка со всеми дорогами, реками, селами, хуторами, лесами, местечками. Ежедневно, приходя с работы, мать заучивала наизусть путь своего побега из Киева до польской границы, выбрав, как верующая, направление на Почаевскую Лавру. Оставалось только ждать тепла.

Майским вечером, когда все уже на Лукьяновке зазеленело и в загложших садах пели невесть откуда залетевшие соловьи, в калитку сада неожиданно вошла моя старая няня Анна Григорьевна Булдакова. Несмотря на теплынь — в валенках. В родном

пензенском Вырыпаеве, получив письмо матери, Анна Григорьевна сразу поняла немудреный шифр, и правдами и неправдами, с палкой и котомкой, добралась до Киева.

После первых слов радости Анна Григорьевна сразу сказала, что одну мать в этот побег не пустит, а пойдет с ней. И тут же стала разуваться и отпарывать подметки валенок, в которых принесла деньги. Из стоптавшихся за дорогу валенок к всеобщему огорчению керенки вынули до того промокшие и порыжелые, что мать, няня, все тут же принялись разводить плиту, сушить и разглаживать их утюгами. Принесла няня кое-что из остатков "буржуазного прошлого": кое-какие кольца (с изумрудом в бриллиантах, с опалом в бриллиантах, с бриллиантом в платине и др.), брошки (одну еще бабушки Марии Петровны, золотую старинную-престаринную) и довольно большой бриллиантовый кулон. Все это няня хранила в избе в Вырыпаеве.

И наконец в 1921 году пришло для нас самое радостное и самое тревожное письмо мамы: — "... дорогие, родные мои, в субботу, 15 по старому стилю, я двигаюсь в путь к вам, вместе с Анной Григорьевной. Не предпринимайте ничего — вот моя к вам просьба. Если что-нибудь случится по дороге, не горюйте: ваша мать видела много счастья. Отправляюсь в путь с верой и надеждой на Бога. Когда вы получите это письмо, я буду уже в пути... сердце переполнено надеждой увидеть вас..."*

Девять-десять недель от мамы не было писем.

Небо, ветер, облака. Длинными волнами рябится пшеница. Мать и Анна Григорьевна идут от Бердичева по большой дороге, пылят по ней веревочными самодельными туфлями. В полдень под березами, обставшими шлях, набрали сучьев, со спины отвязали чайник, на костре вскипятили чай и, подкрепившись, зашагали дальше на село Чернобыль, скорачивая по проселочнику заученный матерью путь.

Странницы идут с палками, с мешками за спиной. Чтобы расплачиваться за еду, за ночлеги, за перевод через границу, в мешки натолкали отовсюду собранные полотенца, кофты, салфетки, простыни.

— Замучились? — говорит Анна Григорьевна, глядя на мать,

*Все письма матери до сих пор хранятся в моем архиве в Иельском университете.

— вон девки с поля идут, попросим мешки донести, по полотенцу дадим.

И странницы садятся на придорожный пригорок, поджидая девок ситцевыми пятнами вышедших с межи. Девки поют пронзительными голосами. Только подойдя, оборвались, с любопытством рассматривая, сидящих у обочины, странниц. За полотенце, смеясь и давя друг дружку, девки кинулись к мешкам. И порожняком Анна Григорьевна и мать легко ступают за ними. На сельской тихой улице мать развязала мешок, расплатилась двумя полотенцами. В закате темнеет сельская пузатая церковь с высокой звонницей. "Может просвирня аль церковный сторож пустят?" — говорит Анна Григорьевна и палкой постучала в дверь двухоконного, присевшего на бок дома.

— Кто там? — небыстро ответил за дверью женский голос и на порог вышла женщина с гладко зачесанными волосами и закаченными рукавами на жилистых мокрых руках. — Входите, входите, — сказала просвирня, — странных как не пустить, только горе у меня, дочь хвора, в горницу то не зову, тут уж разберите.

В горнице на деревянной кровати, надрывая грудь, кашляла девушка. Просвирня взялась раздуть самовар и вскоре в темноватой прихожей, освещенной светом лампы, мать засыпала на лавке и этот сон у просвирни был как никогда отдохновенен. "Мам... а мам... кто пришел... а?" — "Странные, Лиза, странные", — слышит, засыпая мать. "Мам... а куда они идут?" — заливаясь легочный kloкочущий кашель больной девушки. — "Далеко, Лиза, далеко...".

Звон к ранней обедне разбудил странниц. По церковному двору прошел священник. Зевая и крестя рот, на крыльцо кормить кур вышла просвирня. Застив ладонью глаза, глядит вслед уходящим странницам. Несмотря на шестьдесят четыре года Анна Григорьевна идет легко, отдохнула и мать. Проселочник стелется меж пшеничных полей, с них налетает духмяный ветер, а в полях тишина, только высоко трепыхается, словно не могущий улететь, утренний жаворонок. Знаток духовных стихир, Анна Григорьевна неестественным крестьянским наголоском находит поет тропарь покровителю плавающих и путешествующих Николаю Угоднику. "Правило веры, образ

кротости”, так всегда певала тоненько-тоненько, по монашечьи, странствуя по святым местам. Где только няня не побывала: в Сарове, в Троице-Сергиевой лавре, в Киево-Печерской лавре, в Иерусалиме.

Мать наизусть знает, что, пройдя Романов им надо сворачивать на Миргород. Но — до Миргорода не дойти, устали. В Романове мать постучала в крайнюю хату, окошко приподнялось, выглянула повязанная платком баба с бельмом на глазу.

— Ночевать пустите?

Недружелюбно одним глазом оглядывая странниц, кривая баба не отвечала.

— Мы полотенце дадим.

— Идите, — сказала равнодушно, и слышно, как прошлепала к сениям, с шумом сняв шеколду, — только в хате-то местов нет, самих пятеро, под навесом переспите.

На рассвете баба хозяйски осмотрела полотенце и рассказала, как идти на Миргород.

Полями, лесами, межами, проселочниками, большими трактами уже давно идут странницы, делая в переход верст по тридцать. Растертые ноги лечат подорожником, недаром он и растет по обочинам дорог; иногда за день не встретят живой души, иногда от верховых, от подозрительных пеших, хоронясь, бросаются в хлеба. Раз испугались в поле двух вахлаков, один оборванный, взлохмаченный приостановился и с сиплым хохотом закричал: “Сёмка, а одна-то ще годится!” Молча, испуганно, не оглядываясь, уходили от них странницы.

После многих ночевок мешки попростались. За долгий путь люди встречались разные, кто совсем не пускал ночевать, говоря: “Много вас теперь шляется, может буржуи какие беглые скрываетесь”, кто запрашивал и кофту, и полотенце, с ними торговались, а многие ничего не брали, кормили и указывали дорогу.

В полевой тишине Анна Григорьевна поет: “Волною морскою скрывшего древле”, а мать идет с думами о своих детях. После многих недель пути, подходя к Полонному, мать волновалась: тут надеялась узнать, где лучше перейти границу. Но за неделю жизни в Полонном ни у кого не узнала, годно ли для перехода, заученное ею по семиверстке, направление. А

задерживаться нельзя, в волнении и бездействии только падают силы, и мать решила все же идти на авось по зарубленному в памяти пути, жившему в мозгу ломаной линией, уводящей из России.

Перед уходом пошли на реку искупаться. Медленная река дремала на солнце. У мостков бабы полоскали белье, колотя его вальками. С мостков, завизжав, в реку бултыхнулась баба и поплыла. Купаясь, баба перекликалась с товарками, и наконец, выскочив, схватив одежду, согреваясь, побежала по траве. Возле поодаль раздевавшихся матери и Анны Григорьевны она приостановилась и, присев на корточки, стала одеваться.

— Ох, тут глыбко, не суйтесь, у нас прошлый год тут парень утонул, — проговорила баба, останавливая пошедшую было в воду мать. — А вы нездешенские?

— Нездешние, мы на богомолье идем, — и под влиянием все того же томящего страха за правильность взятого пути, мать неожиданно для самой себя вдруг добавила. — В Почаев хотим, да вот не знаем, как границу-то перейти.

— Ааа, — таинственно протянула баба и сделав значительное лицо, подседа поближе, — А я вам вот что, я вам человечка найду, через границу водит, — зашептала, — брат мой, если хотите проведет и дорого не возьмет.

Прямо с реки мать пошла к бабе. Бабина хата темная, в красном углу смуглая божница с картинками святых. У печи что-то стругает хмурый солдат, бабин брат, контрабандист, ходящий за товарами в Польшу. Выслушав зашептавшую сестру, он не изменил хмурости лица и, исподлобья оглядев мать, пробормотал, что раньше чем через неделю не пойдет. Но с ним мать и не согласилась бы идти, уж очень жуток, и мать сказала, что неделю ждать не может.

— Как хотите, ступайте сами, только вострей глядите, у границы-то там не милуют, — проговорил солдат и опять застругал, взвывая фуганком стружки.

Веря в свои молитвы, которыми горячо молилась находу по лесам, по дорогам, по ночам в чужих хатах, мать решила завтра же идти на Шепетовку по заученному по карте пути. Последнюю ночь в Полонном мать молилась, как никогда. А в желтоватой мути рассвета, с полегчальными мешками странницы

уже шли вдаль новой дороги. Но чем ближе к границе, тем путь опаснее, состояние томительней, иногда пугались случайного крика, подозрительно глянувшего встречного, часто бросались в хлеба, скрываясь от пеших, конных, от проезжавшей телеги.

Когда дошли до лесного железнодорожного пути на Шепетовку и пошли по шпалам, вздохнули свободнее: встречных нет, тишина; только раз издалека показалась дрезина и на ней будто вооруженные. Что было сил странницы сбежали под откос, залегли в чашобе. Были слышны голоса, гул колес и опять все напоено лесной тишиной. За день увидели только один перегруженный пассажирский поезд, из которого какой-то ребенок замахал им белым платком.

К вечеру, дойдя до железнодорожной будки, решили попроситься переночевать у старика-сторожа. Старик принес сена, настелил на полу и, осмелев, странницы рассказали, что идут в Почаев на богомолье, да боятся пограничников.

— На Шепетовку ни-ни, упаси Бог, не идите, — проговорил старик, — в каждой хате солдаты, вы полотна держитесь и лесом на Славуту берите, а на Шепетовку ни-ни, пропадете, верное дело.

Мощные славутские леса ревут под натиском ветра; сосны, ели ушли в поднебесье. Приостанавливаясь, странницы собирают ежевику, костянику, на полянах не раз кипятили чайник, закусывали и снова идут по ревушему, многовековому лесу. В отрочестве мать мечтала вместе с набожной теткой Варварой (сестрой отца, Сергея Петровича) пойти богомолкой по России, но пошла вот только так на Почаев, в революцию.

В лесу Анна Григорьевна поет: "Да воскреснет Бог и расточатся врази его", а мать полна смятенных воспоминаний. То увидит на керенском балконе отца за чаепитием и словно услышит его ласковый голос — "Ольгунюшка" — и слезы позднего умиления подступают к горлу; то вспоминает рано умершего мужа, жизнь с ним в Пензенском доме, в имени, как каждый год вот этой же дорогой через Варшаву ездили в Германию в Бад-Наухейм, а потом после лечения мужа ехали всегда в Париж на несколько дней, а из Парижа в Пензу возвращались через Италию, Вену, с непременно заездом в Москву, чтоб в Художественном увидеть новые постановки, в Большом

послушать Шаляпина и вечером с друзьями семейно заехать к цыганам в загородный "Яр". Теперь — вокруг матери стонет славутский лес. На груди у нее, под кофтой еще бабушкин медальон с выцветшими фотографиями мальчиков трех и четырех лет, и она никак не может представить себе их шахтером и дровосеком; и горло сжимается ощущением близких слез.

Когда в Славуте странницы вошли на базар, матери стало не по себе от пестрого базарного гомона. Ржанье лошадей, крикливые бабы, красноармейцы, мычанье коров, евреи в лапсердаках, еврейки в париках. Странницы решили не оставаться тут, а пересечь Славуту. На окраинной славутской улице, играя в чижик, бегали ребяташки. Уж виднелись поля, когда из проулка на страниц вдруг вышел скуластый, толстоплечий человек в рыжем френче. "Комиссар", пронеслось у матери и сердце захолонуло, а френч остановился, коротко крикнув:

— Документы есть?!

— Есть, — ответила мать и от взгляда скуластого стала снимать со спины мешок. Мгновения ужасные, документов никаких, кроме киевских ничего не значащих бумажек. Стараясь сдержать овладевавшую телом дрожь, сама не представляя, что сейчас будет мать хотела лишь дольше рыться в мешке, оттягивая ужасную минуту ареста. Комиссар хмуро покуривал, пытливо взглядывал то на мать, то на Анну Григорьевну, и вдруг из того же проулка стремглав выбежал молоденький красноармеец, бешено закричав:

— Да иди же, ты! Готово!

Наотмашь отбросив бычок, выпустив стаю соленых ругательств по адресу матери, что не может найти документы, комиссар бросился бегом и в проулке они оба скрылись. Только тогда Анна Григорьевна увидела, до чего бледна еле держащаяся на ногах мать, завязывавшая дрожащими руками мешок.

— Заарестовал бы, Бог нас хранит, — зашептала Анна Григорьевна.

Почти бегом женщины заспешили из Славуты и в вечернем поле на пшеничной меже затерялись. Вечер, ветер, тишина. Кругом та же бесконечная Россия, безразличные к человеку жестокие вечерние поля, сине-черные леса и катящаяся дорога. Только чем ближе к границе, тем сильнее гудят телеграфные

провода, тем напуганней люди и страшнее идти, словно подошвы пристывают к земле.

Под селом Панора дорогу пересекла ржавая, мутная речушка, вместо моста перекинута бревно и на берегу валяются две слеги для перехода. Ими опираясь о дно, мать и Анна Григорьевна перебрались через темную речку и в улице, у крайней хаты заметив у заваленки копавшуюся девочку, мать спросила ее, не знает ли, где б пустили переночевать?

Девочка повела их вдоль темной улицы, доведя до хаты, где возилась в сенях простоволосая баба. Чтоб расположить хозяйку, мать в сенях же развернула перед ней оставшиеся юбку и платок, и взяв за ночевку эти драгоценности, баба даже растрогалась. — Вы мене слушайте, — шептала она, сидя на лавке со странницами. — у мене крестник есть, парень тихий, все тропы знает, вы ему заплатите, он и переведет вас через границу. — И баба тут же послала девочку за крестником, а пока его ждали, хозяйка все хвалила юбку, все примеривала ее к себе, поглаживая ладонями.

— Сама бы в Почаев пошла, жизнь-то какая, — завздыхала вдруг баба, — У мене вон зять маво мужа убил. Сам курицы не зарежет, а вот поди ты, попутал сатана, поссорились, схватил ружье, да и убил враз, — и вдруг неожиданно, длинно, ручьиисто баба заплакала, утираясь подолом.

В хате родилось молчание, но в сенях кто-то завозился. Мать обрадованно подумала, что пришел крестник, но вместо него в хату вошел низкорослый мужик какого-то забитого несчастного вида и мать почему-то сразу поняла, что это и есть убийца. Оглядев странниц, мужик поздоровался даже как-то застенчиво. Баба тут же отвела его в глубь хаты, заговорив с ним полупшепотом, но мужик сразу же отмахнулся.

— Я таких делов не делаю, — сказал строго, — за такие дела нонче пропасть можно, пускай Сенька хочет и переводит.

И вдруг непреодолимый ужас охватил мать; болтливая баба, убийца-зять, какой-то крестник, все стало страшно в полутемной избе; выдадут, донесут, захотят ограбить. Зять стал возиться у печи, что-то доставая из темной бочки, а баба все спрашивала мать, лезя в душу, кто, да откуда, да к кому идут, да когда вернутся?

Тоший квелый паренек лет семнадцати с рано выцветшим лицом вошел в хату в сопровождении девочки. Выслушав мать, он деловито помолчал, потом сказал, что пробраться через границу можно, только с опаской, пограничники в хлебах залегают, ловят и арестовывают.

— Да мы ночью прокрадемся, — проговорила Анна Григорьевна.

— Ночью ни-ни, убьют, иттить середь дня надо, — со знанием дела произнес паренек, — когда солнце высоко, солдаты на обед уходят, вот и надо иттить.

За пятьсот рублей керенками и две оставшиеся в мешке Анны Григорьевны простыни паренек согласился вести через границу России. Эту последнюю в России ночь нужно было выспаться, собраться с силами, но несмотря на усталость от четырехсотверстного пути мать заснуть не могла. То стонал на печи убийца-зять, то переворачиваясь с боку на бок, чешась от блох, кряхтела баба. В темноте сеней мать лежала переполненная волнением, все молилась Богу и какими-то обломками громоздились воспоминания счастья прожитой жизни, с которыми прощалась, ужас возможного ареста, лица сыновей, все наплывало жестоко изнуряющей смесью бодрствования и сна, и опять уходило в темь ночи.

Еще только свежел восток, а тихий паренек уже вошел в хату. С сильно бьющимся сердцем, подрагивая от холода рассвета и от волнения, мать вышла. "С Богом, с Богом", шептала в сенях заспанная баба. Паренек проворно пошел шагов на двести вперед. Страницы еле попевали за ним, все боясь упустить из глаз его пеструю рубаху. Как только он оборачивался, делая условный знак, мать и Анна Григорьевна бросались в пшеницу, залегая в ней, а когда раздавался его далекий свист, выходили и опять шли за его мелькающей, удалявшейся рубашкой.

Мать все чаще взглядывала на поднимающееся солнце, оно уже высоко, стало быть и граница близко. Сейчас, собрав все силы, надо решиться на самое страшное — перейти границу России.

Паренек манит, подзывает к себе; странницы заспешили.

— Нельзя мне дальше, теперь одни ступайте, — зашептал

он, — вон, луг, видите, за лугом хата под новой крышей, там и стоит польский кордон. Да вы не бойтесь, идите спокойно, быдто вы никуда и не бегёте и никакой границы тут нет, а луг — луг он и есть, — и взяв уговоренные керенки, паренек заспешил от странниц.

Зеленый луг в полевых цветах на опушке леса, это и есть та заветная граница России, о которой, изучая карту, думала мать. Вот она дошла, она перед цветущим лугом, за которым уж Польша, поход кончен, но нужно еще самое страшное усилие: среди бела дня, у всех на виду перейти этот зеленый в белых ромашках, в кашке, в желтом зверобое простой и словно заколдованный луг. Это — жутко. Кругом лесная тишина, никого. А матери чудится будто каждый куст, дерево, рывтина, поросль все живое и все стережет ее каждый шаг.

Как сказал паренек, мать и Анна Григорьевна по лугу стараются идти "быдто спокойно", но ноги не слушаются, почти бегут, сердце их торопит. Мать чувствует, что это нехорошо, что это может стать подозрительным, но удержаться уж нет сил. Сейчас луг кончится, с ним кончится и Россия. Еще каких-нибудь пятьдесят шагов и они за границей и надежда увидеть сыновей будет настоящей. Кругом знойная полуденная тишина, ни звуков, ни голосов, только лесной звон в ушах. И вдруг где-то совсем рядом, с русской стороны: — "Эй, тётки, тётки, куда вы кудаааааа?!" Мать и Анна Григорьевна бросились бегом, а вслед всё летит длинный крик и хохот. Это посмеялся, сидевший у дерева, на русской стороне дуралей-пастух.

Но они уже бежали по Польше, хоть им все и не верилось, что это не Россия. И только когда навстречу раздались польские голоса и из кустов вышли человек шесть пограничников, женщины поняли, что они уже не в России.

— В комендатуру! — проговорил старший, и от польского языка, чужой формы, чужих лиц повеяло чем-то, от чего беспомощно сжалось сердце.

Пограничники вели их к той хате под новой крышей, что показывал паренек с русской стороны. В хате их оставили наедине с хитроглазым пожилым хutorянином. "А вы, чтоб в комендатуру-то не вели, заплатите им, тут завсегда так делается", — подмигнул хutorянин. У него мать и обменяла керенки на

злоты, он их и передал старшему команды; на границе двух держав хитроглазый хуторянин был и адвокатом, и маклером, и менялой. Но как только женщины вышли из дома, молодой солдат, с отталкивающим лицом куницы двинулся за ними.

— Он вас до дороги проведет, — проговорил старший.

Увешанный винтовкой, револьвером, гранатами, одетый с иголки солдат повел женщин напрямки по чаще; они еле продираются, а чащоба березняка все гуще, глуше. Мать замечает, что поляк сворачивает туда, где продрасться почти нет уж возможности и обеих женщин все уверенней охватывает страх. Еще в Киеве рассказывали, что пограничники убивают и грабят перебежчиков. Издали слышен только стук топоров да голоса дроворубов и будто от этих голосов солдат и сворачивает все глубже в чащу.

Анна Григорьевна с матерью переглянулись.

— Где же дорога? — остановившись, проговорила мать.

— Идите! — яростно закричал солдат.

Но женщины не идут. Мать видит разгоряченное, хищное лицо мальчишки, узкие рысьи глаза словно ощупывают ее, словно ищут, где на ней спрятаны деньги.

— Я к сыновьям иду! — проговорила мать, — У вас тоже мать есть, куда вы нас ведете? Отпустите! Я вам все отдам! — и мать полезла за деньгами под кофтой.

Это движение могло их только погубить, ободрив еще не решавшегося на убийство мальчишку. И словно поняв это, Анна Григорьевна вдруг с палкой рванулась к нему и, как сердитая старуха ругает на деревне хулигана, закричала, замахиваясь палкой: — Подлец ты! Креста на тебе нет! Деньги взяли, ограбили, а ты еще, негодяй, хочешь! Нехристь ты окаянный! — наступала с палкой вне себя от ярости Анна Григорьевна.

От ее ли криков, от донесшихся ли совсем недалеко звуков топоров, но солдат оторопел и, выхватив у матери из рук деньги, бросился в чащу. Женщины с испугом ждали: будет стрелять иль уйдет? Но бегущими, замирающими шагами солдат ломил кусты. И им вдруг стало слышно пенье птиц, которого раньше будто не было. Из последних сил продираясь сквозь кусты и мелколесье, странницы пошли на стук дроворубов...

На двенадцатой неделе полной неизвестности о судьбе

матери я в Берлине наконец получил ее письмо... с польскими марками: "... вот уж две недели, как мы в Почаевской лавре, куда пришли пешком... путь был труден, но он позади... даже думать боюсь о минуте встречи, так страшно, что после трех лет она вдруг не исполнится, когда уж так близко..."

Таким эмигрантам, как мать и Анна Григорьевна, из Польши в Германию в 1921 году переехать было трудно. Я ездил в Полициайпрезидиум, все объяснял, просил, но чиновники есть чиновники, получал ответ, что мать может приехать временно, и только если на въездных бумагах будет польская виза "с поворотом", то-есть, "с поворотом" назад в Польшу. "Закон есть закон и ничего в законе изменить нельзя", сказал мне наставительно толстый чиновник. Но мы закон обошли: помогли Станкевичи, самые близкие мне люди, я обо всем с ними советовался и не раз Наталья Владимировна плакала над письмами моей матери.

Владимир Бенедиктович вдруг вспомнил, что в Варшаве в министерстве иностранных дел у него есть приятель (по-моему, Лукасевич, точно не помню) и он заведует восточным департаментом. В.Б. написал ему частное письмо о побеге матери, обо мне, о нашей дружбе, прося поставить на бумагах матери это волшебное "с поворотом", заверяя, что мать никогда в Польшу не вернется. Благодаря этому письму матери обещали поставить "с поворотом". Но оно и не потребовалось, ибо "закон" был обойден с другой стороны.

Тут помогла Наталья Владимировна. В Берлин из Рима как раз к ней приехала близкая подруга — Белобородова, сестра известного художника-архитектора А. Белобородова, жившего в Риме. Когда Белобородова была у Станкевичей Н. В. рассказала ей о побеге матери, и о наших хлопотах. Белобородова приехала не одна, а со своим другом — итальянцем. И на отчаяние Н. В. сказала: — "Знаешь, по-моему, Умберто может помочь, он очень дружен с вашим пелициайпрезидентом. Пусть Гуль заедет к нам и все расскажет Умберто, а я его подготовлю".

На утро я уже был у Белобородовой и Умберто в каком-то дорогом отеле, кажется, в "Адлон". Умберто был совсем не похож на обычный, в нашем представлении, тип итальянца. Это был некрасивый блондин, широченный, вероятно, человек страш-

ной силы, походил на борца иль боксера. Причем — очень приветливый и веселый. Он попросил рассказать о всех бедах моей матери. Я рассказал. По его коротким вопросам и кивкам головы я понимал, что он уже все знает от Белобородовой. Когда я кончил, он попросил написать имена и фамилии матери и няни. Я написал. Он взял листок, потом взял телефонную трубку и начал говорить с... полицайпрезидентом. Конечно, разговор друзей пошел не о визе для моей матери. В трубку Умберто хохотал, они что-то вспоминали, от чего, вероятно, смеялся и полицайпрезидент. Умберто называл его на "ты". Наконец стали уславливаться об общем обеде в ресторане — на завтра. И только под самый конец Умберто сказал: — "Да, у меня к тебе есть одна просьба". И Умберто очень кратко изложил дело моей матери. "Можешь ты это для меня устроить? Это очень хорошие и много пережившие люди". Ответа полицайпрезидента я не слышал. Но Умберто проговорил: — "Данке шён" и они простились до завтрашнего обеда. Положив трубку и весело улыбаясь, Умберто повернулся ко мне: — "Ну, вот, все сделано, послезавтра можете ехать в Полицайпрезидиум и вам подтвердят, что виза вашей матери будет послана в Варшаву".

А дней через десять мать и няня сидели в моей крохотной комнате на Мейнингерштрассе 11. Хочу рассказать об одном чуде. Оказывается, в Киеве мать долгое время страдала кровотечениями. Возможности пойти к врачу нет, бинтов нет, на бинты шли старые рваные простыни. А кровотечения такие, что "матрац промокал".

Перед бегством мама молилась (она была подлинно религиозна), чтоб Бог дал ей сил дойти до сыновей здоровой: ведь если в дороге кровотечения откроются — побег сорвется. Веря в свои молитвы, несмотря на отговоры родных, мать все-таки пошла. И произошло *подлинное чудо*. Во всем четырехсотверстном походе кровотечений не было. Но как только мама *дошла до цели* — до Берлина — открылись страшные кровотечения. Известный петербургский хирург, профессор Яковцов (ставший эмигрантом) сказал, что операция нужна немедленно. Сделал. Опухоль оказалась очень большой, но не злокачественной. Яковцов не понимал, как с такой опухолью мать могла пройти четырёхста верст? А вот прошла!

Вспоминаю, на Страстной к заутрене мы пошли с матерью на Хауптштрассе в протестантский храм. Протестанты предоставили свой большой храм нашей православной церкви; тут, в Шёнеберге жило много русских.

Храм был переполнен. Недалеко стояли Алексей Толстой с женой (Натальей Крандиевской) и сыном Никитой. Толстой несколько раз оборачивался, взглядывая на нас. А дня через три встречаю его на улице. Не успел поздороваться, как он, даже с каким-то восторгом: — "Ну, Роман Гуль, видел в церкви вашу матушку, какое у нее замечательное лицо! Ну, вылитая моя тетка Татаринова! Кто она рожденная?". Я сказал. "Ну, ни дать ни взять моя тетка Татаринова!". В моей матери не было ничего от "дамы", тем более от "буржуазной". Она была — женщина, мать, человек. Красивой она не была, но в ней было нечто большее, чем "красота", в ней было благородство облика. У мамы были прекрасные карие глаза. Вот это-то благородство своим острейшим глазом и увидел Алексей Толстой. И мне это было приятно. О побеге мамы знали многие, в ежедневной газете "Голос России" о нем было подробно рассказано. Ко мне приехал репортер Б. Шенфельд-Россов, он все и написал.

Русский Берлин

Я не пишу историю русской эмиграции. Не мое дело. Хотя жаль, что она еще не написана. Но хочу, чтоб моя книга все-таки была неким *справочником* по истории Зарубежной России. Разумеется, *мой* справочник будет субъективен. Это неизбежно, как почерк. Ведь я пишу о том, что *я видел*, что *я чувствовал*, что *я пережил*. Но я дам не только (зарубежную) биографию мою и моей семьи, но и общий, чисто фактический *фон*, который показал бы *декорации* Зарубежной России. Расскажу, чему "недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил".

Каков же был русский Берлин? Начну с православных церквей. По числу их Берлин не мог сравниться с Парижем и Нью-Йорком, где православных церквей было множество.

В Берлине в 1920-х годах была Домовая Посольская церковь на Унтер ден Линден (пока в старинное здание русского посоль-

ства не въехал первый советский представитель, большевик А.А. Иоффе — тогда церковь уничтожили).

В Посольскую церковь я ездил каждое воскресенье к обеду. Церковь всегда была полна молящимися. И в ней я впервые увидел бывшего члена Государственной Думы, "легендарного", крайнеправого и крайне эксцентричного в своих думских выступлениях Н.Е. Маркова II-го. По лицу и фигуре он был очень схож с Петром Великим, увы! Роста столь же громадного, на голову выше всех стоявших в церкви, лицо энергичное, волосы подстрижены словно в кружалы. В эмиграции он был членом Высшего Монархического Совета и одним из тех, кто сразу поверил в чекистскую провокацию "Треста", что по всей Сов. России будто бы уже раскинулась "мощная сеть" монархических организаций. Другую историческую личность я встречал часто после обедни. После литургии я обычно шел обедать в русский пансион фрау Бец. Фрау Бец полнотелая, высокая типичная немка, прекрасно говорившая по-русски, в двух шагах от Унтер ден Линден, в своей квартире, держала пансион. По воскресеньям за ее большим "табльдотом" сходилась много эмигрантов. Обеды были русские, вкусные, недорогие.

Среди обедавших я невольно обратил внимание на пожилого, с проседью, крепкого человека с заклиненной седо-ватой бородкой, по-военному выправленного так, что если бы обедавшие и не обращались к нему — "ваше превосходительство" — я сразу бы определил его, как военного. Штатский костюм сидел на нем, как мундир. Но генерал привлек мое внимание не внешностью, а суждениями. Разговоры за столом шли, конечно, о политике. К "его превосходительству" обращались с вопросами. И всегда все, что говорил этот генерал, было умно, остро, было видно, что генерал политически весьма ориентирован и со своим мнением. По войнам (мировой и гражданским) я знавал русский генералитет и надо честно сказать, что наши генералы в подавляющем большинстве были политически невежественны (в противоположность иностранным военным). Недаром во время революции сам глава генерального штаба генерал М.В. Алексеев, ища патриотической поддержки среди левых, однажды обратился к социалисту-патриоту Г.В. Плеханову: — "Георгий Валентинович, ваше слово, как старого социа-

листа-революционера было бы...” — Плеханов поправил генерала и, думаю, на лице Плеханова отобразился “ужас” — чтоб его, “отца русской социал-демократии” назвали “старым социалистом-революционером”!.. Поэтому-то своей политической осведомленностью и удивлял меня кушавший со мной у фрау Бец генерал. Под конец я не выдержал и, уходя, спросил фрау Бец — “фрау Бец, скажите, пожалуйста, кто этот генерал?” — “А вы разве не знаете? — удивилась она. — Это же Александр Васильевич Герасимов!”. Тут я (внутренне ахнув) понял, почему так умен и политически образован этот солидный генерал. Это — бывший начальник Охранного Отделения ген. А.В. Герасимов, правая рука быв. премьер-министра П.А. Столыпина, тот, кто мертвой хваткой схватил двустороннего предателя Азефа, заставив работать *только* на Охранное. И тот, кто спас Азефа от убийства эсерами, после разоблачения, дав ему подложные документы и деньги.

Вскоре Б.И. Николаевский познакомился с А.В. Герасимовым. Оба они были великие знатоки русского революционного движения, но... с разных сторон баррикады. Они стали встречаться и беседовать (очень интересно). Дома Б.И. записывал рассказы А.В. для себя. Но давал их читать мне. Эти записи мне очень пригодились при писании мной исторического романа “Азеф”, в котором я вывел и генерала Герасимова. Герасимов опубликовал свои воспоминания по-немецки и по-французски. Жаль, что до сих пор они не вышли по-русски.

Кроме Посольской православной церкви в Берлине был Синодальный Собор на Фербеллинер Плац, Свято-Владимирская церковь на Находштрассе и Кладбищенская церковь при Александерхайм (построенная, кажется, императором Александром III-м). Вот — о церквях.

Теперь — о русском книжном деле в Берлине.

(Продолжение следует)

*

То то, то другое, то то, то другое,
А хочется озера, сосен, покоя.

Среди ежевики, синики, черники —
И голос души, словно тень Евридики.

И больше не прибыль, не убыль, не гибель,
А лист, пожелтый, на водном изгибе,

И жук, малахитовый брат скарабея,
Жужжавший в траве, от нее голубея.

Там, словно под тенью священного лавра,
Корова лежит с головой Минотавра.

Египетским богом там кажется дятел
И ты наблюдаешь, простой наблюдатель,

За уткой, которая в реку влетела,
Как в небо — душа (только более смело?)

*

Пляшет, скачет темный рок,
То ли демон, то ли дервиш.
Он тебя — в бараний рог.
Не умолишь, не удержишь.

Ну, а все же — шевелись.
Пробуй жисть отдать не даром.
Прыгай вверх и прыгай вниз.
Стань джигитом, стань кентавром.

— Мистер Рок! Мадам Судьба!
Где уж нам уж, где уж нам уж...
— Ты ж ишак, Али Баба!
Шевелись! Скачи к Сезаму!

Сквозь туман и сквозь мираж
Извивайся, изменяйся.
Делибаш, пляши чардаш
На Пегасе, на Парнасе!

Раз — и прошлое не в счет!
Перевоплотись под старость!
(Кто младенца понесет?
Белый ангел? Белый аист?)

Игорь Чиннов

”ВОЕННОПЛЕННЫЙ № 7172”

МЕЖДУ ПЛЕНОМ И РОА*

Шегов, Лешенко, Бедрицкий и двое молодых парней подали заявления о зачислении в РОА. ”Надо полагать, что плен закончился, — думал Шегов, — посмотрим что будет впереди”. Вся пятерка сидела в комнате молча. Каждый переживал по-своему этот момент перехода какой-то невидимой, но хорошо ощущаемой черты. До этого каждый из них был советским гражданином, лояльным или нелояльным, приверженцем или оппозиционером, но советским. А вот сейчас, когда им объявят, что они переходят с положения военнопленных вражеского государства на положение солдат союзного Германии войска, они снимают с себя этот ярлык ”советского”, и возврата нет! Возврат может быть только как победителей...”А если нет? Что ж в этом, вполне вероятном, случае? Смерть в бою со своими вчерашними согражданами, со своими братьями? Или страшное существование в сибирских концлагерях, что хуже смерти? Или скитание по чужим странам, среди чужих людей, если повезет, не потерять жизнь?” Так думал Шегов посматривая на товарищей, понуро сидевших в полупустой комнате.

”Вот Бедрицкий... талантливый авиаконструктор, летчик-испытатель... жена учительница, две дочки где-то там в России... все это, всю свою прежнюю жизнь, все свое будущее он приносит в жертву иллюзорной и... сомнительной идее освобождения России от большевизма... Или Лешенко... инженер-металлург, из Гипромеза в Ленинграде, помощник начальника отдела, хорошо

*Последняя глава повести.

зарабатывал, ездил в заграничные командировки, тоже женат... маленький сын... Или эти двое, совсем мальчики, они родились уже после революции, и другой жизни, не подсоветской не знают... Что привело всех их сюда к зондерфюреру Цейхелю, получить его, немца и врага, последнее благословение и переступить эту роковую черту? И наконец, я сам... ведь нет во мне искреннего энтузиазма, полной веры в правоту этой идеи Власова, плечом к плечу с Гитлером идти очищать Россию или Украину от коммунистов, от НКВД... С Гитлером и Гестапо против Сталина и НКВД... ведь и у меня там была любимая работа, жена, сын... Одинокое заключение, садист следователь Шмукельский... мордобой... оскорбления... и полное беспросветное пожизненное рабство... Нет... здесь есть свет впереди, хоть слабый, но свет... а там полная тьма!”

— Вот и я, господа, — в комнату вошел Цейхель. Он поочередно пожал всем руки, — подполковник Лещенко, майор Шегов, майор Бедрицкий, лейтенант Симончук и вы сержант Нелюс, прошу садиться. Я имею удовольствие быть первым, кто сообщает вам радостную известию: вам разрешено вступить в армию генерала Власова и вы для этой прекрасной и возвышенной цели освобождаетесь из плена. Я очень рад за вас господа офицеры. Это ничего господин сержант Нелюс, вы конечно тоже скоро будете в офицерском корпусе, абсолютно! — пошутил он, — я просто предугадаю будущее. — Цейхель, коверкая русский язык несколько минут говорил о своей радости быть ”первовестником” и наконец объявил, что все пятеро сегодня же должны уехать в Дабендорф, около Берлина, в особую офицерскую школу РОА. — Сожалею, но вы поедете к месту назначения, пока в сопровождении одного унтер-офицера... вы еще не одеты для поездок самостоятельно...

Но когда ”господины офицеры” попрощавшись с Цейхелем вышли во двор шталага в сопровождении унтера, к ним присоединился еще и солдат с карабином. Так и пошли они к станции гуськом, впереди унтер, за ним все пять новоиспеченных РОАвцев, а сзади солдат!

— Пока ничего не изменилось, ”господины” мои, — заметил Бедрицкий.

*

Ехали долго. К восьми часам вечера приехали в Дабендорф. Минут десять шли по темным, освещенным редкими синими фонарями улицам и остановились у ворот лагеря, где стояла немецкая охрана, но из караульной будки вышел военный с значком РОА на рукаве.

— Добро пожаловать господа, — приветливо сказал он. — Сейчас мы вас накормим и дадим место для ночлега. — Шегов обратил внимание, что сопровождающий их унтер из шталага, передал пакет с документами не офицеру с нашивкой "РОА", а солдату немцу и что приветливый русский офицер с немецкими погонами лейтенанта забрал их с собой в лагерь, только после того, как солдат просмотрев документы, кивнул головой.

Встретивший офицер представился, назвавшись "подпоручик Шумилин", и спросил каждого о его ранге и имени. После этой формальности, он привел всех на кухню, где их покормили, а потом отвел в барак. В большой комнате было 12 кроватей, из которых на четырех спали люди, закутавшись в одеяла.

— Располагайтесь, господа, здесь на ночлег. Вы наверное устали и хотите отдохнуть. Подъем у нас в шесть. После подъема кто-нибудь из администрации зайдет за вами и поможет пройти всю процедуру зачисления на довольствие и оформления вашего положения здесь. Спокойной ночи, господа, — и подпоручик ушел. Все стали укладываться спать. Шегов и Бедрицкий вышли перед сном покурить на крыльцо барака. В лагерном городке было темно и тихо.

— Ну, Николай Петрович! Вот и приехали... притащила кошка попугая... что ж она теперь будет делать с ним?

— В тебе много цинизма, Бедрицкий. Ты что не рад, что мы наконец попали сюда?

— Конечно рад. А ты знаешь, что мне сказал Антонов, когда узнал, что я собираюсь в РОА? Сильно сказал! Вот его слова: "Нужно быть доведенным до предела отчаяния, чтобы сознательно сделать выбор между врагом внешним и внутренним в пользу внешнего!" Вот и сидят у меня в голове эти слова.

— И ты сожалешь о своем выборе?

— У меня, дорогой, такового не было, так же как и у тебя! Собственно говоря, был конечно, но очень узкий. Или обеспе-

ченная на сто процентов смерть или некоторая вероятность продолжения жизни. Мне, Петрович, еще почему-то умирать не хочется... сам не знаю почему.

— Мне тоже... а я рад... может и не совсем, но до какой-то степени мы с завтрешнего дня делаемся свободными людьми. Конечно, свобода офицера в армии, да еще в военное время, вещь относительная, а все-таки... хоть видимость ее. Кроме того, я думаю, что и на случай гибели Германии, и на случай ее победы нам нужно быть всем вместе, и чем больше нас, тем лучше, тем мы сильнее и тем больше можем сделать.

— Это, конечно аксиома... а много ли нас для того, чтобы мы могли считать себя силой?

— Не знаю. Майор Веселаго, который бывал у нас в лагере, говорил, что в Германии сейчас работает больше десяти миллионов русских, вернее подсоветских, и если взять только 10% от этой массы, то получается резерв в один миллион солдат. Он говорил, что в немецких частях уже до 300 000 человек наших добровольцев. Говорил, что к Власову присоединяются военные организации белой эмиграции, казаки генерала Краснова...

— Идем спать, Петрович. Пора! — Бедрицкий затоптал окурок. — Идем, мой дорогой майор-оптимист!

Утром, после подъема снова появился подпоручик Шумилин и повел всю пятерку на завтрак. Покормили довольно бедно и наскоро и снова в споровождении того же Шумилина вернулись в барак, где провели ночь.

— Майор Бедрицкий, лейтенант Симончук и вы Нелюс, пойдете со мной, а вы, господа, подождите меня здесь, — обратился он к Шегову и Лещенко. — Я приду за вами через 15 минут.

— Ну, Игорь свет Григорьевич, вы вчера завалились спать рано, а мы с Бедрицким еще долго разговаривали.

— Я перед сном тоже поговорил с одним ”вчерашним военнопленным”, интересные вещи узнал! Например, мы то и не знали, что на Гитлера было покушение, 20-го июня в его штабквартире взорвалась бомба... Здесь тоже была паника. Власова и Трухина куда-то увезли и спрятали на время. Говорят, что была какая-то связь между теми, кто попробовал ликвидировать Гитлера, и власовским окружением. Будто была общая идея

заклучить немедленный мир с союзниками и превратить войну между Германией и СССР в гражданскую с максимальным использованием сил Власова.

В комнату вошел офицер средних лет, с погонами майора, подтянутый, свежевыбритый и даже пахнувший крепким одеколоном.

— Господа, я майор Пшеничный, будем знакомы. — Лещенко и Шегов поочередно представились. — С вашим зачислением в РОА произошло непредвиденное осложнение, — продолжал майор. — Вы оба должны сегодня же вернуться в ваш лагерь, там, где вы работали.

— Что? ... Вот это новость! — одновременно воскликнули Шегов и Лещенко.

— Вы, господа, не волнуйтесь, командование школы примет все меры, чтобы вы оба были освобождены из плена... сам генерал Трухин заинтересовался вашим делом и...

— Подождите, майор. Скажите, что вы знаете? — Шегов нервно стал набивать свою трубку табаком. — Это касается всех пяти или только нас двоих?

— Хорошо. Еще до вашего прибытия вчера, была получена телефонограмма на имя немецкого коменданта школы о том, что организация, где вы работали, как она называется... Хеерес Анштальт Пеенемюнде что ли, дала разрешение на увольнение только майору Бедрицкому, лейтенанту Симончуку и рядовому Нелюсу, но не вам, господа, и потребовала немедленного возврата на производство вас обоих. Вермахт дал соответствующий приказ. Эти документы начальник школы генерал Трухин получил сегодня утром и...

— Дал приказ вернуть нас по месту? Это здорово!

— Видите, зачисление в РОА происходит только после разрешения Вермахта, пока этого не произойдет, вы вне юрисдикции РОА, и мы здесь, включая начальника школы Трухина да и самого генерала Власова, совершенно бессильны...

— Это мы видим! К сожалению, это ясно, — горько сказал Шегов.

— А могли бы мы поговорить с генералом Трухиным? — спросил Лещенко.

— Я полагаю, что да... посидите здесь, а я пойду к Федору

Ивановичу и спрошу, может ли он вас принять немедленно. Вы должны уехать, — майор посмотрел на часы, — через 40 минут, я сейчас вернусь.

— Ах ты... — Шегов длинно и скверно выругался. — Вот сволочи, вот гады... Там дают дурацкие приказы, а здесь они бессильны! Включая самого верховного командующего Власова! Бессильны! Понимаете... ах так вашу и этак... Нет! я не согласен... я назад не поеду!

— А что же мы можем сделать? Я чувствую, здесь нам помочь не смогут, придется ехать!

— Идем, господа, — снова появился майор Пшеничный. — Генерал вас примет немедленно.

Вслед за Пшеничным, Лещенко и Шегов быстро прошли мимо ряда барачных и через несколько минут оказались в довольно большой комнате, похожей на кабинет.

Из соседней комнаты вышел очень высокий, худой генерал. Шегов и Лещенко отдали честь, генерал пожал им руки.

— Прощу садиться, господа, — мягким грудным голосом сказал он. — Я знаю всю вашу историю... мне очень неприятно, но в эту минуту я не могу ничем вам помочь. Я сразу же принимаю ряд мер, чтобы вы оба, как можно скорей, были освобождены из плена и зачислены в РОА, но... сейчас вам придется уехать назад в ваш лагерь.

— Господин генерал! — воскликнул Шегов. — Ведь это неслыханное издевательство! Это же...

— Я все это знаю, майор Шегов, я знаю, что вы хотите сказать, и, не выслушав вас, я заранее согласен со всем! Но повторяю, что вам придется смириться и поехать назад. На короткое время, я обещаю вам обоим, что я добьюсь.

— А если мы откажемся уезжать? — прервал генерала Шегов.

— Шегов, Николай Петрович, кажется так? Не делайте глупостей! Этим отказом вы, возможно, навсегда лишите себя возможности быть в наших рядах и причините очень большой вред всей нашей организации...

Майор Пшеничный привел их к воротам лагеря и передал снова под охрану немецкого унтера. Шагали через городок молча. Унтер старался разговаривать, но ни Шегов, ни Лешенко не понимали его, говорил он на каком-то немецком местном диалекте.

Уже когда сели в вагон, Шегов сказал: — Знаете, Игорь Григорьевич, что значит РОА? Сейчас это "русские обманутые Адольфом", а завтра мы это расшифруем по-иному: "Русские обманувшие Адольфа"! Я это обещаю!

— Что вы задумали?

— Видите ли, то, что нельзя делать в лагере РОА, можно попробовать в лагере военнопленных и я думаю, что при известной крепости нервов успех почти обеспечен!

— Говорите яснее, Петрович.

— Ладно. Забастовка! Мы откажемся не только работать, но и исполнять приказы Гильдебрандта, Фетцера и всех их вместе взятых и будем требовать отправки в Шталаг на время... пока они там на верхах будут договариваться о нашей судьбе. Согласны? — Не слишком ли это решительно? — неуверенное сказал Лешенко.

— Возможно, но я не вижу другого выхода! Я в лагере не останусь даже на один час. Я иду ва-банк! Хотите идти обратно в чертежку, идите... но я туда больше не пойду!

— Я с вами, Петрович!

— Великолепно! Только играть буду я, а вы держитесь пассивно.

— Да нет, я уж пойду до конца, до спуска занавеса.

— Договорились!

*

Не было еще и трех часов дня, когда унтер привел Шегова и Лешенко в барак лагеря НАР в Вольгасте. Встретили их знакомые вахтмана веселыми шутками, похлопыванием по плечам и угощением сигаретами. Появился папаша Гильдебрандт, тоже явно довольный, что Шегов и Лешенко вернулись "наххаузе". После просмотра бумаг, которые ему передал унтер, папаша сказал, что вернувшиеся могут идти в свою комнату и отдыхать

до завтрашнего дня и что сейчас выдаст им постели и все что полагается военнопленному.

— Ну, Игорь, занавес поднимается, и мы выходим на сцену! — тихо сказал Шегов и, обращаясь к Гильдебрандту, стараясь говорить как можно яснее на своем ломаном немецком языке, добавил:

— Господин оберфельдфебель, мы с господином Лещенко в лагерь не пойдем добровольно. Так как мы хотим, чтобы вам была вполне ясна причина нашего неповиновения, я прошу позвать или господина Фетцера или коменданта майора Антонова, которые смогут помочь нам в этом разговоре.

Гильдебрандт внимательно посмотрел на Шегова и хотел что-то сказать, но передумал и быстро вышел из комнаты. Вернувшись Гильдебрандт жестом приказал Шегову и Лещенко идти за ним. Все трое пришли в комнату Фетцера. Фетцер сидел за столом, сел и Гильдебрандт. Фетцер посмотрел на Шегова, потом что-то тихо и неразборчиво сказал Гильдебрандту, тот согласно кивнул головой.

— Что это значит, Шегов? Оберфельдфебель сказал мне, что вы оба отказываетесь идти в лагерь?

— Да. Мы это заявили ему.

— Вы понимаете, что это отказ от выполнения приказа?

— Да.

— Сейчас же перестаньте валять дурака и отправляйтесь в барак! Ясно?

— Ясно. Но в барак мы не пойдем!

— Лещенко, это и ваше решение? Или этот сумасшедший говорит только от своего имени?

— Это наше общее решение, — спокойно ответил Лещенко.

— Так... так... интересное решение... смелое... — Фетцер перевел для Гильдебрандта, тот встал, плотнее прикрыл дверь в коридор и снова сел на свое место. — Вы оба, конечно, через несколько минут будете сидеть в карцере... но просто для удовлетворения нашего любопытства с господином комендантом лагеря, скажите Шегов, почему вы оба приняли такое... экстравагантное решение? Фетцер посмеивался. Он закурил и откинулся на спинку кресла. — Валяйте Шегов, валяйте, очень интересно послушать.

— Смеяться здесь нечему, Фетцер, — Шегов преднамеренно опустил "господин". — Я вам скажу почему, только прошу в точности переводить мои слова господину коменданту, — здесь Шегов подчеркнул голосом "господину". — Кстати, я ничего "валить" не собираюсь и веселого во всей этой ситуации ничего не вижу. По причинам политического порядка, мы с подполковником Лещенко подали просьбу о приёме нас как добровольцев, в Русскую Освободительную Армию генерала Власова, в настоящее время являющуюся союзной армией Германии. Мы получили согласие соответствующих департаментов Вермахта, освобождающее нас от положения военнопленных и утверждающее в положении офицеров РОА.

— Откуда у вас эти сведения? — прервал Фетцер.

— Я видел официальные документы в Дабендорфе, — соврал Шегов.

— Мы таких документов здесь не получали.

— Это не важно... вы их получите! Но дело не в этом. Какой-то чиновник в НАР, бюрократ и полный профан во всём, что выходит за пределы его узкого кругозора, нашел легальную зацепку и, пользуясь огромной бездушной бюрократической машиной, не понимая, что он делает... — Шегов произнес несколько трескучую довольно банального содержания речь, делая паузы когда Фетцер переводил ее Гильдебрандту. Лещенко одобрительно кивал головой. Пройдясь по комнате, Шегов остановился перед Фетцером и подчеркивая свои слова жестами, закончил:

— Не говоря о нас двоих, кто теперь в нашем лагере или в других лагерях, после этого случая поверит вам, господа немцы? Многие пересмотрят свое отношение и к РОА и к германской искренности в этом нашем общем сотрудничестве в деле освобождения России от большевизма! Я не буду задерживать вашего внимания, ни я ни господин Лещенко не желаем участвовать в этом гнусном деле и поэтому мы требуем, чтобы до исправления этой трагической ошибки, мы были временно отправлены в Шталаг.

Фетцер и Гильдебрандт обменялись быстрыми фразами. Насколько Шегову удалось уловить смысл, оба немца были согласны с его идеей. — Жми Петрович, жми!

— Возможно, что это не плохой выход. Мы запросим мнение Шталага и снесемся с управлением в Пеенемюнде. В общем, мы согласны попробовать... я же лично согласен и вообще с тем, что вы сказали. Вот и хорошо, что мы поняли друг друга. Идите в барак...

— Нет! Я вижу, что вы совершенно не поняли нас! Мы в лагерь не пойдём! Вам придется нести нас туда мертвых или в безчувственном состоянии, но сами мы не пойдём! — резко и очень повышенным голосом прервал Фетцера Шегов. От громкого голоса Шегова, Гильдебрандт вздрогнул и встал со стула. Встал и Фетцер.

— Кульминационный пункт драмы, — подумал Шегов. — Или пан или пропал!

— Вы совершенно взбесились Шегов! Замолчать! Марш в лагерь! Слышите? Вон отсюда! И не вызывайте меня на...

Теперь все четверо стояли друг против друга. Оба немца были явно в очень раздраженном состоянии. Фетцер покраснел и нервно протирал платком стекла своих очков. Гильдебрандт строго и неодобрительно смотрел на Шегова. — Опять азарт... пронеси, Господи, мелькнуло в голове у Шегова, но остановиться он уже не мог.

— Не вызывать вас? На что? На мордобой? Не забудьте одеть ваши серые перчатки, зондерфюрер Фетцер! Как тогда, когда вы избивали Звездилова и Полянского в лагере! — рявкнул он прямо в лицо Фетцеру.

— Вы с ума сошли, совершенно бешеный! — отступил на шаг Фетцер.

— Да! Я взбесился! Вы понимаете, что вы собираетесь сделать с нами? Обрато в лагерь? На издевательства, на насмешки... да после этого ни один пропагандист из РОА не сможет даже рта открыть здесь... и слушайте меня, Рудольф Рудольфович, этого вы можете не переводить ему, — Шегов кивнув в сторону Гильдебрандта, — если вы вот сейчас, в перчатках или без них, тронете меня... клянусь всем святым... я дам вам сдачи!

— Бешеный... бешеный... — повторял Фетцер, растерянно смотря то на Шегова, то на Лешенко. — Он совсем рехнулся!

— Точно! Бешеный! Рехнулся! И у вас будет только один

ход... застрелить меня на месте! Что ж вы медлите? — Шегов сел на стул. Он сразу как-то выдохся и потух. Нервы сдали, и когда он стал набивать свою трубку, руки его заметно дрожали.

Фетцер и Гильдебрандт молча вышли из комнаты. Щелкнул дверной замок и Шегов с Лещенко остались одни.

— Николай Петрович... вы переиграли, — тихо сказал Лещенко.

— Думаете? ... Хотите отступить?

— Как-то нужно выбираться из создавшегося положения... я полагаю...

— Игорь Григорьевич, вы как хотите! Вот сейчас откроются двери и появятся несколько солдат и... Вы можете идти с ними в этот проклятый лагерь... в комнату, в карцер, хоть к чертовой матери! Я не пойду! Баста... полумертвого меня могут потащить, но как только сознание вернется ко мне... буду драться... до последнего вздоха... Для меня это конец пути... пленным я больше не буду... не буду!

— "Хоть к чертовой матери", очень мило сказано. Вот уж не ожидал этого от вас. —

Оба замолчали. Шегов постепенно приходил в себя и старался оценить, что же он наделал и какие можно ожидать теперь последствия. — У них, если они поверили мне, выхода тоже нет другого... должны отправить в Шталаг...

Кто-то прошел по коридору, остановился около дверей, постоял с мгновение и ушел. Прошло еще минут десять, было уже после четырех, начинались сумерки, в комнате быстро темнело.

Шегов хотел встать и включить свет, но передумал. Зажег спичку, раскуривая трубку, и взглянул на Лещенко. Тот сидел закрывши глаза.

Щелкнул замок в двери и в комнату вошел Димка Климов, работающий на немецкой кухне. Он деловито зажег свет, поставил на стол два котелка супа и положил две пайки хлеба, потом вынул из кармана две ложки, вытер их фартуком и тоже положил на стол.

— Унтер на кухне сказал, чтобы покормили вас на дорогу... так вот, фрау кухонная прислала. А куда вас повезут то? — спросил он.

— В Шталаг, я думаю, — ответил Шегов. — А как в лагере?

— Да, никак... как и раньше... — пожал плечами Димка. — Ешьте, а то скоро повезут вас, машиной говорят. Ну, счастливо, значит. Пока... только ложки не забирайте.

— Шумные овации всего зала! Все встают! Громовые аплодисменты! Героя засыпают цветами! — Лешенко встал и, прижимая руки к груди, поклонился Шегову.

— Если это правда, принимаю овации, цветы и поклонны... С ума сойти можно... а вот есть совсем и не хочется... странно! Пленный не хочет есть, когда ему дают суп с немецкой кухни! Наверное я перестал быть пленным. — Шегов заставил себя все же поесть, а хлеб положил в карман. Лешенко тоже ел мало и, отодвинув котелок, сказал:

— Нервы у нас расшалились... не полагается это.

— Я говорил с Шталагом, — входя в комнату сказал Фетцер. — Вы оба сейчас поедете в Грейсвальд... машиной... Черт вас заберите, скандалисты вы, вот что! Этот хохол не доведет вас до добра, — обратился он к Лешенко. — Он и сам погибнет и вас за собой потянет. Постарайтесь как можно скорей отцепиться от него. Я два года его знаю и только одни неприятности от него! Слышите вы? Майор Шегов?

— Последние слова не расслышал... виноват. Но я вам, Рудольф Рудольфович, очень благодарен. За эти два года нашего знакомства вы сделали много добра и мне лично и всему лагерю. Спасибо. Мир? — и Шегов протянул руку Фетцеру. — Прощайте, Рудольф Рудольфович.

— Я еще увижу вас в Шталаге... до свидания, — ответил Фетцер, пожимая руку Шегова.

Шегова и Лешенко посадили в кабинку грузовичка, в кузовке поместился солдат с карабином. Папаша Гильдебрандт провожал уезжающих.

— Если бы мне час тому назад сказали, что таково будет завершение... я бы не поверил, даю честное слово! Но вы, Петрович, — актер! Я с восхищением слушал ваше политическое выступление.

— Это от отчаяния, Игорь Григорьевич... от ужаса перед возможностью снова оказаться в обществе военнопленных

”острожников” типа Присадского и Бодунова. Ну, будем надеяться теперь, что в Шталаге нас долго не задержат!

Но надежда Шегова, не оправдалась. В Шталаге пришлось провести полных три недели!

По приезде в Шталаг, их отвели в барак в сербском секторе и заперли на ночь в комнате с 20-ю койками, но без жильцов. После всех волнений Шегов и Лещенко сразу улеглись и заснули как убитые.

Утром пришел унтер и сказал, что получать паек они будут в соседнем бараке у сербов. Во второй половине дня снова появился унтер и повел их в канцелярию Цейхеля, в ту самую, где только два дня назад они получали от него поздравления по случаю освобождения из плена и начала своей карьеры в армии генерала Власова. Их встретил Цейхель длинной и довольно путаной речью, в которой извинялся за недоразумение и оправдывал его:

— Но это абсолютно ничего! Некоторое, короткое время вы оба побудете в Шталаге, пока документация будет оформлена и вы поедете по своим назначениям. Абсолютно уверен... но несколько дней вы подождете... и чтобы вы не соскучивались, вы будете мне помогать с библиотекой русских книг. Это будет для вас абсолютно интересно. — Слово ”абсолютно” было самым любимым в лексиконе зондерфюрера.

*

Когда кончилась первая неделя ”абсолютно интересной” работы в библиотеке ”русских книг” и ничего не изменилось, Шегов и Лещенко, пользуясь присутствием капитана Беликова, пропагандиста РОА, снова подняли вопрос о своем положении перед Цейхелем. Он смешно заметался по комнате, явно нервничая, стал объяснять задержку: — Вы должны понимать общую ситуацию... Это абсолютно невозможно сделать все очень скоро... Там все абсолютно много работают по делам категории первой важности... Мы подождет несколько дней... дней...

Беликов предложил написать особое заявление по команде и вызвался помочь его составить. Он превосходно владел

немецким и после полдня работы и споров, заявление было написано. Шегов настаивал на более сильных и категорических выражениях, Лещенко и Беликов старались сгладить острые углы и, когда окончательная редакция заявления была оформлена подписями Шегова и Лещенко и вручена Цейхелю, тот, внимательно прочитав ее, сказал:

— Многа перца с соли в этой кушании... но абсолютно верно... пускай кушают! Я передавать буду ее по инстанции.

Беликов был хорошо образованным, знающим и вообще интересным человеком. Был он по образованию юрист, из Свердловска, попал в плен в начале 42-го года. В Хаммельбурге стал активно работать по организации Русской Трудовой Национальной Партии, а потом его направили в Дабендорф в самом начале создания там Школы Пропагандистов. Он рассказывал о работе Школы, о трудностях, о взаимоотношениях с немцами, о предстоящем съезде в Праге, о создании Комитета Освобождения Народов России и о многих других вещах, совершенно неизвестных Шегову и Лещенко.

— Но почему в Праге будет этот съезд,— спросил Шегов. — Ведь фронт там близко.

— Славянская земля! Если это сделать в Германии, ”аромат” будет немецкий... и слова Власова: ”Россия наша, прошлое России наше и будущее России тоже наше!” будут звучать... не совсем убедительно.

— Россия, Россия... а где же Украина, Белоруссия, Грузия... не отдает ли это подчеркивание ”Россия” великодержавностью?

— Конечно нет! ”Россия” понимается всеми нами как собирательное имя, но не как политическое содержание идеи. В нашей программе по национальному вопросу прямо сказано: ”вплоть до отделения” и это не советское жульничество. Сейчас нужна общая, широкая и мощная река, а не узкие национальные ручейки!

Беликов рассказал им о том, как в марте прошлого года начали организовывать дабендорфовскую школу.

— Первым начальником был назначен генерал Благовещенский, но его сняли очень быстро. Слишком круто он взял курс на полную независимость от немцев. Благовещенский боевой генерал, хороший администратор... но не политик и нетактичен.

Даже с нашим постоянным благожелателем и адвокатом Штрик-Штрикфельдом отношения у него были весьма натянутые. Федор Иванович Трухин для этой должности более подходящая фигура... — Во всех рассказах Беликова то тут, то там проскальзывало, что в верхах третьего Рейха нет доверия ни к Власову, ни ко всей идее РОА.

— Один немецкий полковник в моем присутствии, — продолжал Беликов, — сказал, что при одном случае Гитлер выразился так: "Эта армия подсоветских людей, вместе с ее руководством, враги моего врага, но они не мои сторонники". Гитлер боится завтрашней свободной и сильной России и поэтому проигрывает войну сегодняшней большевицкой России... и это отношение его ко всей нашей организации чувствуется на каждом шагу.

После нескольких таких разговоров с Беликовым у Шегова уже не было сомнения, что между немецким Оберкомандо и окружением Власова идет неравная борьба, могущая полностью остановить всё начатое дело сотрудничества. Такое же впечатление было и у Лешенко.

— Боюсь, что ни черта из всей этой затеи не получится. Слишком разные пути к общей цели, — сказал он.

— А я думаю, что даже и этого не существует... и конечные цели — разные. — И чем больше раздумывал над своим положением Шегов, тем больше у него возникало сомнений. Правильно ли он сделал?

Через несколько дней, когда Шегов и Лешенко пришли в библиотеку, их встретил буквально сияющий Цейхель.

— Вы, господа, больше не есть пленные! Только несколько днѐв... дней вам нужно еще побыть в бараке, а потом вы будете свободными человеками. Абсолютно! Отдавайте мне ваши индивидуальные карты. Они уже вам абсолютно ненужные...

Шегов достал из кармана свою карточку и протянул ее Цейхелю, то же сделал и Лешенко.

— Эту дату нужно хорошо запомнить! 5-го ноября 1944 года майор Шегов освобожден из плена и перестал быть "военнопленный №7172", а попал в плен 26-го июля 1941 года у деревни Скепня... Скепня-Луговая, — тихо добавил он. — А нельзя ли оставить себе эту карточку как сувенир? — спросил он.

— Абсолютно нельзя. Этот документ подлежащий возвращению в канцелярий Пеенемюнде, — ответил Цейхель и положил обе карточки в конверт.

— Ну что ж... прощай мой номер 7172... но тебя я не забуду... 7172...

— А я приготовил для вас абсолютно приятный сюрприз, господины мои! — и Цейхель торжественно вынул из своего стола три бутылочки пива. — Прозит полковник Лещенко... Прозит майор Шегов! Очень радый... Абсолютно! — и Цейхель с чувством пожал им руки.

Ровно через три недели с момента прибытия Шегова и Лещенко в Шталаг, после обеда Цейхель сообщил им, что все документы готовы и что завтра утром они уезжают.

— Вы обое поезжаете в один лагерь называемый Циетенгорст. Это лагерь РОА, абер абсолютно не такой, как Дабендорф. Дабендорф делает политических офицеров для пропаганды, а Циетенгорст, абсолюно наоборот, делает боевых солдат, прямо для воинских цель. Завтра я не буду увидеть вас и мы сегодня будем с вами попрощатся. — Цейхель подчеркивая, как он всегда это делал старшинство в чине, сперва пожал руку Лещенко, а потом Шегову. — Вы очень хорошие человеки, господины мои. Я был ошень радый, что имел возможности познакомиться ближно... близко с интеллигентными русскими офицерами. — Он как бы с грустью посмотрел на обоих и добавил. — Пускай Бог сохраняет ваши жизни для лучших дней...дней!

— Господин Цейхель, мы оба благодарны вам за все, что вы для нас сделали, — ответил за двоих Лещенко.

Шегов тоже поблагодарил и неожиданно для себя спросил:

— Мог бы я взять из библиотеки одну книгу? Конечно, я не смогу ее вернуть.

— Пожалуйста, возьмите одну книгу, господин Шегов. — Абсолютно возьмите. Какой книга вы желаете иметь?

— Вот эту, — Шегов взял со стола Библию, — Разрешите?

— О! Библий... конешна, конешна... абсолютно! Вот подождите одна минута...

Цейхель взял книгу и написал на заглавном листке по-немецки, что подарена она ”господину майору Шегову” и подпи-

сался. Потом задумался на минуту и приписал по-русски: "На память господину Шегову, хорошему человеку, от большого друга Альберта Цейхеля" и поставил дату: 5-го ноября 1944 года.

— Вот, пожалуйста... и я ошень рад...абсолютно!

После прощания с Цейхелем Шегов и Лещенко вернулись в барак.

— А хороший человек наш зондер Цейхель, очень милый, — укладывая вещи в самодельный фанерный чемоданчик сказал Лещенко. — Он был профессором русской литературы и истории в Лейпциге.

— Да, я знаю это... А зачем вам, Николай Петрович, эта Библия?

— Как всякая книга... для чтения, — уклонился от прямого ответа Шегов.

— Так... но у вас, я заметил, особо пристальный интерес к ней.

— Возможно, возможно... У меня всегда была некоторая склонность к философии, а Библия очень интересная книга... и я читаю ее первый раз в своей жизни.

*

На следующий день, в сопровождении пожилого унтера, Шегов и Лещенко сели в поезд и поехали к месту назначения в "Подготовительную офицерскую школу РОА" в Циетенгорсте. По дороге, на станции Виттенберг, унтер повел их в питательный пункт, поесть. Поели наспех и снова поехали. Наконец вышли из поезда на каком-то полустанке и после получасового марша по мокрой грунтовой дороге под холодным дождиком, дошли до ворот небольшого барачного лагеря. У сторожки на невысокой железной мачте, тяжело болтался мокрый андреевский флаг.

— Прямо по дорожке, второй барак справа, спросите капитана Краузе, — сказал дежурный у ворот в шлеме и немецком дождевом плаще.

Капитан Краузе, небольшого роста офицер с слегка отёчным лицом и коротко подстриженными усами, без особого энтузиаз-

ма сказал, что ”он очень рад прибытию новых курсантов” и что их сейчас же ”оформиат” и зачислят на довольствие.

— Вы зачисляетесь во вторую роту... это моя рота. Идите в барак № 6 и найдите там курсанта Вишнякова, он фельдфебель роты. Он обеспечит вас всем необходимым и введет в курс всего, что мы здесь делаем и во все правила жизни в школе. Можете идти.

Через час, одетые в немецкую солдатскую форму ”курсанты” Лещенко и Шегов сидя в бараке пришивали значки ”РОА” к рукавам мундиров и шинелей, слушая наставления фельдфебеля 2-й роты, курсанта Степана Ильича Вишнякова, бывшего до этой его должности, майором танковых войск Красной армии и военнопленным с весны 1942 года. Вот что он сказал им:

— С момента зачисления в Школу, вы потеряли свое командирское звание, которое было присвоено вам в Красной армии. Вы просто курсанты подготовительной школы РОА. После месячного пребывания в Школе, вы будете направлены в квалификационную комиссию в Дабендорфе и там вам будет присвоено новое звание. Обычно, это то же звание, которое курсант имел до школы, бывают исключения, но редко. Там же в Дабендорфе вы получите и назначения. Сейчас начато формирование 2-й дивизии и вы очевидно попадете туда. Здесь подготовка, главным образом, строевая и физическая. Каждый день шесть часов строевой и три часа теоретической. Политики мало, так общие положения, устав, взаимоотношения с немецким командованием и прочее. Немецкое воинское приветствие мы не обязаны делать, но и запрещения на это нет. Сегодня вы можете отдыхать в бараке, мы же все идем на классные занятия, а завтра с утра, вы курсанты! Подъем в 6:30. Паек стандартный для немецкой армии в тылу. Вот и все... Да, еще... здесь всего три роты по 40 - 50 человек. Наш ротный капитан Евгений Львович Краузе, старый эмигрант. Командир Школы, или всего батальона курсантов,— полковник Власенко, Георгий Иванович... наш из Красной армии... Ну вот... остальное подхватите на ходу... отдыхайте!

Несмотря на однообразие и монотонность программы, время пробежало удивительно быстро. Подъем в 6:30, на умывание, одевание и завтрак — один час, в 7:30 построение,

поднятие флага и строевые занятия до 11:30. Обед и отдых до 13:30, снова строевые занятия до 15:00. Потом отдых и время для личных дел до 17:00. Наконец, три часа, до 20:00, классных занятий. С 20:00 до 21:00 ужин, а в 22:00 отбой и все должны быть в кроватях. И так 6 дней в неделю. В воскресенье общая молитва после подъема флага, баня, смена белья, а вечером концерт местных талантов или кино.

Первая неделя для Шегова была трудной, очень уставал, но потом втянулся и пошло легче. Много маршировали и обязательно с песнями. Пели все старые дореволюционные солдатские песни, "Взвейтесь соколы орлами", "Чубарикичубчики", "Среди лесов дремучих"... и все в этом духе. Сам ротный, Краузе редко проводил занятия, его обычно замещал поручик Столбняков, тоже из старых эмигрантов, элегантный, всегда подтянутый, спортивного типа офицер, лет 45-ти, а может и больше. Он был большой знаток "пехотной муштры", был строг, настойчив, но всегда изысканно вежлив. Маршировали, бегали, прыгали, брали препятствия, ходили по бревну, ползали, бросали "гранаты" и снова маршировали... Ружейных приемов не изучали, по простой причине: винтовок в школе не было, немцы не доверяли. Только у караульных у ворот была пара стареньких, 14-го года винтовок... но патронов и у них не было!

Классные занятия проводил либо сам Краузе, либо кто-нибудь из курсантов по его поручению. Разбирали устав РОА, резолюции, принятые "1-й антибольшевицкой конференцией бывших командиров и бойцов Красной армии, ставших в ряды Русского Освободительного Движения", материалы и резолюции Пражского съезда КОНРа. По вечерам Шегов продолжал свое "изучение Библии", эта книга его глубоко заинтересовала. Лещенко подсмеивался над ним, но и сам иногда "нырял в глубины теософии", как он выражался. После политических занятий в классе иногда обменивались мнениями. Некоторые выражения в изучаемых материалах звучали странно:

— Вот послушайте, Игорь Григорьевич: "Реки и моря русской крови уже пролиты в этой ненавистной войне. За что? За то, чтобы Сталин и его клика продолжали угнетать русский народ?" — читал Шегов. — За то, чтобы английские и американские капиталисты могли и в дальнейшем спокойно эксплуатировать

свои колонии? За власть большевиков и капиталистов над всем миром?.." — Как хотите... но эта смесь звучит для меня больше чем странно.

По всей вероятности... это лизнули руку хозяину, дающему жратву, — ответил Лешенко. — А вот тоже... пикантное выражение! — и Лешенко в свою очередь прочитал выдержку из другого документа. — "... в честном взаимовыгодном и исторически обоснованном союзе с Германией, в равноправной семье свободолюбивых народов Европы..." У составителей этих резолюций, сильно развито чувство юмора... а стиль... напоминает любимую родину!

— А обратили ли вы внимание, что во всех этих статьях, резолюциях, обращениях и прочей бумажной пропаганде нет ни одного звука по европейскому вопросу... ни порицаний, ни одобрений действий нашего "великого" и единственного пока союзника... Осторожность очень примечательная. Вот уж не думал, что можно в этом вопросе промолчать!

— Промолчали... видно вполне возможно.

— Но сам Пражский Манифест составлен неплохо. Немного "урательски", оптимистично для реального положения вещей, но такой тон вообще свойствен нам россиянам..." А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все очень хорошо!" — улыбнулся Шегов. — А я думаю, что "неприятных сюрпризов" будет хоть отбавляй... Вот вам, опять из Библии: "Верую Господи! помоги моему неверию..." Очень подходит к моменту.

— Я, кажется, предложу вашу кандидатуру в полковые священники, дорогой коллега курсант... там вы больше будете на месте... бывший майор Шегов!

В пятницу четвертой недели обучения 2-й роты был выпуск курсантов. Роты комплектовались в разное время и выпускались из школы по мере окончания курса. Поэтому "выпуски" были нормальным явлением повседневной жизни школы и проходили без всякой помпезности, без "музыки". Просто вечером собрали всю роту в одном из классных помещений, полковник Власенко сказал короткую, довольно бессодержательную, казенную речь, каждому курсанту выдали справку об окончании школы, проездной билет до Дабендорфа и по 15 марок дорожных денег и этим кончалась "церемония".

*

В субботу Шегов приготовил все к завтрашнему путешествию. Сложил вещи и после обеда, впервые вышел один, без вахмана, за ворота лагеря. День был пасмурный, серенький, мокрый. Дождя не было но все, земля, трава, почти потерявшие уже листву деревья, все было пропитано влагой.

— Свобода! Могу идти куда хочу, относительно сыт, в кармане есть немного табаку и вокруг нет колючей проволоки. Свобода! — Шегов прошел с полкилометра по дороге между запаханнами полями и остановился закурить трубку, прикрывая огонь спички бортом шинели от ветра.

— Гуляете Шегов? — вдруг услышал он. Оглянувшись, он увидел поручика Столбнякова.

— Так точно, господин поручик, — по привычке ответил Шегов.

— Теперь я для вас Геннадий Федорович... а как вас?

— Николай Петрович.

— Вот и ладно... разрешите присоединиться к вам?

— Сделайте милость.

Пошли рядом. Столбняков в офицерском пальто, фуражке, в высоких сапогах, в перчатках. Шегов в мешковатой солдатской шинели, кепи и грубых армейских ботинках.

— Первый раз? — спросил Столбняков.

— Что? — не понял Шегов.

— На свободе без вахмана, первый раз?

— Да.

— Сколько времени вы сидели за проволокой?

— С августа 41-го.

— Порядочно. — Снова помолчали. Из кустов okayмяющих пахоту, тяжело и низко вылетели две большие птицы, перелетели через дорогу и исчезли в кустах на другой стороне. От неожиданности Шегов вздрогнул и остановился.

— Фазаны... а стрелять не позволяют... жалко, прекрасная дичь, — с явным сожалением сказал Столбняков. — Сколько вам лет Николай Петрович?

— Тридцать шесть.

— Не хочется разговаривать? Раздумываете?

— Пожалуй, да...присматриваюсь к вещи,от которой отвык. К свободе.

— Свобода... ”Свобода подобна сочным продуктам и тем старым винам, которые питательны и полезны для крепких и привычных к ним людей. Слабых и нежных они пришибают, опьяняют и разрушают”... это я не сам выдумал, цитирую по памяти из Руссо... очень правильно сказано... — Столбняков прутиком, в такт своим шагам похлопывал по голенищу сапога.

— Женаты?

— Был.

— Дети есть?

— Один сын.

— Там?

— Да.

Снова помолчали. Шегов опять начал раскуривать трубку, но порывы ветра мешали. Столбняков вынул зажигалку и дал ее Шегову.

— Гениальное изобретение! Горит на ветру. — Потом посмотрел на часы и вдруг остановился. — В Бога верите?

— Что? — удивился Шегов и тоже остановился.

— В Бога верите? — повторил Столбняков и поднял руку к низкому лохмато-растрепанному тучами небу. — Тому... Который над нами... верите?

— Не знаю... отвык. Последний раз в церкви был лет двадцать тому назад.

— Сегодня суббота, в Вустрау будет вечерня, пойдем со мной туда.

— Где это Вустрау?... православная церковь?

— Да. Это примерно час ходу. Городок Вустрау, а на краю его сейчас устроен большой беженский лагерь... почти все интеллигентная публика. Из Харькова, Киева, Одессы...

— Из Киева, говорите? Идем!

— Вы киевлянин?

— Да, оттуда.

— Зайдем на полчаса в школу... буду ждать вас у ворот в 3:30, хорошо?

— Буду точно.

Оказалось, что в Вустрау идут чуть ли не все выпускники.

Сперва шли все вместе большой группой, потом растянулись по дороге. Шегов, Столбняков и еще один курсант-выпускник, капитан связист Ардин, милый и застенчивый человек, шли вместе, перебрасываясь словами и шутками.

— Я останусь ночевать в лагере, — сказал Столбняков, — так что вы, господа, замечайте дорогу, а то потеряетесь в этих болотах... кто-нибудь вас примет за фазанов и прихлопнет.

— Вы же сказали, что стрелять их нельзя? — проговорил Шегов.

— Стрелять нельзя, а местное население охотится на них с палками, копьями и даже с луками и стрелами. Некоторые здорово наловчились. Вечерня начинается в полседьмого, служит наш священник из Берлина, отец Александр... прекрасно служит. А вы Ардин пойдете к вечерне?

— Собственно говоря это и есть цель моего похода, — ответил Ардин.

— Вот и замечательно! — с удовлетворением сказал Столбняков.

— Вы Геннадий Федорович, очевидно, очень религиозный человек, — заметил Шегов, — Дайте еще раз вашу зажигалку-чудо.

— Пожалуйста. Да я верующий... недавно стал таким. Так мне легче. — Шегов и Ардин промолчали, но откровенно вопросительный взгляд Шегова, вызвал Столбнякова на объяснение своих слов.

— Вы, господа, оба прошли через трудные годы. Война, потом голод и издевательства в плену... я много разговаривал с людьми с опытом подобным вашему... Интересно, что почти все они считают себя людьми, получившими полную меру страданий и личной драмы. Один прямо сказал мне: "Что вы понимаете во всем этом? Вы, старая эмиграция, прожили в довольстве и покое почти четверть столетия, вот мы, мол..." Ну, и так дальше. Не все прожили "в покое и в довольстве", многие тоже горя хлебнули... Да, я всегда был религиозным, но верующим стал не так давно. Я пятое поколение русских офицеров. Прадед, дед, отец... я обучался в кадетском корпусе, религия традиционно и прочно жила в нашей семье, все мы были солдатами "христолюбивого русского воинства". Потом

началась ломка, революция. Я был в юнкерском, рвался на фронт, горел патриотизмом, дрался с большевиками, был у Деникина, потом у Врангеля, защищал Перекоп. Четыре раза был ранен, пережил эвакуацию, болтался по Балканам в поисках куска хлеба, без специальности, без языка, без права, без документов. Религия отошла на положение детских приятных воспоминаний. Только в 29-м году добрался до Берлина и начал работать шофером такси. Повезло, собрал деньги купил собственный автомобиль...потом второй, третий. Открыл гараж. Перед войной у меня было уже не плохо поставленное дело. Женился на немке, родилась дочка...Ольгой назвали в честь моей матери... Так и жил: дело, деньги, семья... — Столбняков остановился, снял фуражку и вытер лоб. Держа фуражку в руке, Столбняков снова пошел. — О Боге и думать перестал... 4-го марта в 43-м... одной бомбой и дочку, и жену, и дом, и гараж — все Бог забрал... прибежал домой после бомбежки... куча дымящегося мусора... Вот как, господа! И в Бога снова поверил. Он дал мне счастье, Он и забрал его. А я ... вот снова стал ”солдатом христоролюбивого воинства русского”...

Теперь все трое шли молча. Ардин вынул платок, вытер глаза. Шегов грыз мундштук потухшей трубки, смотрел куда-то в сторону.

— Геннадий Федорович... — хотел он что-то сказать в утешение, но оборвался, — О мой Бог... что можно сказать!

— Вы уже сказали: О, мой Бог! и ничего добавить нельзя, Шегов. Этим сказано все. Инстинктивно во время горя, несчастья, опасности, перед смертью мы вспоминаем о Нем... В 19-м году расстреляли мы одного комиссара, жестокого и наглого...отвратительно богохульничал на допросе и перед расстрелом, а потом в самое последнее мгновение, вдруг замолчал на секунду и громко сказал, перекрестившись: ”Господи, прости меня грешного!”

Начало вечереть. В дали показался поселок, деревья, высокий забор, а еще дальше смутно вырисовывался городок.

— Вот и пришли... это и есть лагерь. Я пойду на квартиру к батюшке и увижу вас только в церкви, если вы, Николай Петрович, туда придете, — заговорил после длинной паузы Столбняков.

— Приду, — прервал его Шегов. — Обязательно приду.

— Прекрасно! Зайдите в контору, там узнаете, кто здесь из Киева, может знакомых найдете.

Минут через десять Шегов уже сидел в комнате каких-то киевлян, подхвативших его сразу в конторе лагеря, куда он зашел по совету Столбнякова, он даже фамилию хозяев комнаты не расслышал.

— О, тут масса из Киева, тут ... — моложавая дама угощала Шегова горячим чаем с какими-то лепешками и быстро перечисляла длинный ряд незнакомых Шегову фамилий —... и Захарченкой Гудим-Левкович... а Карпенко вы знали? Нет? А Шелковитских? Он был бухгалтером на Ленкузне... тоже нет? А Скороходько из Управления Юго-Западных Дорог? Ах, ты, Господи, тоже незнакомы! Ямпольские тоже киевляне...

— Ямпольский... фамилия знакомая, техник был у меня на одной работе.

— Вот я сейчас позову мадам Ямпольскую... — и хозяйка почти выбежала из комнаты, а через несколько минут вернулась в сопровождении другой дамы. После быстрого разговора выяснилось, что эта дама жена двоюродного брата Жоржа Ямпольского, техника-нормировщика, работавшего когда-то под начальством Шегова. Потом как в калейдоскопе перед Шеговым мелькали дамы, мужчины, молодые, старые, все говорили, рассказывали, спрашивали, ахали, охали, жалели, восхищались его решением идти в РОА или наоборот не одобряли. Угощали чаем, печеньем, яблоками и снова спрашивали его о семье, родственниках и опять рассказывали о Киеве, о взрывах, о гибели евреев, о Бабьем Яре... Все эти разговоры, расспросы и рассказы переплетались с местными темами о жизни лагеря, о пайке, о возможности где-то и что-то достать.

Шегов прямо угорел от натиска всех этих милых и доброжелательных, гостеприимных, но ужасно шумных людей. Его спас насупленный, небольшого роста старичок представившийся ему как Сергей Леонидович Броденко. По его словам, он работал в Геологическом институте Академии наук и в свое время хорошо знал деда Шегова, бывшего когда-то директором этого учреждения.

— Идем ко мне, дорогой вояка... Отцепитесь от него, видите человек совершенно обалдел от вашего натиска. Идем, дорогой, они вас живо до смерти заговорят. Идем, посидим спокойно и потолкуем.

В комнате куда Броденко привел Шегова, за зановеской кто-то спал тяжело посапывая.

— Жена... расхворалась, но спит крепко. — Броденко вытянул из чемодана бутылку вина и налил Шегову и себе в чайные чашки. Выпили, старик налил снова и стал рассказывать, как он работал под начальством деда Шегова. — Был он человек очень требовательный, но и добрый...

Шегов в полутьме комнаты наверное задремал, так как когда он опять стал слушать Броденко и понимать, что он говорит, то тема была уже другая, — ...видите в чем дело! Всякая мысль для привлекательности своей должна быть позитивной или иметь позитивную базу. Террор сегодня во имя будущего счастья. Убийство во благо общества. Война за правое дело. Инквизиция во имя Христа... Жестокость крестовых походов для освобождения Святой Земли...

— Сергей Леонидович, который час?.. — прервал его Шегов, вспомнив, что собирался пойти к вечерне.

— Немного после семи, а что?

— Простите, но я должен уйти...я обещал... я пойду в церковь к вечерне.

— О, не смею задерживать. Очень рад был познакомиться, если будет случай, милости просим.

— Большое спасибо, непременно, — и Шегов вышел во двор.

Ночь была темная, весь лагерь был затемнен и только когда где-нибудь открывалась дверь, то прорвавшийся резким контрастом пучок света, своей внезапностью подчеркивал окружающую тьму. Спросив у встречной женщины, как попасть в церковь и следуя ее указанию: ”Прямо по дорожке и, не доходя до ворот, направо, такой высокий барак и крылечко... это вообще театр, а по субботам там батюшка службу правит...” Шегов вошел в почти темное большое помещение, амфитеатром спускающееся вниз к центру. Там внизу был походный алтарь не ярко освещенный свечами и лампадами. Народу было мало,

Шегов, осторожно ступая, спустился ближе к алтарю по проходу между скамейками и сел с краю на одну из них.

Монотонно и неясно выговаривая слова, голос невидимого человека читал молитвы. Священник в темной рясе стоял впол-оборота к Шегову и беззвучно шевелил губами, лицо его освещенное снизу и сбоку трепетным светом свечей, поразило Шегова, своей одухотворенностью и иконописностью. Темная окладистая борода, прямой нос и большие темные, казалось, усталые и скорбные глаза поднятые вверх, колеблющийся свет на лице и темный фон глубины помещения создавали впечатление ожившего иконного лика. Он молился... вот он трижды перекрестился и снова зашептал молитвы.

“Молится... значит верит! Что за глупости мне в голову приходят! Конечно верит, ведь это священник, а впрочем... вот отец когда-то говорил, что за всю свою жизнь он встретил только несколько священников верующих по-настоящему, а остальные либо слишком темные, суеверные и примитивные для настоящей веры, либо лицемеры, просто “служашие”, обычные людишки, по разным причинам попавшие в эту “профессию”, — думал Шегов, внимательно рассматривая священника. Впереди, слева, очень близко к священнику на коленях стоял Столбняков, он часто крестился и клал земные поклоны.

“Этот искренне верит, “мне так легче”, сказал он...” — Шегов встал со скамейки и оглянулся. Глаза привыкли к темноте и теперь он увидал и чтеца с книгой, лежащей на маленьком нотном пюпитре, со свечкой в руке, и нескольких человек, стоящих вправо от алтаря, — наверное хор, — подумал он.

Священник поднял обе руки вверх и приятным грудным голосом произнес: “Да исправится молитва моя... яко кадило пред Тобою... Услыши мя Господи” и сейчас же слаженно и гармонично запел хор: “Свете тихий, святые славы, бессмертного Отца небесного, Святого, Блаженна Иисуса Христа...”

— Как хорошо... как хорошо, — Шегов оперся на спинку скамейки и слушал. У него вдруг появилось давно уже испытываемое чувство... чувство, что он стоит перед чем-то необъятным, чем-то великим и вечным... Такое чувство бывало у него, когда он один, обязательно один, где-нибудь вдали от людей, в поле смотрел на темное ночное небо с бесчисленными сверка-

ющими звездами. Священник повернулся к свету и снова Шегову показалось, что это оживший иконописный лик. — "Исполним вечернюю молитву нашу..." — заговорил он немного нараспев, держа обеими руками свой большой нагрудный крест.

"Верит! Наверно это большое счастье для человека верить... и не думать о логике веры, о конфликте между слепой верой и знанием... просто верить и с верою говорить: "Помоги мне Боже!" ... и верить, что Он тебе поможет... "Одной бомбой и дочку, и жену, и дом, и гараж...", а вот верит и с верой ему легче... Но ведь в конечном итоге и я верю... не в нарисованного на дощечке Бога, руками человека по-своему земному и такому ограниченному воображению, не придуманного людьми и награжденному ими всеми качествами человека, а в Бога создавшего и муравья, и меня, и всю безграничную вселенную...

"Ныне отпускающе раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром..." — услышал он слова знакомой с детства молитвы. Ныне отпускающе... Давно, давно в 1916 году он с матерью пошел на первое свое "говение" и тогда, четверть столетия тому назад, старик священник в храме Троице-Сергиевой Лавры произносил эту же молитву. Эти слова поразили мальчика Колю... Есть кто-то большой, могучий и бесконечно добрый, кто может "Ныне отпускающе раба Твоего..." Отпущение, это прощение всех грехов, всего плохого, что было сделано... Глупости все это старание что-то и как-то соединить! Веру и эти жалкие крохи знаний, впитанные со слов других, учителей, профессоров, из учебников, из книг. Какие это крохи! "Бог начинается там, где кончается способность мыслить!" Ах как это верно... и один Он и в церкви и в мечети и в синагоге... каждый народ поклоняется одному и тому же Вечному и Великому, недосягаемому разумом, Богу... по своим традициям, пониманию, создавая свои символы, свои обычаи. Все то, что выдуманно человеком... наивные примитивы... а Бог один! — Шегов опять сел на скамейку и уже не смотрел на священника. Снова глухо звучал голос чтеца и иногда односложным аккордом ему отвечал хор.

"Может это и смешно... Великому Богу ставить перед Его изображением свечки или дымить пахучим дымком из кадильницы... или заунывным голосом кричать с минарета "Алла!

Алла!", а может и нет. Если все это помогает человеку приблизиться к Богу, нести свое горе и быть хоть немного лучше... Вот Столбнякову помогает... и это хорошо! И мне тоже помогает... нет это не смешно! Как хорошо, что я пришел на эту вечернюю службу...

"Отче наш иже еси на небеси..." запел хор, уже такую знакомую, "домашнюю" молитву и Шегов стал вполголоса повторять слова молитвы... "Яко Твое есть царство и сила и слава... Аминь!" — громко сказал священник,

— Аминь! — повторил и Шегов.

*

— Я очень рад, что Вы пришли на службу. Вот я сейчас вас познакомлю с отцом Александром, хотите? — сказал Столбняков при выходе.

— Пожалуй, я пойду... поздно уже...

— Как хотите. Ну, Николай Петрович, Христос с Вами, прощайте... А вот и отец Александр!

На крылечко барака вышел священник. Теперь при слабом свете синеватой лампочки над дверью, в темном пальто с приподнятым воротником, частично скрывающим его лицо, он потерял свою "алтарную" значительность... Так, обычный человек, с бородкой и большими темными глазами.

— Отец Александр, это Николай Петрович Шегов из школы. Завтра он уезжает в Дабендорф за назначением, — представил Шегова Столбняков.

Шегов хотел протянуть руку для рукопожатия, но вовремя спохватился и нагнул голову. Отец Александр благословил его:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа... На трудное, но достойное дело идете, Бог да благословит и сохранит Вас.

— Спасибо батюшка. Спасибо и вам, Геннадий Федорович. Я пойду... далеко да и поздно уже. — Шегов попрощался с обоими и зашагал к воротам лагеря. Не хотелось подменять в памяти иконописный лик священника у алтаря на лицо человека с бородкой в пальто с поднятым воротником. Его догнали Ардин и еще два курсанта, тоже бывшие у вечерни. Сперва пошли вместе, но Шегов преднамеренно отстал, хотелось быть одному.

Подморозило, тонкий ледок на дорожных лужицах звонко хрустел под ногами. Луны не было, но ночь была светлая и звездная. Шегов остановился, набил свою трубку, закурил и посмотрел на небо. Все оно было усыпано бесчисленными сияющими звездами, яркими и крупными в зените и постепенно теряющими свою яркость ниже, к горизонту.

— Как много их... как бесконечно велико творение Твое! — Голоса ушедших вперед замерли, полная тишина охватила Шегова, он был совершенно один.

— Я и Ты... и Вселенная... Верую Господи, помоги моему безверию! — громко сказал он. — Как безгранично хорошо...

Издали донеслись едва слышные звуки воздушной тревоги, а потом тоже чуть уловимый в ночной тишине рокот аэропланов. И через несколько минут в той стороне откуда доносились эти звуки войны начали вспыхивать зарницы.

— Бомбят! Война!.. "Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов!" — вспомнил Шегов советскую популярную песню. Он еще раз глянул на высокое звездное небо, на вспышки над горизонтом и быстро зашагал по дороге к школе.

— Зав-тра, зав-тра, зав-тра, — в такт своим шагам и хрусту льда под ногами приговаривал он. — О, Господи... да будет воля Твоя!

Петр Палий
Бурбанк, Калифорния, 1977 г.

ИЗ КНИГИ "ВНЕ РОССИИ"

Атлантика дремлет бездумно,
Плывет в первобытной тиши.
А белые скалы у Дувра —
Как белые пятна души.

Так вот они, дальние страны!
Дивлюсь с папироской во рту.
Толпяся подъемные краны,
Как древние звери в порту.

Не знаю, не снится ли это,
Какую-то суть оголя:
И небо не русского цвета,
И это не наша земля..

И мне бы не больше пристало,
Чем, мучась, дотаскивать груз,
Разбиться о белые скалы,
Как судну, забывшему курс?

*

Закатное небо, как бронза,
Закатные тени темны.
Осколки разбитого Солнца
Сквозь черные сучья видны.

А ветер двадцатого века
Буянит на полном ходу,
И стонут, и стынут от ветра
Деревья в больничном саду.

И серыми клочьями пара
Заляпан крутой небосклон,
И все безнадежно пропало,
На свалку пошло и на слом,

И все это, видимо, снится,
Качаясь, как борт корабля:
Деревья, закат и больница,
Немецкая злая земля.

Юрий Иофе, 1975

МИНОМЕТЧИКИ

БЕРЛИНСКИЕ СКИТАНИЯ

Утром на другой день, после чашки жиденького кофе с кусочком хлеба, сказали, чтобы собрались: поедем в Берлин. Куда, зачем, никто не знал. Поехали не одни: подошли еще человек пятнадцать в немецкой форме, злые курсанты, жившие в соседнем бараке, окончившие школу. Все молодежь безусая, но лица тощие, бледные, обострившиеся, наверно от голодовки. Два пожилых конвоира шустро повели на станцию: они местные, дорогу не искали.

Опять на пригородной электричке до вокзала в городе, там пересели на эсбан, потом перешли в убан, под землю. Вышли на какой-то большой площади, сразу под блеск солнца, в шумящую, переливающуюся разношерстную толпу: военные, штатские, некоторые в экзотической одежде. И на вокзале, затем в городской дороге и под землей снующие толпы, оживление, спешка: город кипит. Позже узнал, что Берлин в те годы, как средоточие Европы, притягивал массу деловых людей, но и авантюристов, разнородных ловкачей и прохвостов со всех концов континента. Сновали купцы, инженеры и просто ловкачи из Франции, Голландии, Бельгии, Швеции, Испании, Португалии, Турции; в Берлине жил иерусалимский муфтий, окруженный арабской свитой, — через Турцию шла арабская нефть, были и венгры, словаки, чехи, румыны, болгары. Все это доставляло в Германию товары, наживалось, прокучивало ночью деньги на Курфюрстендамм, а днем заливало улицы и площади города. И

нам, после тихого лагеря в центре Норвегии, Берлин казался бурлящим Вавилоном.

Подошли к небольшому по виду дому, выходившему на площадь углом из двух улиц. Вход на углу, за колоннами — они поддерживают подобие ротонды, прикрывающей вход. За высокими дверями обширный вестибюль, справа "ваха", к ней обратились наши конвоиры. Их оставили внизу, нас повел молодеватый унтер. Широкой лестницей поднялись на второй этаж, долго шли длинными коридорами, неожиданно дом оказался очень большим, коридоры тянулись, похоже, на километры. Наконец, унтер открыл дверь: большая комната, в ней скамейки, стулья. Одна стена в окнах, таких высоких, что они создавали впечатление двусветного зала, другие стены пустые. Только на одной, внутренней, большой, почти в рост, портрет Гитлера в красках, с надписью крупными буквами: Гитлер-освободитель, по-русски. Ведомства Геббельса и Розенберга перед нападением на Советский Союз изготовили сотни тысяч таких портретов и распространяли их на Украине и в других оккупированных местах, чтобы создать впечатление, что гитлеровцы воюют только с коммунистами. Такая же, как и у коммунистов, пустая пропаганда, которая скоро перестает обманывать людей.

С удовольствием сели — от езды и хождения я сильно устал. Курсантов куда-то увели, мы сидели и ждали, не зная, чего.

Время тянулось медленно, я даже задремал. И только минут через сорок какой-то другой военный ввел двух курсантов, из приехавших с нами и что-то сказал одному из наших, бывшему переводчику. Тот обратился к нам:

— Господа... — я удивился, как просто, без какого-либо напряжения и ненатуральности получилось у него это "господа". Мне, я чувствовал, понадобится усилие, пока не привыкнешь к слову, от которого мы столько лет отвыкали и забывать которое нас заставляли не меньше лет. — Сейчас поедем назад в лагерь, — оказывается, нас вызвали по ошибке, надо было ехать только вот этим, окончившим курсы, присягу принимать.

Ах, какая дьявольщина! Шутка ли: по ошибке! По ошибке тащись теперь снова по убанам и эбанам. Главное, что меня мучило — входить в вагон электрички, трамвая. Я не мог поставить ногу на ступеньку. Ухватившись обеими руками за поручни,

я кое-как втаскивал себя на первую ступеньку, потом на вторую, мешая всем и всех задерживая. Хорошо, если кто-нибудь догадывался и старался подсадить, что случилось не часто. Все городские "средства передвижения" придуманы ведь для здоровых людей, которым ничего не стоит взойти по двум-трем ступеням, а для меня это мученье. В убане хорошо, двери открываются сами и они на уровне перрона, но в убан надо сойти по ступенькам, а потом подняться по ним на свет божий, — опять мученье. Не утешало и то, что и немцы ошибаются и глупости делают: моим ногам это не помогает.

Пока я мысленно ругался, мои спутники впали в волнение: его вызвало известие, что пропагандисты РОА, оказывается, должны присягать на верность фюреру, Гитлеру. Выяснилось кстати, что два курсанта отказались принять присягу и их отправляют назад в лагерь. А оттуда им уже объявили — отправят в один из лагерей военнопленных, возвратят в прежнее положение.

Оба были молоденькие, лет по двадцать, не больше. На простеньких исхудалых и бледных лицах нельзя было прочесть ни тени решимости или геройства от их поступка, лица были скорее растерянными и недоумевающими. Но как бы ни было, отказались, факт остается фактом, хотя и малозначительным.

Мои спутники по дороге обменивались больше междометиями:

— Еще присягу надо принимать! Чего же раньше не сказали? Присягу. Я же дома присягал, трудовому народу. — Не, это раньше такая присяга была, трудовому народу. Потом изменили. — А не все равно? Главное в том, что я уже присягал, — а теперь Гитлеру присягать? Как же так?..

Эти фразы, на десяток ладов, повторялись некоторыми из спутников всю дорогу. Другие молчали, наверно сразу решив про себя, что волноваться нечего. А смотря на волнующихся, я даже не без тени злорадства подумал: Ишь, какие совестливые стали, присяге изменить боятся. А где у вас совесть была, когда вы пленных обворовывали, куски их из котлов выхватывали? И если бы раньше вам сказали о присяге, в Норвегии, разве вы отказались бы ехать?

Было у меня и ощущение, что дело это меня не минует, надо

бы приготовиться. Впрочем, что же готовиться? Для меня давно все ясно. Нас столько обворовывали, обманывали, столько издевались над нами, убивали и нас, и все, что нам дорого, наши непрошенные властители, что никаких обязательств перед ними у нас не было и быть не может. Дело, конечно, индивидуальное, каждому решать за себя — но разве и не за всех?

О своем предприятии, о том, как я выбрался из Норвегии, я старался не вспоминать. Оно полностью удалось — и моя удача касалась только меня, я действительно никому ничего плохого не сделал, как и говорил Добшан. Значит, можно подвести черту и о деле этом, о моем обмане, забыть, если удастся забыть...

В лагере первым делом пошли в столовую, мы и так опоздали к обеду. Пообедав, легли в бараке отдыхать. Разговоров больше не было, может быть все устали. Но не прошло и минут десяти, как у моей койки собралось пять-шесть человек и один, недавний полицейский, произнес ставшее уже стандартным:

— А ты, инженер, что на этот счет думаешь? — Сделав вид, что не понимаю, о чем речь, переспросил. — Да о присяге же. Как же так, присягу Гитлеру принимать? Мы же у себя присягу принимали, а теперь здесь?

— Но вы же снова вступаете в армию, теперь в другую, понятно, что вам надо и присягу принимать. Присягу на верность, — не знаю только, кому, текста этой присяги не знаю. Гитлеру? Может быть требуют и Гитлеру. А служить вы кому будете? Я думаю, что прежде всего самим себе, русскому делу. Тогда и присягу можно рассматривать, как ни к чему не обязывающую формальность... Дело это, конечно, индивидуальное, каждый должен решать за себя. Я не знаю, как каждый из вас принимал присягу в красной армии, — так, как я ее принимал, было чистым издевательством над нами. Как же я могу считать это издевательство обязательством для себя? Повторяю, каждому надо решать за себя и советовать в таком деле трудно, даже невозможно. Но, по-моему, если вы решаете служить в русской армии, русскому делу — эту присягу можно рассматривать как формальность. Важно не изменять своему делу, долгу перед нашим общим делом, русским, — это для нас всех главное сейчас. Но, конечно, пусть каждый хорошо подумает. И время

есть, два месяца, успеете решение принять. — Школа пропагандистов русской армии, — подумал я, — не может быть, чтобы им не рассказали обо всем, что скрыто за лживыми словами о "советской власти" и "советском строе". В школе узнают, что это значит, если даже не все спутники задумывались над этим. Тогда и мои слова может быть им пригодятся.

В этом духе — теперь, конечно, точно не вспомнишь те слова — говорил будущим пропагандистам "инженер". Слушали внимательно и не перебивая, молча и разошлись, когда я закончил.

Те, кто не был тогда в Германии, могут и усомниться: как это я мог говорить так свободно в "фашистской Германии", где, по версиям официальной советской (и не только советской) пропаганды, царил устрашающий террор и свобода мнений давно была искоренена. Не надо, однако, забывать, что нацистское правление довольно сильно отличалось от правления коммунистического у нас, и мы, в особенности на первых порах в плену, были просто поражены степенью свободы, в которой очутились. Может быть, по отношению к своему населению нацисты были более требовательны — от нас они требовали только повиновения и вовсе не ожидали, что мы будем хвалить их режим и фюрера: поклонения им от нас не требовалось. Относительной свободой объяснялась и активность советской агентуры не только в лагерях, но и среди немецкого населения. Гестаповцы были умелыми учениками чекистов, но у них не было ни большого чекистского опыта, ни такого же рвения и, вероятно, сознания необходимости беспощадного подавления "классовых врагов": нацистская идеология в этом отношении не была такой террористически законченной.

Объясняли мы это наличие "свободы" в Германии главным образом тем, что Гитлер пришел к власти легально, а не так, как у нас коммунисты, с помощью безбрежного насилия и обмана. Нацисты не встретили, как у нас коммунисты, с самого начала ожесточенного народного сопротивления, им не пришлось подавлять восстания, четыре года вести гражданскую войну, постоянно боясь заговоров и своего свержения. Поэтому у гестаповцев не создалось мысли о необходимости видеть везде и всюду крамолу и ее искоренять. Из прежних их противников, социал-демократов и коммунистов, часть примкнула к нацис-

там, часть, вожаки, была посажена в концлагеря, где большинство этих "узников" находилось во вполне сносных условиях. Рядовых социал-демократов и коммунистов не трогали, они жили и работали, как прежде, и вместе со всеми призывались в армию, — я встречал потом военных немцев, коммунистов, в охране лагерей наших пленных.

Не встречалось мне среди жителей и явного антисемитизма: преследование и уничтожение евреев диктовалось у нацистов не столько политическими причинами, сколько расовой теорией. Среди населения антисемитизм разжигался усиленной пропагандой, причем можно заметить: если у нас, в оккупированных областях, немецкая антисемитская пропаганда была грубой и примитивной, то в самой Германии ведомство Геббельса старалось придать ей видимость какой-то обоснованности. Помню, например, один из мотивов: что огромный вред, во время экономического кризиса конца 20-х и начала 30-х годов, мелкой розничной торговле нанес большой рост универсальных магазинов, разоривших тысячи мелких торговцев. Универсальные магазины, утверждало ведомство Геббельса, создавались евреями. Не говорилось, конечно, что владельцами универсальных магазинов были не только евреи и что среди разоренных мелких торговцев было как раз много еврейской бедноты. Немцы, страдавшие от кризиса, подобные доводы воспринимали, как справедливые.

Уничтожения евреев мне не пришлось видеть. Обычно, беря красноармейцев в плен, немцы первым делом отбирали из пленных евреев, но у нас, попавших в плен в Крыму, евреев не оказалось ни одного. Не помню, чтобы я видел их и в запасном полку в Прохладном. В лагере, в Умани, один из рьяных полицейских стал было придирается ко мне, говоря, что я еврей, но поддержки ни у своих же полицейских, ни у немцев не нашел и вынужден был отвязаться от меня.

От немцев, уже после капитуляции, когда они начали осознать происходившее с ними, слышал я и такое объяснение относительной слабости нацистского режима: — Все дело в том, что Гитлер был у власти только двенадцать лет. Был бы двадцать, как коммунисты у вас, и в Германии было бы то же самое.

Он еще не успел "развернуться во всю" и закрутить пресс повашему, а логика диктаторской власти ведет только в этом направлении...

Отдыхали мы не долго: пришел дежурный и скомандовал подниматься и идти на занятия. Мне сказал, что могу быть свободен.

Побродил по лагерю, но рассматривать особенно нечего. Зашел в барак, где были умывальник и уборная. Рядом с длинным желобом с десятком кранов для умывания над ним, на стене висело небольшое тусклое зеркало. Попытался себя рассмотреть, но мало что увидел: что-то заросшее длинной, кочьями, щетиной: не брился с отъезда из лагеря в Норвегии. У спутников было две или три бритвы, они одалживали друг у друга, — мне не хотелось просить.

На другой день утром спутники опять ушли, а мне снова сказали, что свободен. Пошел к дежурному, спросил, нельзя ли достать бритву. Попросил минутку подождать и ушел. Вернулся с безопасной бритвой, старой, потемневшей, даже как будто слегка погнутой. И кисточку принес и кусочек мыла. В умывальнике кое-как соскреб многодневную щетину. Понес бритву отдавать, дежурный говорит не надо, оставьте себе. Поблагодарил, подумав, что у меня уже имущество заводится, хороший признак.

Хотел пойти в редакцию газеты, может удастся познакомиться с кем. Но позвал дежурный, сказал, чтобы не уходил: поеду в Берлин. Может быть, опять по ошибке?

Нет, ошибки не было. Вез маленький тщедушный солдатик, дорогу знал не твердо, иногда спрашивал. С городского вокзала ехали с ним сначала по подземке, пересели на трамвай, потом на другой, — плутали так, что если бы даже хотел, ориентироваться бы не смог. Вылезли наконец на берегу какого-то канала. Это не может быть Шпрее: слишком узко и течения нет. Не набережная, а узкий тротуар по каналу, мостовая и сплошная стена домов, пяти-шестиэтажных и чуть может выше.

Подошли к одному, вряд ли отличимому от других. Солдат позвонил у широкой двери, — она открылась и впустила нас. Конвоир отдал дежурному сопроводительную бумажку, о чем-то поговорил, попрощался и ушел. Быть мне на новом месте.

Дежурный, высокий худой унтер, был из серьезных и наверно основательных служаек. Внимательно рассмотрел бумажку, спросил фамилию, рассмотрел и меня, будто со всех сторон, — я подумал, что наверно первый раз в Берлине вызываю такое любопытство у немца. Я с первого дня недоумевал: все мы представляли собой какую-то странную, с большой дороги ватагу, в зловеще-зеленых шинелях, с грязными помятыми лицами, да еще заросшими щетиной. Но странное дело: ни в поездах, ни в убане или трамвае никто на нас не заглядывался и я решил, что берлинцы наверно уже привыкли к таким пещерным оборванцам. А этот унтер рассматривал меня так, будто перед ним какая-то невидаль. Закончив рассматривание, он позвал из соседней комнаты солдата, буркнул ему что-то, тот кивнул мне, чтобы шел за ним.

Началось восхождение. Лестница была не крутая, но долгая. Солдат уже одолел пролет и остановился на площадке, с недоумением смотря на меня, — я вытягивал себя со ступеньки на ступеньку обеими руками, хватаясь за поручни, и был только на середине пролета. И унтер, я видел, заинтересовался моим подъемом и с интересом смотрел снизу, вытянув шею. Но ни он, ни солдат не торопили.

Вещей у меня не было: в сумке грязное полотенце, с завернутой в него обретенной утром бритвой, пара застиранных носовых платков, на поясе "башня", норвежский котелок. Одолевая второй пролет, я снял рукавицы, потом буденовку — стало жарко, сунул их в котомку. На первом этаже — по нашему на втором — от лестницы в обе стороны шел широкий коридор, по сторонам высокие двери. С неприятным чувством отметил, какие по-старинному высокие потолки, — такие же ведь высокие и лестницы! И дальше, на каждом этаже, в стороны уходили коридоры: народ в этом доме помещалось наверно много.

С отдыхом на площадках, взобрались наконец на последний, пятый этаж. Дальше лестницы не было, как и коридоров по бокам: на лестничную площадку выходило только три двери. Среднюю солдат уже распахнул и ждал меня. Я дышал как загнанная лошадь, с меня ручьями лил пот, тело дрожало крупной дрожью, я боялся, что свалюсь. За дверью просторная комната, по стенам двойные, "вагонные" койки, на десяток или

больше человек, в середине колченогий стол. Доковылял до первой койки, она была свободная, лежал только соломенный матрас. Хотел снять шинель, но запутался в рукавах, шинель никак не слезала с плеч, солдат заботливо помог, стянул со спины. Поблагодарил, солдат кивнул и ушел.

— Вы что, важная птица, что вам немец холуем прислуживает? — спросил резкий неприятный голос. Я и не заметил, что в комнате были двое: один полулежал на койке у боковой стены и скучающим, словно ко всему привыкшим взглядом смотрел на меня. Другой спрыгнул с койки слева, сел напротив на табурет у стола и впился в меня колючими черными глазами.

— Никакая я не птица, — вяло ответил ему, удобнее умахиваясь на матрасе и стараясь унять дрожь. — Просто он видел, что я совсем обессилел и помог.

— Да, видок у вас тот, — так же резко отметил непрощенный собеседник. — Ночью встретить, испугаться можно, за привидение принять. Вы по какой части собрались родину продавать?

— Пока не собирался. И торговец из меня липовый, никакого таланта по этой части нет.

— А таланта тут и не нужно. Но раз в этот лагерь попали, придется научиться. Здесь же специалисты собраны, по разным областям, они немцам наши секреты выдают, помогают им военную технику совершенствовать. А вы что, не знали?

Откуда же мне знать? Понятия не имею, что за лагерь.

Да вы откуда свалились? Издалека?

Из Норвегии привезли.

Верно, не близко. Как там нашим приходится?

Как видите, там тоже не мед.

— Да, по вас судить, какой мед! Вы в плен-то когда попали? Где? — он, похоже, не мог остановиться. Узкое черное, цыганское лицо было подвижным и тоже резким, как и немного пронзительный голос. — Сами перешли или как?

— Под Керчью, в мае прошлого года.

— Э, да мы с вами почти земляки! Я в то время в Севастополе был. Но меня вывезли, немцам не оставили: там много оставили, тысяч сто. А я подводник, механик, нас мало осталось, меня и эвакуировали, в Новороссийск. Но все равно к немцам

попал, в Анапе. За каким чертом послали нас туда отцы командиры, они, дуботолы, наверно сами не знали, там же ничего для нас не было. А немцы рядом оказались и как на прогулке меня зацапали. Теперь таскают вот по таким малинам, все стараются детали разные о наших подлодках узнать, то, чего они еще не знают. Да от меня много не узнаешь, так их и перетак и еще разэтак! — перешел он на соленую матросскую словесность, с петровских, наверно, времен привычную на флоте. Продолжая изрыгать замысловатые ругательства, подводник вскочил и, размахивая руками, помчался из комнаты.

Сидевший на койке другой обитатель нехотя сказал:

— Не обращайтесь внимания. Он, кажется, малость того, покрутил он пальцем у своей головы. — Псих. Но ничего, успокаивается скоро, беды от него нет. Так вы из Норвегии? Экзотика. Куда только немцы не распахали нашего брата... — Спросил его, что здесь за лагерь.

— Псих в общем верно сказал, кроме агитации его о торговле: немцы держат здесь несколько десятков наших специалистов, разных отраслей. Есть крупный народ, но больше так, техники, чертежниками работают в разных бюро, лабораториях. Если не работать, тут не лучше, чем в любых лагерях, с голода можно загнуться. А работаешь — на работе обед дают, в дополнение к здешнему пайку, оно и можно держаться. Так что вроде бы верно: за чечевичную похлебку работаем. Конечно, не за нее, но и так можно расценивать, как подводник это делает. У нас у всех ведь есть счеты с "советской властью", все хватили от нее горячего до слез. В этом доме, говорят, до войны было общежитие работников советского посольства. Теперь на первом этаже помещаются немцы, там конвоиры — каждое утро выводят бригады, развозят их по разным заводам и учреждениям. Там же и кухня, кладовые: там выдают обед, хлеб, кофе (я поморщился: значит каждый день придется путешествовать на самый низ, и по нескольку раз). Второй этаж занимают французы, но среди них есть и бельгийцы, голландцы, тоже пленные специалисты, работают по тем же местам. Эти не бедствуют: посылки получают, живут не тужат. Общаться с ними запрещено. На двух следующих этажах наши живут. А здесь у нас — галерка, верхотурье, сюда только новых помещают, потом пере-

водят ниже. В среднем наших живет постоянно человек сто, чуть больше бывает, чуть меньше. И тоже в общем не бедствуем, учитывая добавочную кормежку на работе. Хорошо еще и то здесь, что ни полицейских, ни переводчиков и немцы обращаются сносно, не хамят.

Подумалось, что не похоже, чтобы это место было для меня. Посмотрим. Пока моя задача — хорошо отдохнуть от лестницы. Я даже снял верхнюю одежду: белье было мокрое от пота, можно выжимать. Надо высушить. Лег поудобнее и задремал.

Проснулся под вечер, когда пришли с работы трое, зашумели и разбудили. Оделся, говорят, надо идти ужин получать. Оставил, что мог, на койке: в дороге, по пословице, и иголка груз. Захватил котелок, ложку, кружку и стала сходить с лестницы.

Лагерь в самом деле крохотный: обо мне уже разошелся слух. Мимо проходили, вверх и вниз, и каждый рассматривал. Спустился на площадку третьего этажа, — здесь стояло несколько человек, видимо поджидали меня.

— Так вы в Крыму в плен попали, в прошлом году? Значит, из дома уже давно? — без обиняков спросил один.

— Да, в Крыму, в мае.

— А в Москве когда были?

— Из Москвы эвакуировался в октябре 41-го.

— О, это интересно! А где в эвакуации были?

— В Самарканде и Ташкенте только коротко, проездом, а на Алтае жил, потом в Киргизии.

— Как же там? Не голодают? У меня туда семья уехала, из Москвы. Расскажите! — Я показал на котелок:

— Надо сначала ужин получить. Я сегодня и не обедал.

— Что привязались к человеку! — воскликнул пожилой, седой, небольшого роста. — Дайте ему ужин получить. Но уговор, — обратился он ко мне: — Поужинаете, заходите сюда, к нам, расскажете, — показал он на дверь за спиной. — Да сооружение это чудное напрасно взяли, здесь миски дают, — показал он на мой котелок. Но оставлять негде, пошел вниз с котелком.

Повар-немец наверно знал, что я обеда не получал, — другим давал миски среднего размера, а мне откуда-то выудил

вдвое большую и наложил полную густой кашицы, которую здесь называли супом. Я так и не разобрал, что за крупа в ней, но показалось вкусно с голодухи. Рядом большая комната, в ней стол, скамьи, можно поесть без помех. Поужинав, пошел одолевать лестницу до третьего этажа, где меня ждали.

Средняя комната оказалась очень большой, тоже с двойными койками по стенам и длинным столом в середине. Меня усадили в голове стола, спиной к двери, по обе стороны сидели и толпились вопрошающие. Возглавлял сидевший справа пожилой, седой, его называли профессором, из Москвы. Оказалось много москвичей, все больше из несчастного московского ополчения, зачем-то собранного властями из стариков, инвалидов, полуинвалидов и почти безоружным брошенного "на защиту Москвы" осенью 41-го года. Часть ополчения была уничтожена, многие попали в плен — и погибли от болезней и голода в лагерях военнопленных в страшную зиму 41-42 года. Выжило наверно всего несколько сотен человек. Некоторые из москвичей успели еще отправить семьи на восток, кое-кто в Среднюю Азию, и беспокоились, не голодают ли они там. Этих я мог успокоить: в Узбекистане, в Киргизии, в Казахстане продукты были, крестьяне привозили на базары мешки риса, сахара. Власти вводили в Средней Азии посевы риса и сахарной свеклы и, чтобы поощрить, за сданное часть выдавали рисом и сахаром, не скупясь при этом, как в Европейской России, при выдаче колхозникам на трудодень. Я ахнул, когда попал на базар в Самарканде: к западу от Волги многие голодали или жили впроголодь, а там еда в избытке. На Алтае хуже, там почти голодали, хотя местное население как-то выкручивалось.

Рассказал об отправке в эвакуацию из Москвы в октябре 41-го: их все интересовало. Перед началом беседы принесли мне кружку сладкого чая и горку сухарей на бумажном кульке, все больше сухие корки черного хлеба. — Это вам вместо бисквитов, — сказал профессор, придвигая мне сухари. — Да вы не стесняйтесь, вам поправляться надо, а мы не голодные, нас на работе подкармливают.

Не заметили, как пролетело время: было уже поздно, часов десять. Пора отправляться на покой — и вдруг за окнами мощно заревела сирена. Воздушная тревога. Тотчас же снизу раздалась

команда: "Все в подвал!" Немецкие солдаты забегали по коридорам, проверяя, все ли вышли, и гася везде свет. Окна завешены черными шторами, но их может смахнуть взрывом.

Спустились в подвал. Он большой, поместилось бы еще столько же людей. На полу расставлены какие-то ящики, скамейки, табуретки, разместились на них. Потолок дополнительно укреплен толстыми стойками-бревнами и столбами каменной кладки: на вид прочно. Тотчас же нашлись специалисты, принялись считать, какие должны быть бомбы, чтобы пробить пять этажей и завалить нас в подвале, — шансов на это оказалось мало. Но может ведь попасть в бок, в стену — приятного тоже мало.

Сирены перестали выть, но гул самолетов слышали не скоро, а когда слышали, сразу же начались и взрывы бомб, где-то не близко от нас. Только раза два бомбы упали недалеко и сотрясли наш дом.

Это был первый большой налет на Берлин (точно не помню, случился он 3-го или 4-го марта 1943 года). Но главные бомбежки немецкой столицы, когда самолеты западных союзников бомбили "коврами" и превратили Берлин в развалины, начались только осенью того же года. Те бомбардировки велись так: сначала западные истребители, пролетая на большой высоте, сбрасывали на четырех углах ослепительно светившие "свечи", долго державшиеся в воздухе на парашютах. Летящая за истребителями волна бомбардировщиков сбрасывала свой груз в этот четырехугольник, за нею следующая и следующая, были налеты из восьми, девяти, десяти волн, по сотням самолетов в каждой. В следующую ночь "свечи" вывешивались рядом — бомбардировщики расстилали свой ковер на этом квадрате. Нетронутым не должен был остаться ни один квартал города. В развалинах гибли тысячи жителей, в подвальных бомбоубежищах заваливало сотни, а там нередко заливало водой из разбитых водопроводных труб. К концу 44-го года, когда защита города истребителями и зенитной артиллерией ослабела, американские бомбардировщики прилетали бомбить днем, английские прилетали ночью.

Пока гудели самолеты и глухо громыхали взрывы, ко мне подсел незнакомый пленный, на третьем этаже я его не видел.

— Вы в каменоломнях были, под Керчью, и в мае вышли, я помню этот случай. Я там же был, но я до конца пробыл под землей: только в сентябре немцы окончательно выкурили нас из-под земли. И еда совсем кончилась, все равно надо было кончать это идиотское сидение под землей.

Это был первый человек из Крыма, да еще из памятных каменоломен, которого я встретил. Я с большим любопытством слушал его и просил рассказать подробно, что было там после нашего ухода. Начальство, сказал он, было вне себя, узнав о нашем уходе, хотя, как я уже упоминал, самым большим командиром под землей был случайно застрявший майор, да еще, кажется, интендантской службы. Но нашлись ретивые политработники, правда, тоже невысоких чинов, они потребовали начать расследование и отдать виновников под суд. А кто виновники? Главные виновники были в Москве, — те, кто приказал оставить под Керчью десятки тысяч военных. А теперь кого судить? Командиры, бывшие у выходов с теми, кто в мае вышел из-под земли, тоже ушли, — кого же судить? Но без виноватых, без "врагов" нельзя, стали к штабным придирааться, чуть ли не к самому майору, хотя он ни сном, ни духом не мог знать, что вдруг столько народа уйдет. Кончили тем, что провели строгую регистрацию всех, точно обозначили, где и под чьим началом должен находиться каждый, а заодно и трибунал учредили и громко об этом объявили. Как водится, сразу и доносчики появились, стали стучать: тот одно говорил, тот другое, вот те уходить решили, к немцам. И сразу, по доносам, стали хватать, арестовывать, каталажку в одном забое сделали — все по лучшим образцам, как говорится, дурацкое дело не хитрое. Следствие, трибунал — и на расстрел. Наверно с сотню красноармейцев перестреляли, по доносам, — а нас всего оставалось под землей около тысячи.

Спросил, как было с водой, с питанием. Без воды еще долго мучились, но потом все же пробили два колодца и хотя по скудной норме, по две, три кружки в сутки, но воду давали. С питанием было совсем плохо: лошадей всех поели, начали пухнуть от голода. Тогда устроили еще две или три вылазки, теперь не в Джумушкой, а в другую сторону, к складам. И к нашему удивлению оказалось, что немцы склады наши почти не

тронули. Взяли только самое ценное — масло сливочное, коньяк. А хлеба горы лежали, но весь поцвел, сгнил. Приволокли с десяток мешков крупы, муки, сколько-то ящиков макарон, бочку масла растительного. Удалось поймать двух лошадей, почти совсем одичавших. Этого на несколько месяцев хватило, сначала по полкотелка, потом по четвертушке на брата. Сыты не были, но и не голодны до того, чтобы ноги не таскать. Оружия было мало. Ваши, что в мае вышли, винтовки под землей бросили, а патронов нет, так что не у всех выходов могли заслоны поставить. А немцы провели наблюдение и стали проникать в неохраняемые входы. И выкуривать стали не снаружи, а изнутри, когда ветер в середину подземелья тянул. Совсем хана пришла, задыхаться стали. И продукты кончились, жрать совсем нечего, — тогда поднялись и пошли выходить. И все начальство с нами. Потом, в плену, трибунальщики всех передушили, туда им и дорога. Сколько ни в чем невиновных людей постреляли. Так и кончилась та бесславная и никому ненужная эпопея, в каменистом под Керчью.

Слушая, я живо вспоминал, как сидели мы под землей, голодные, в крошечной тьме и в непродыхаемом дыму, который выкашливали потом из легких, по крайней мере, неделю. Но мы пробыли под землей всего десять дней — им пришлось провести там почти четыре месяца. И ради чего? Потом наверно будут говорить, что связывали военную силу немцев — но даже и этого не было: у немцев наверху было всего несколько десятков человек, да может быть с сотню румын. Нет, оставление в Крыму примерно двухсот тысяч пленных, под Керчью и в Севастополе, объяснялось исключительно глупостью и неумением высшего командования...

Только в час ночи снова завывали сирены, возвещая отбой. Можно было идти спать.

На другой день пришлось спускаться вниз сначала на завтрак, потом на обед, — взобравшись снова на пятый этаж, я долго лежал пластом, отдыхая. Кормили здесь все же лучше, сытнее, и я, еще и с длительными отдыхами, чувствовал себя словно бы крепче. Но выругался, когда, после обеда, немцы позвали снизу, чтобы спустился к ним. Ничего не попишешь, не откажешься, побрел вниз.

В дежурке встретил ефрейтор, повел с собой. Оказалось, в кладовку. На полу лежало несколько пар солдатских ботинок, советских. Показывая на мои с деревянными подошвами, ефрейтор показал, чтобы снял их и взял из кучи другие. Это было замечательно, можно примириться и с необходимостью лишний раз одолевая лестницу: наконец-то избавлюсь от моих "на деревянном ходу", тяжелых и гроыхающих по деревянному полу. Быстро снял их, примерил пару, — немного жмут, вторую — в самый раз! И ботинки почти новые, чуть разношенные. Ноги в них "царствовали", совсем не то, что прежде, когда были как закованы в тяжелые колодки толстых деревянных подошв. Ефрейтор что-то говорил, но разве поймешь: каждый немецкий солдат говорит по-своему, на своем диалекте, сразу их не освоишь и мой куций школьный немецкий не помогает. Поблагодарил и отправился преодолевать лестницу. Ефрейтор улыбался, может быть был доволен, что сделал доброе дело. Впрочем, вряд ли он сделал его без приказа начальства.

Миновав второй этаж, услышал, что кто-то спускается навстречу. Француз, в зеленой форме, — такой же, какую носил я в прошлом году в шпионской школе. Он бодро стучал по ступенькам. А подойдя ближе, замедлил шаги, потом встал и во все глаза уставился на меня. Я тоже остановился, недоумевая, что ему от меня нужно. Он что-то сказал, я не понял, потом по-немецки: — Камрад, — и сделал приглашающий жест, идти за ним. Спустился на площадку, — француз повернул в коридор налево и приглашает рукой. Вошел во вторую дверь, ждет меня. Такая же комната, тоже с койками-вагонками по стенам. Француз подошел к одной койке, выдвинул из-под нее большой картонный ящик, другой малый и стал из большого класть в малый картошку. Наложил сколько-то, поднял, подошел ко мне, протянул с приглашающим жестом: это мне. Секунду поколебавшись, вынес в коридор, даже к лестнице и вручил мне.

Голова совсем отказывалась соображать, с трудом вспомнил и сказал: — Мерси боку, — он что-то ответил, вроде "пожалуйста" и продолжал смотреть и улыбаться поощрительно. Обхватив ящик с картошкой правой рукой, держа его подмышкой, подумал, что теперь одна рука занята, как-то я справлюсь с лестницей. Но одно сознание, что подмышкой

столько еды, придавало силы. И я заковылял, помогая себе только левой рукой, цеплявшейся за перила.

Измучился я здорово, но все же добрался. В комнате оказался только подводник. Увидев у меня картон с картошкой, изумился:

Где это вам Бог послал такой кусочек?

— Говорят, что свет не без добрых людей. Француз дал.

Скажите! Я о них слышал, что туги на добрые дела. Наверно вы его своим видом сразили.

— Как бы ни было, но вот, факт налицо. Где бы нам соли раздобыть?

— Сейчас сообразим, — ответил подводник и отправился на поиски.

Вернулся он скоро, на третьем этаже добыл большую щепоть соли в тряпице. Хорошо сваренная картошка была рассыпчатой и показалась нам самой вкусной, какую мы только ели когда-либо. Было ее штук двадцать, мы ее скоро прикончили и развалились отдыхать. Подводник сегодня был мирно настроен, не ругался и пронзительных слов не говорил...

Утром на другой день, часов в десять, пришел солдат, сказал, чтобы взял вещи и шел с ним. Вещей не было, одна пустая сумка, — положил для вида в нее котелок, чтобы не выглядела совсем пустой.

Сошли вниз, вышли из дома, на канал, повернули направо, за угол, там сели на трамвай. Долго ехали в одну сторону, пересели на другой трамвай — и поехали будто бы в обратном направлении. Вышли, прошли немного пешком по пустынной улице, до длинного дома в несколько этажей. Вошли — по окраске, широкой лестнице, дверям он мне напомнил тот, в который нас привозили по ошибке. Может быть это и был тот же самый дом, только теперь мы вошли в него сбоку. Солдат подошел к дежурному, доложил, передал сопроводительную, дежурный вызвал другого солдата, тот повел наверх.

Опять длинные полутемные коридоры, идем из одного в другой. Подошли наконец к какой-то двери, на ней дощечка с надписью — "гауптман..." [капитан...] Солдат постучал и прислушался, осторожно открыл дверь, вышел на середину комнаты, отковырял, щелкнув каблуками и передал сидевшему за столом

офицеру сопроводительную. Офицер пробежал ее глазами, встал, отпустил солдата коротким жестом белой руки и, выходя из-за стола, громко, возбужденно говорил: — А, господин Андреев, мы вас ждем, очень приятно! — по-русски говорил он хорошо, чувствовалось все же, что говорит иностранец. — Протягивая руку, он подходил, но приблизившись (в комнате тоже было сумрачно), вдруг словно осекся, руку все же подал, а продолжал уже другим тоном, даже, пожалуй, немного извиняющимся: — Отсюда вы сейчас поедете в наш зондерлагерь (особый лагерь), у нас есть такой, недалеко от Берлина. Это хороший лагерь, вам там будет хорошо, вы там отдохнете, хорошо отдохнете, — он словно вдалбливал мне это "отдохнете". Подумалось: и тут убеждаешься, какой у меня вид, — совсем растерялся капитан, когда подошел ближе и увидел, с кем имеет дело. Француз вчера, перепугавшись, картошки дал, этот уверяет, что в хорошем лагере буду и отдохну там. Во всяком случае, теперь знаю свою судьбу, дорога из Норвегии приходит к концу.

Капитан открыл дверь. В коридоре на другой стороне стоял широкий деревянный диван. Показывая на него, капитан говорил:

— Посидите здесь. Сейчас придет фельдфебель, он с вами поедет в лагерь. — И капитан, наверно не без чувства облегчения, ретировался к себе.

Сел поудобнее на диван, чувствуя усталость. Подумал, что удачно получилось с котелком, положил его в сумку, а то выглядел бы еще большим пугалом, с "батареей". Впрочем, чего же стесняться. Стесняться надо им, немцам: я не сам себя до такого состояния довел, они довели. И пусть смотрят на плоды своих рук.

В сумрачном коридоре тихо. Наверно огромное учреждение в этом большом доме, а такая удивительная тишина. Редко пройдет какой-нибудь военный, ступая неслышно: на полу широкая дорожка, заглушающая шаги. Такая тишина, что я крепко заснул.

Проснулся от ощущения, что я, кажется, не один. Верно: рядом сидел плотный широкоплечий немец, с темным, обветренным квадратным лицом. Увидев, что я открыл глаза, он улыбнулся, протянул большую грубую руку:

— Фельдфебель Ланге, — отрекомендовался он. — Надо еще немного подождать, пока там бумаги выпишут, потом поедем в лагерь. Курите? — фельдфебель протянул мне кисет и книжечку курительной бумаги. — Это не здешняя немощная травка: наш табачок, кубанский, — я недавно с Кубани, запаса там.

Свернул, закурил — табак в самом деле отличный, ароматный и крепкий, — такой был у меня в Крыму, купленный тоже на Кубани, в папушах. Фельдфебель говорил по-русски совершенно свободно и так "вкусно", как может говорить только родившийся в России, притом, пожалуй, на юге.

— Вы наверно из России родом?

— Да, родился в колонии под Батайском. После революции в Батайск переехали, там и учился. И хорошо сделали: соседей всех раскулачили, разогнали. Мы ведь, немцы, хорошо жили, бедняков у нас в колониях не было, ну и зарились на нас. А когда раскулачивание шло, мы уже городскими жителями были, отец служил на мельнице. Да чего вспоминать: столько пережили, чего только не было, но как-то уцелел. И теперь, если вспоминаешь, одно хорошее помнится, его ведь тоже много было. Что и говорить: жизнь у нас, в России, такая была, что где же еще такая может быть? Лучше нашей не придумаешь. Я тут потерял немного, — куда, мелко все, узко, широты нашей нет, воли, — а у нас она и в неволе жизнь красит. Да что вспоминать...

Еще один немец, втюренный в Россию, — отметил я. Впрочем, какой же он немец, совсем наверно наш.

Ланге докурил и пошел за документами. Вернулся минут через пять, с пакетом:

— Все в порядке, можем двигаться. Лагерь этот я знаю, заезжал в него раза два. Ничего, жить там можно. Постепенно там и поправится.

Внизу, у дежурного, он взял большой, туго набитый тяжелый рюкзак. Долго ехали на трамвае — приехали на площадь к Ангальтербанхофу. Ланге, видно, все здесь знал. Побродили с ним по огромному вокзалу, пока он не нашел укромный тихий уголок, где не переливались волны штатских и военных. Усадив на скамью, Ланге сказал, чтобы ждал, он минут на пять пойдет по делам. Вернулся минут через пятнадцать, с

большим бумажным свертком. Приоткрыв, Ланге дал его мне: десятка полтора бутербродов, с колбасой, сыром. Бутерброды небольшие, белый хлеб нарезан тонкими пластинками, но все равно, такая гора! Я даже запротестовал:

— Херр Ланге, вы же на свои марки это взяли...

— Э, обо мне не беспокойтесь: я здесь все, что угодно достану. Это немцы могут не уметь, местные, а при нашем опыте! И я без марок взял, на военном питательном пункте, по маршбефелю (военное путевое предписание или удостоверение), как проезжий. Так что подкрепляйтесь без всякого сомнения. И ждите меня, я пойду тут недалеко, на часик, к моим приятелям, я им привез кое-что, в этом рюкзаке. Поезд наш все равно опаздывает: позавчерашняя бомбежка здесь здорово накорезила, еще не успели все восстановить. Я приду перед поездом, — и Ланге ушел, оставив меня с кучей бутербродов.

Сначала решил, что надо быть благоразумным и разделил кучу на три части. Но первую съел так быстро, что пришлось взяться за вторую. Перед третьей на минутку остановился — потом вытаскивал бутерброды по одному и перестал есть только, когда съел все до одного.

Я сидел в своем уголке и удивлялся. В грязной буденовке, в ядовито-зеленой шинели, — советского военнопленного во мне было видно за версту, а никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Прошли военные жандармы, с большими бляхами на груди, — даже не посмотрели в мою сторону. Прошли полицейские — тоже ноль внимания. Публика сновала мимо, — я как будто бы ни для кого не существовал. Было неуютно, думалось: вдруг подойдут и спросят, что я здесь делаю, зачем сижу? Что я им скажу?

Но никто не подходил, а часа через полтора вернулся Ланге. В это время он по телефону узнавал, что с нашим поездом — теперь должен быть уже у перрона. Вышли — поезд стоял, но толпа у него такая, что не пробиться. Ланге и не стал пробиваться. Поговорил с кондуктором, тот показал вперед. Там в одном из вагонов было зарезервировано для кого-то полвагона — мы и расположились с удобством в одном из купе.

Поезд шел с остановками и пятьдесят километров одолели только за час. Прибыли: Люкенвальде, небольшой провин-

циальный город. В сквере за вокзалом большая клумба, скоро наверно будут цветы. Прошли улицу — длинная продолговатая площадь, похоже, центральная, — во всю ее длину разбита цветочная клумба, по бокам уже выстроились высокие роскошные тюльпаны. Может быть, конечно, из оккупированной Голландии по дешевке получили, или даже бесплатно, но сколько труда вложено и сколько еще нужно, чтобы за этой роскошью ухаживать. Германия увязла безнадежно в России, — откуда у нее еще люди и желание цветочки сажать, ухаживать за ними? Нам такое не понять.

Улицы будто вылизаны. Подметают наверно наши же, но кому-то надо смотреть, работу организовать. Дома чистые, ни одного разбитого стекла, выбитой доски или облезлой краски. Кто бы у нас, даже далеко от фронта, думал бы, что все надо так содержать? Я был на Алтае, в Бийске, Барнауле — там улицы выглядят, как разоренные.

Небольшая церковь, за ней кладбище. Город кончился. Дальше дорога идет по аллее, между деревьями скамьи. Целые, ничего не утасено. Посидели, отдохнули. Вскоре вдаль увидели несколько стандартных зеленых барачков.

— Вот и офлаг драй А, — сказал Ланге (офицерский лагерь три А). — Раньше здесь был лагерь для французских офицеров, их куда-то перевели. Называют его еще и так: Зондерлагерь драй А (особый лагерь три А).

Небольшой барак перед проволокой — канцелярия. Вошли. За столом как бы копия нашего норвежского Шульце: тоже сухенький седой старичок, и тоже говорит по-русски и ленинградец, но давно оттуда, когда город был еще Петроградом. Ланге передал ему пакет, мне сказал, чтобы ждал его, что-то скороговоркой сказал дежурному и ушел.

Вернулся он минут через двадцать, когда дежурный уже кончил свои записи. Ланге положил передо мной почти целую буханку хлеба, большой кусок сыра, с фунт, и еще кружок колбасы. Я с удивлением смотрел на него:

— Это наверно и ваш паек!

— Я же говорил, обо мне не беспокойтесь, я голодным не буду. Нет, это я все для вас достал: вы же обед сегодня не получили.

Я подумал: исполнение ночной норвежской мечты: почти целая буханка хлеба, столько сыра и еще колбаса!

* * *

На этом я прерву свои записи о лагерях советских военнопленных. До сих пор я писал об общих, обычных лагерях. В "зондерлагере" положение было уже несколько иным. Иным было и путешествие в Польшу, потом в Верхнюю Силезию и Судетскую область, когда я участвовал в совершенно безнадежной попытке осуществления "победы на нашей стороне". Все это уже "другая опера".

Г. Андреев

*

Так колеблется жизнь, как цветок на ветру,
И не ведает, что ее ждет поутру —
То ли тихих могильных дорожек песок,
То ли выстрел журнальных обложек в висок.

В дыме взмывает ракета в звенящий зенит...
В доме — вздохи паркета и люстра звенит,
Взгляд: над серой водою коричневы гранит,
Вздых: звезда со звездой не там говорит.

Михаил Кренин

КОСТЕР ГЕРАКЛА

Дрогнули гордые кедры на величавой вершине:
Сам, в иступленьи безумья, рубил их Геракл разъяренный,
Каждый ствол в два удара. Два. Еще два удара.
И секиру бросал он, ногтями с тела сдирая
Мерзкие, липкие клочья кровавой рубахи кентавра.
Клок — с ногтей — отдерет, и секиру вновь он хватает:
Жгучий терзает его зуд разжигающий похоть,
Зуд чесучий, язвучий, неумный, неугасимый...
Пламенем пламя уйми! Строй костер! Взойди на костер!

Филоктет

Рабы работы ждут. Велишь нести стволы? Ты в тех же мыслях?

Геракл

Сюда стволы! Пусть ветви рубят, хворост ташат! Скорей! Невмочь!

Филоктет

Я поднял руку. Вот! Гляди: бегут. Но ты все так же хочешь...

Геракл

Огня, чтоб сжечь огонь. Сдеру — сильнее жжет. Хочу... Её

Филоктет

Кого "её"? Омфалу иль Иолу? Иль Дейаниру... Нет!

Геракл

Её, её, проклятую её! Омфала — тень. Иола...

Филоктет

К Иоле ты бежал от Дейаниры. А нынче как же? Вспять?

Геракл

Любовь влекла меня к Иоле. К той — пакостная похоть.

Филоктет

Которую ты на костре задумал сжечь? Одумайся!

Геракл

Зажжен! Зажгла. Горю! Коварный дар кентавра мне прислала...

Филоктет

Чтобы вернуть себе твою любовь, столь ею... ценимую.

Геракл

Вот, вот, "любовь"! ЛЮБОВЬ! Девичею еще она меня
По весу и размеру оценила. Среде многих женихов
Я всех плечистей, мускулистей оказался. Всех ловчей
Метал копье и диск. Движенья эти и в борьбе свирепость

Сочла царевна верным предзнаменованьем своих утех
Супружеских со мной. Я избран был. И взгляд ее нескромный,
Еще до поцелуя бесстыдно приоткрытых влажных уст,
Явил причину этого избранья; а во мне зажег
То самое, что жжет меня сейчас. Скребясь вот этой щепкой,
Дейаниру с себя сдираю; рвусь объятье и рук и ног ее
Разжать, разжать. Испепелить огонь. О, всех она желанней!
Всех слаше — обаяньем истязанья, отравой диких ласк,
Извивов и соитий мерзкоострастных. Неотразимей всех!
Моей Омфалы и моей Иолы. И Афродиты, если не
Любви она богиня, а совокупленья. Нет. Я лгу:
Иола — не моя. Я не ласкал ее. Любил, люблю
Любовью, а не склизким вождельем. Я от него бежал
К любви. Но вот оно в погоню шлет за мной кентавра дар —
Предсмертный и смертельный. Дейянира не догадалась? Нет:
Она "любви" моей желает, а не смерти. Кентавр шлет смерть
В отмщенье за свою. Сулит мне смерть в пылании желанья
И муки. Принимаю. Палящий зной ожесточу огнем!
Стрелой отравленной сразить мне надлежало — её. Одну.
Он прав. Он друг мне был, пока его она не совратила,
Кентавровых не пожелала ласк. Ла-ла-ла-ласк! Я пасть,
Я пышащую пасть всем устьям, всем устам, всем ла-ла-ласкам, всем...

Филоктет

Костер готов; и льва немейского покрыт он шкурой. На ней
И палица твоя. Ты мне оставил стрелы. Я одну...

Геракл

Нет. Пусть, горя, сгорит. Как я. Прощай! Иола, ты не жжешь.
Ночью, печальные пни на пустынно-царственной круче
И седое пятно от костра луна созерцала немая...
А когда разжигали костер, ленивое медлило пламя.
Вдруг запылало во тьме, стволы озарив отовсюду.
Встал во весь рост на ложе Геракл, и палицей тяжелой
В раскаленное сердце костра со страшною силой ударил.
Рухнуло все, сам он рухнул и в черном дыму задохнулся.
Но и черно-свинцовая туча с небес опустилась,
Молния вспыхнула, гром прогремел; рабы разбежались,
А Филоктет от костра отошел и радостно руки
К небу и к Зевсу воздел, сына приявшему в небо.

Возвратясь, увидал: ничего от костра не осталось,
И ничего от Геракла, — ни кости, ни пепла. За друга,
Утром, ягненка поймав, всдержителю жертву принес он;
Друг же, в то время, давно возлежал на пиру Олимпийцев. —
За облаками очнувшись, он Гебу первой увидел;
С кубком к нему она шла. Он ласково молвил: Иола!
Геба ему улыбнулась, зная, что вышнею волей
Предназначена в жены ему, для него оставаясь Иолой,
Чтоб он бессмертье вкусил сквозь любовь и в улыбке Любимой.
Богом, от кубка испив, он стал, то есть кем-то,
Чье бытие — но не сущность — смертным умам непостижно.
А куда пирует он... Там, на лесистой вершине,
Веют, взвиваются вихри, и следы от костра замечают.

Июль, 1978.

В. Вейдле

ЗАБЫТАЯ СТАТЬЯ Н. ГУМИЛЕВА

ПУБЛИКАЦИЯ И ПОСЛЕСЛОВИЕ Г.П. СТРУВЕ

“АРИОН”

Вы, конечно, помните у Пушкина:

... Погиб и кормщик, и пловец!
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Это сказано раз навсегда, для всех войн, для всех революций, бывших и будущих.

И я мечтаю о том, что, когда у нас появятся подлинные декламаторы стихотворений, они сумеют в этом отрывке подчеркнуть какими-то особыми средствами слово “прежние”.

Как ни старались историки литературы вывести различные ее школы из событий общественной жизни, их попытки неминуемо терпели неудачу, особенно в отношении к поэзии.

Как огонь, сколько его ни прижимай железной доской, всегда будет стремиться вверх, и ни одной складки не останется на его языке, так и поэзия, несмотря ни на что, продолжает начатое и только из него создает новое. Я уверен, что Пушкин слово “прежние” употребил именно в этом смысле. Но поэзия одно, а стихи — увы — часто другое. И чем яснее поэт осознает

себя, как политический деятель, тем темнее для него законы его "святого ремесла". "Политическая песня — скверная песня", — говорил Гете, и многие книги последнего времени доказали эту мысль.

Семерых поэтов, собранных в сборнике под названием "Арион", нельзя упрекнуть в пристрастии к политике. Правда, и ее они касаются своими жадными и неопытными руками, но это все еще только жажда осознать самого себя, а никак не окружающий их мир. Все они разные, но всех их объединяет молодая серьезность чувства и решение войти в искусство через дверь, а не через окно. Видно, что им действительно нужно писать стихи для самих себя, а следовательно и для нас. Хорошо, что они при своем выступлении не стремятся произвести шум, как это было принято еще так недавно, потому что спокойный голос имеет все шансы быть услышанным в толпе буянов от искусства.

Рассмотрим же их по отдельности.

У Владимира Злобина есть очень ценная для критика и читателя привычка ставить даты под своими стихотворениями. Из шести его вещей три, помеченные 1916 годом, страдают неврастенической расплывчатостью.

Дыхание короткое, как у загнанного зверя, слишком сложно задуманные эффекты не удаются, слова тусклы и слабо прилажены друг к другу, чувствуется, что это — начало. Стихи 1918 года значительно проще. Правда, и в них еще нет ни силы выражения, ни радости всепоглощающей мысли, и они звучат скорее как разговор с самим собой, чем как обращение, но в них есть какая-то благая тишина, в которой дух может беспрепятственно развиваться, если ему это суждено.

А дух тревоги, дух унылый,*
тревогу жизненных невзгод
с собой, как ветер легкокрылый,
бесследно время унесет...

Дмитрий Майзельс еще меньше Злобина нашел себя. Порою

*В этой строке Гумилев, очевидно, допустил опisku: у Злобина в первой строке не "дух тревоги", а "дух досады". — Г.С.

слышится что-то от Лафарга, — ”луна — собачья ли красавица — задумалась о Палаче?” Но сейчас же сменяется Ахматовой: ”Ты где, кто едкий пламень / На земле со мною пил? / Запекшимися губами / Шепни, что ты не любил” — или ранним Блоком:

Но одна зажигаешь ты роз костры,
Синее пламя льется, мерцаая, в твоих глазах.
Ты вся побледнела от дымной игры...

Он осложняет свое трудное положение еще и тем, что вступает в неблагодарную борьбу и с ритмами, заставляя их порой держаться на одной только цезуре, и с языком, прибегая к сложной перестановке слов и изменению падежей. Хотя увлечение техническими проблемами и указывает иногда на живучесть таланта, оно также и стесняет его во многом...

Георгий Маслов уже выработал себе стих твердый и в то же время подвижный; подход к темам определенный и достаточно исчерпывающий. Только какая-то неинтенсивность чувства, печальный дар оставаться в стороне от того, о чем говорится, заставляет несколько опасаться за будущее поэта. Выше я говорил о его темах, хотелось бы видеть у него тему в единственном числе. Но уже и теперь его стихи определенно радуют читателя:

Не предвидит сердце глупое
Дня свиданья, дня разлуки.
Разве гладил бы так скупю я
Эти маленькие руки?

Верю, все ж тебе припомнятся
Вечера шального мая,
Лишь глаза опустишь, скромница,
Наши встречи вспоминая,

Как, твои колени трогая,
Я пьянел, весной волнуем,
Ты же улыбалась, строгая,
Самым дерзким поцелуям.

Стихи Николая Оцуца являют пеструю смесь действительно

удачных строк и строф с общими местами и, что еще грустнее, со стихами явно сделанными.

У него сильный голос, только он не часто попадает в тон. Хорошо, что он ищет себя в больших заданиях — и ритмических, и композиционных. У него намечается зоркий глаз и чуткое ухо, а также умение возвышаться над подробностями, выдерживая общий рисунок. При таких условиях позволено надеяться, что техника к нему придет. В доказательство моих слов я приведу строфу из первого его стихотворения:

В напеве том меня пленяют
Такие ноты первой силы,
Какие только повторяют
Вола натянутые жилы...

и другую, описывающую туннель:

Когда же скалы в глухом отпоре
Нутрами ухнут, — в ответ тогда
Обманом взятое воеет море,
И сверху каплет сильней вода.

Стихи Анны Регатт — хорошие, живые, по праву появившиеся на свет. Может быть, если бы не было Анны Ахматовой, не было бы и их. Но разве это умаляет их достоинство? Ахматова захватила чуть ли не всю сферу женских переживаний, и каждой современной поэтессе, чтобы найти себя, надо пройти через ее творчество. Хотелось бы видеть больше стихов Анны Регатт. Все ее вещи, собранные Арионом, разные, и каждая хороша по-своему. Одно пленяет чуть слышным запахом, другое поет, третье светит нежными красками — видно, что каждое замыкает какой-то этап во внутренней жизни автора.

... Смуглые бабы, мерно гуторя,
День свой окончили, полный шума.
Господи, сколько в России горя,
Страшно подумать!

Сколько проехали мы селений,
Изб простых, резных и узорных,

Старых церквей, волостных правлений,
Въезжих и сборных.

Каждый дом — что темная келья,
Каждое сердце в саван одето.
Нету в России, нету веселья,
Радости нету.

У Всеволода Рождественского есть тот беспредметный и напряженный лиризм, который владел нашими поэтами лет десять тому назад. Меня он пленяет едва ли только по воспоминаниям. Есть магия в этом набегании строк одна на другую, набегании, не дающем задержаться ни на одном образе и оставляющем не память о стихотворении, а лишь вкус его. Я верю, многое переменится в поэте, многое привлечет его внимание и потребует быть сказанным — ведь путь поэта это путь его любви к миру — но мне хотелось бы, чтобы это его качество осталось. В нем залог самодовлеющего очарования, самого важного в поэзии.

Все, что я сказал, относится лишь к трем стихотворениям Всеволода Рождественского; два же первые, неловкие в своей сентиментальности, к тому же не совсем самостоятельны: первое имеет образец в книге Владислава Ходасевича "Счастливый домик", второе напоминает сразу несколько вещей Иннокентия Анненского. Но вот приятное, хотя и типично юношеское, стихотворение:

Безумный цветок Иудей,
Цветок, обагривший поля,
Ты вновь вырастаешь, белея
Ленивым изгибом стебля

.....

И Отрок неведомый снится
Твоей опаленной мечте,
И странная белая птица
В горящей стоит высоте.

Стихи Виктора Тривуса напомнили мне несколько лет уже не печатавшегося Петра Потемкина. Может быть, больше

серьезного чувства и меньше мастерства. Но то же стремление жить не в мгновениях и не в веках, а только в днях, та же дразнящая автобиографичность и наблюдательность, скорее беллетриста, чем поэта, но жизнь всякая нам интересна... [здесь в печатном газетном тексте выпала строка, а может быть даже и несколько строк]...ских рисунков, которые вовсе не имеют надобности быть грубыми, чтобы производить впечатление. Секрет их обаяния — отсутствие каких бы то ни было стилистических украшений и условно-поэтических образов. Как видите, все условия, которые не могут не порадовать читателя, так же как его радуют нескромные мемуары. Можно не интересоваться душой иного поэта, но жизнь всякая нам интересна, потому что в каждом из нас скрыт ненасытный зритель.

Кэт умерла в начале мая,
 Ей было восемнадцать лет.
 Как жаль! Веселая такая,
 Беспечная такая Кэт.

Кэт милая! В какие выси
 Унесена твоя душа?
 Должно быть, многие в Тифлисе
 Твердили: "Жаль. Как хороша!"

Должно быть, многие вздыхали
 В сухие ночи над Курой
 И томик Лермонтова брали
 В прогулки длинные с собой.

Н. Гумилев

Напечатанная выше статья Н.С. Гумилева была получена мною недавно из России. Я знал о ней и раньше, хотя она ни в какой известной мне библиографии Гумилева не зарегистрирована, не вошла в вышедший в 1923 г. сборник статей Гумилева "Письма о русской поэзии" (этот сборник, подготовленный покойным Георгием Ивановым, был, к сожалению, очень небрежно составлен, в нем оказались очень существенные и пробелы и ошибки). Не была эта статья, к сожа-

ленину, найдена вовремя и для включения в четвертый том "Собрания сочинений" Гумилева под моей и Б.А. Филиппова редакцией (Вашингтон, 1968).

Статья эта была напечатана в выходившей в Петрограде после революции газете "Жизнь Искусства" (№ 4, 1 ноября 1918 г., стр. 4-5). Она может считаться последним гумилевским "Письмом о русской поэзии" — под таким названием Гумилев в течение многих лет печатал в журнале "Аполлон" статьи о вновь выходивших сборниках стихов, и это название было сохранено для изданного посмертно сборника, в который вошла часть этих статей, а сейчас все эти статьи, в исправных текстах, входят в четвертый том "Собрания сочинений".

Мы печатаем статью Гумилева с исправлением нескольких совершенно явных опечаток, начиная с ошибки в заглавии статьи, где название сборника дано как "Орион". Восстановить пропущенное место на стр. мы, разумеется, не могли. Возможно, что когда-нибудь подлинник статьи будет отыскан в бумагах Гумилева.

* * *

Сборник молодых поэтов "Арион", о котором пишет Гумилев, вышел в 1918 году. Он почти наверное представляет собой сейчас библиографическую редкость. Совершенно случайно я являюсь счастливым обладателем этого сборника или альманаха. На обложке его, с рисунка известного художника С.В. Чехонина, как часть этого рисунка читаем: "АРИОН. Стихи. I. Петербург. МСМХVIII". (Насколько известно, этот первый выпуск "Ариона" оказался единственным: в 1918 году началась гражданская война, а летом произошло покушение на Ленина, и после того все частные издательства должны были прекратить свою деятельность на довольно долгое время). "Арион" и его содержание зарегистрированы в книге: Н.П. Рогожин. Литературно-художественные альманахи и сборники. Библиографический указатель. Том третий: 1918-1927 годы. Изд-во Всесоюзной Книжной Палаты. Москва, 1960.

На титульном листе "Ариона", после названия, перечислены в алфавитном порядке его участники. Потом идет опять цифра "1". Дальше читаем: "Петербург — Издательство Сирина — 1918". Перед стихами, в виде эпиграфа, стоят две строки стихотворения Пушкина "Арион", которое в начале своей статьи цитирует Гумилев:

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозюю.

Над этим эпиграфом чехонинская виньетка, помеченная 1918 годом. Почти наверное неслучайно сборник был выпущен под знаком Пушкина, с пушкинским названием.

В сборнике 63 нумерованных страницы. На стр. 63, которой предшествуют две страницы оглавления, напечатан список изданий "Сиринги". Здесь, кроме "Ариона", в числе уже вышедших находим только один сборник стихов — "Грюм" Дмитрия Майзельса, вышедший тоже в 1918 году. А среди готовящихся к печати изданий — три сборника стихов других участников "Ариона": "Тростник" Георгия Маслова, "Сфинксы у Невы" Всеволода Рождественского, "1-ая книга стихов" (без названия) Николая Оцуа. Сборник Маслова, поэта, о котором больше будет сказано дальше, так и не вышел; первый сборник Всеволода Рождественского назывался "Лето" и вышел только в 1921 г.; и первая книга Оцуа, под названием "Град" — тогда же.

На обороте обложки дана цена альманаха (3 р. 50 коп.) и сказано, где его можно покупать: "Склад издания в магазине Мелье и Ко. С.-Петербург, Невский, 20". Дан также адрес типографии.

Принадлежащий мне экземпляр "Ариона" имеет дополнительный библиографический интерес и ценность: он принадлежал когда-то писателю Валентину Стеничу (псевдоним Валентина Иосифовича Сметанича): на титульном листе — его автограф, с пометой "Окт. 1919". Стенич, год рождения которого я не мог установить, а год смерти приходится на конец 30-х годов (он погиб в сталинских чистках), увековечен, еще до появления его в литературе, как "русский дэнди", Александром Блоком: см. его очерк "Русские дэнди" в т. 6 восьмитомного собрания сочинений и запись в дневнике 1918 г. в т. 7 (в очерке, приводя подробно свой интересный разговор со Стеничем, Блок его не называет; а в дневнике называет ошибочно — очевидно, со слуха — "юноша Стэнч"). О дружеских отношениях Стенича позднее с Осипом Мандельштамом мы узнаем из воспоминаний о последнем Елены Тагер (см. мою публикацию в № 81 "Нового Журнала", декабрь 1965). В конце 20-х и начале 30-х годов Стенич был хорошо известен как переводчик — в частности, Джойса и Дос Пассоса.

На моем экземпляре "Ариона", кроме подписи Стенича, есть еще штампель другого владельца книги: Лев Васильевич Белоусов. Принад-

лежала ли книга этому Белоусову до Стенича или после, остается неизвестным. Каким-то образом в какое-то время некоторые книги из библиотеки Стенича попали на книжный рынок в Париже, в том числе к моему покойному брату Алексею, книготорговцу и библиофилу, и я приобрел свой экземпляр "Ариона" у него.

Для меня "Арион" имеет не только библиографическую ценность — всех участников его я знал лично, причем мое знакомство с ними относится к значительно более раннему времени, за три по крайней мере года до того, к 1915 году, когда я уже писал довольно много стихов и даже начал печатать их (правда, в малораспространенных изданиях). Я учился тогда в седьмом классе Выборгского восьмиклассного коммерческого училища в Петербурге (уже давно переименованном тогда в Петроград, с чем участники "Ариона" не пожелали, между прочим, считаться). Меня и моего одноклассника и соседа по парте и ближайшего друга Сергея Никольского (позднее убитого в Добровольческой Армии) его старший брат Юрий Александрович (+1922), начинавший тогда литературный критик и литературовед, позднее автор ценных работ о Фете и о Тургеневе и статей о Блоке, ввел в кружок молодых поэтов, в котором бывали все участники "Ариона". Мы с Никольским были там, должно быть, самые молодые — все другие были уже студенты или курсистки или начинали свою военную службу. Некоторые из них входили (как и Юрий Никольский) в знаменитый Пушкинский семинарий С.А. Венгерова и в поэтический кружок при нем.

Из тех, кто не принял участие в "Арионе", бывала в нашем кружке Лариса Рейснер (1895-1926), дочь проф. М. И. Рейснера, основательница, вместе со своим отцом, в 1915-16 гг. литературных журналов "Богема" и "Рудин", а впоследствии жена Федора Раскольников, большевицкого комиссара флота и посла в Афганистане, а еще позднее близко связанная с Карлом Радеком. В самом начале революции у нее были близкие отношения с Блоком, а еще до того роман с Гумилевым. О ней довольно много рассказывает в своей автобиографии "Детство" Вадим Андреев, сын Леонида Андреева, в детстве живший у Рейснеров и очень к ним привязавшийся. Ларисе посвящали стихи многие поэты, в том числе (много позднее) Борис Пастернак. Помню одно собрание нашего кружка в богатой квартире Рейснеров на Каменноостровском проспекте. Она читала на нем свои стихи о героях Французской Революции. Но на других собраниях кружка я ее не припоминаю.

Из участников "Ариона" какое-то имя в литературе приобрели

впоследствии Владимир Ананьевич Злобин (1894-1967), Николай Авдеевич Оцуп (1894-1958) и Всеволод Александрович Рождественский (1895-1976?) — первые два в Зарубежье, последний — как известный советский поэт. Из них Оцуп и Рождественский удостоились включения в советскую "Краткую Литературную Энциклопедию"; первый уже после смерти, второй еще при жизни. Правда, оставила след в советской литературе и Анна Регатт (псевдоним Елены Михайловны Тагер, 1895-1964), о которой, как может видеть читатель, особенно положительно отозвался в своей статье Гумилев. Но для невключения ее, как мы увидим, были особые причины.

Злобин еще в России сблизился с Мережковскими и вместе с ними эмигрировал и потом жил у них как свой человек, исполняя как бы обязанности секретаря, сначала в Варшаве, а потом в Париже, до самой смерти З.Н. Гиппиус в 1945 г. О Гиппиус, о Мережковских вообще, о их трудных отношениях с Д.В. Философовым он рассказал в посмертно изданной книге "Тяжелая душа" (Вашингтон, 1970). О роли Злобина в знаменитой парижской "Зеленой Лампе" Мережковских писал в своей книге "Встречи" (Нью-Йорк, 1953) Ю. К. Терапиано. Об общей роли Злобина в парижской жизни Мережковских см. также английскую книгу Т.А. Пахмусс: "Zinaida Hippus: An Intellectual Profile" (1971).

И Оцуп и Рождественский начинали как близкие к Гумилеву поэты, его ученики и почитатели. В каком-то смысле их обоих можно назвать младшими акменстами. Оцуп был позднее, в первые революционные годы, лично близок к Гумилеву и был одним из столпов второго Цеха Поэтов. Он выехал за границу в 1923 году и уже не возвращался. Прожив короткое время в Берлине, перебрался потом в Париж, где до Первой мировой войны учился. Им за рубежом была выпущена книга стихов "В дыму" и поэма "Встреча", а также объемистый "Дневник в стихах: 1935-1950". В 1930-34 гг. он редактировал в Париже интересный литературный журнал "Числа". Посмертно его вдовой были выпущены два тома его воспоминаний и литературно-критических статей ("Современники" и "Литературные очерки", 1961). Еще при жизни Оцуп выпустил томик стихотворений Тютчева с французским комментарием, а посмертно вышел подготовленный незадолго до смерти том избранных стихотворений Гумилева, с обстоятельным предисловием о нем (1958). Оцупу принадлежали также драма в стихах "Три царя" (1958) и роман "Беатриче в аду" (1928), а также немецкая книга о русской лите-

ратуре XX века (1928). После Второй мировой войны он преподавал русскую литературу в парижской Эколь Нормаль. В 1961 г. было издано двухтомное собрание стихов под названием "Жизнь и смерть". Я как-то не помню Оцуа в кружке в 1915-16 гг.; может быть, он при мне там не бывал. Лично мы познакомились уже на Западе; он дарил мне свои книги, и в мой американский период мы с ним переписывались.

Рождественского я, наоборот, помню очень хорошо в Петербурге. Припоминается, что в 1916 году он уже носил военную форму. Он был тоже акмеист по духу, поклонник Гумилева. Как и последний, он учился в Царскосельской гимназии. Отец его был священник. Позднее на него оказал влияние Н. С. Тихонов, тоже выученик Гумилева. Первые два сборника Рождественского — "Лето" и "Золотое веретено" — вышли уже после гражданской войны, в 1921 году. Оба были в русле акмеизма. Рождественский сразу обнаружил и талант, и хорошую выучку, но с годами к этому присоединился еще и большой дар приспособляться, и это дало ему возможность процветать в советской поэзии. Об этой способности его хорошее представление дают разновременные статьи о нем в советских журналах: М. Зенкевича, одного из "основоположников" акмеизма, в "Новом мире" в 1930 г., А. Марголиной в "Знамени" в 1948 г. и И. Васильевой в "Звезде" в 1960 г. Есть о нем и отдельная книга (А. Амстердам, 1965). Рождественский оставил также книгу литературных воспоминаний (1967), но в ней наверняка еще больше приспособленчества и ненадежного материала. Знающие люди говорили, что он играл неблагоприятную роль в "делах" тех писателей, которые в 30-х годах стали жертвами чисток, в частности в деле Е. М. Тагер. Первой женой Всеволода Рождественского была Инна Романовна Малкина, вышедшая потом замуж за известного литературного критика Валериана Чудовского, сотрудника и одно время секретаря "Аполлона". И она и ее второй муж погибли в 30-х годах в Уфе в связи с делом Польского Католического Центра. В годы своего учения я хорошо знал ее (она была двумя классами старше меня), а еще лучше — ее младшую сестру Екатерину, ученицу Ф.Ф. Зелинского, ставшую довольно известным советским критиком и убитую в конце 30-х годов грабителем, пробравшимся к ней в квартиру под видом электромонтера. Возможно, что сестры Малкины, которых я знал по школе и с которыми дружили мои двоюродные братья Герды, тоже бывали в кружке, о котором я рассказываю, но активного участия в нем они при мне не принимали.

Дмитрия Майзельса и Виктора Тривуса я помню в лицо, но ясного

воспоминания о выступлениях их в кружке у меня не осталось. Оба они потом печатались в советских журналах. Майзельс, как уже сказано, выпустил еще в 1918 году сборник "Трюм". Позже он, кажется, стал писать в сатирическом роде. Тривус, по-видимому, книги стихов так и не выпустил: во всяком случае имени его нет в библиографии А. Тарасенкова "Русские поэты XX века" (1966).

Остаются еще два участника "Ариона": Георгий Владимирович Маслов (1895-1920) и Анна Регатт (псевдоним Е.М. Тагер, 1895-1964). О них следует сказать больше. Я помню хорошо обоих. Как и Рождественский, они были на три года старше меня и Никольского. Маслов на собраниях кружка всегда бывал в студенческой тужурке. У него было очень русское лицо. Родители его жили в Симбирске. Помню, что стихи обоих, и Маслова и Тагер, мне тогда нравились, и я был рад прочесть, что Гумилев отозвался о них одобрительно, особенно о Тагер. Когда я с ними познакомился в 1915 году, они еще не были женаты — поженились в 1916 году, и мне припоминается одно собрание у них на квартире на Васильевском острове. Оба были пушкинисты и принимали деятельное участие в семинарии Венгерова. За Масловым уже числилась одна публикация в известном издании "Пушкин и его современники" и несколько докладов о Пушкине и его времени.

Летом 1917 года они уехали в Симбирск, к родителям Маслова. Не прошло и года после того как Е.М. оказалась отрезанной от мужа: Г.В. поступил во время т.н. "чехословацкого восстания" в Поволжье в антибольшевицкие войска и ушел с армией на восток. При отступлении армии Колчака в 1920 г. он заболел сыпным и возвратным тифом и умер в госпитале в Красноярске в марте 1920 г. Написанная им в Сибири (хотя наверное задуманная, а может быть и начатая раньше) прелестная небольшая поэма "Аврора" была впервые напечатана в одном дальневосточном журнале в неокончательном и неполном виде и под этой публикацией стояли даты: "26.11 — 3.V 1919 Омск". Позднее окончательная версия, над которой Маслов, по-видимому, работал еще перед самой смертью в больнице, была кем-то привезена в Петербург и выпущена отдельным изящным изданием (Петербург, 1921, издательство "Картонный Домик") с рисунками А. Божерянова и с интересной вступительной статьей Ю. Н. Тынянова. В этой статье Тынянов писал: "Я помню Маслова по Пушкинскому семинарию Петербургского Университета. Здесь он сразу и безмерно полюбил Пушкина и хотя занимался по преимуществу изучением пушкинского стиха, но,

казалось, и жил только Пушкиным и недалек был от чувственного обмана: увидеть на площади или у набережной его самого. Дельвиг и Баратынский тоже стали для него осязаемы до физического чувства их стихов. Маслов жил почти реально в Петербурге 20-х (т.е. 1820-х — Г.С.) годов. Он был провинциалом, но вне Петербурга он немислим, он настоящий петербургский поэт. Вскоре мы услышали его собственные, не всегда ровные, но уже строгие стихи”.

А начал свою статью Тынянов так: “Поэма Маслова — опыт стихового портрета Авроры. Сам же Маслов погиб, тоже ‘на незнакомой земле’, жизнь, которую он терял, была точно так же богата. Оживят ли его стихи эту старинную жизнь? Дадут ли они его собственный образ, образ поэта, любящего умершие формы? Ведь линия красивой традиции, которую оживляет Маслов — сама умерла в наши дни. Во всяком случае у стихов есть то преимущество перед людьми, что они оживают, — и не однажды”.

Тынянов назвал поэму Маслова “стиховым портретом Авроры”. Ее можно назвать и поэтической частичной биографией Авроры Карловны Шернваль, дочери Выборгского губернатора, финляндской красавицы, жизнь которой оказалась на редкость долгой (1813-1902). В начале своей поэмы Маслов выводит Баратынского, который посвящал Авроре Шернваль стихи и ухаживал немного за ней. В одном стихотворении Баратынский писал:

Выдь, дохни нам упоением,
Соименница зари!
Всех румяным появлением
Оживи и озари!
Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой и порой
Мыслит с тихою тоской:
“Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?”

Но, как писал Тынянов, “Аврора не выводила солнца счастья. Рок, который явно для всех тяготел над нею, заставил призадуматься суеверных”.

Образ Авроры Шернваль, более известную сестру которой, Эмилию, графиню Мусину-Пушкину, воспел Лермонтов, явно пленил Маслова, и в своей поэме он рассказал историю ее роковых сердечных

неудач и потерь. Имя Авроры Масловы дали родившейся у них в Сибирске дочери.

Мы не знаем, удалось ли Гумилеву ознакомиться с "Авророй", или она уже не дошла до него. Поэма эта заслуживала бы переиздания, и я уже давно ношусь с этой мыслью. В скором времени надеюсь ее осуществить и тогда скажу больше и о Маслове и о героине его поэмы.* Скажу и об имеющихся у меня неизданных стихах Маслова сибирского периода. Одно стихотворение Маслова зарубежный читатель мог не так давно прочесть в вышедшей под редакцией Ю.П. Иваска и В. Тьялсма "Антологии петербургской поэзии" (Мюнхен, 1973). Оно отражает разлуку Маслова с женой в 1919 году и начинается строкой: "Помнишь, Лена, первый вальс на бале?"

Е.М. Тагер после смерти мужа оставалась в Поволжье и работала на советской службе в Самаре. Была также одно время связана с т.н. АРА — созданной Гербертом Гувером организацией помощи русским после гражданской войны. В связи с этим по возвращении в Петроград она была обвинена в "экономическом шпионаже" и выслана в Архангельск. Там она вышла замуж за некоего Авдеева, и у нее родилась вторая дочь. Брак оказался неудачным и был недолгим. В 1927 г. она вернулась в Петербург и приняла участие снова в литературной жизни. В 1929 г. вышла книга ее рассказов "Зимний берег". Многие рассказы были навеяны впечатлениями от жизни на крайнем севере. Книга эта была переиздана в 1957 г., но без едва ли не лучшего рассказа в ней "Попадя", в котором к тому времени усмотрели, очевидно, неуместную религиозную направленность. Рассказ этот очень хороший и заслуживал бы перепечатки.

В 1939 г. Е.М. Тагер было опять предъявлено обвинение в экономическом шпионаже, но на этот раз также и в сотрудничестве с "фашистской разведкой". После десятиминутного разбирательства при закрытых дверях она была приговорена к десяти годам лагеря. Эти десять лет она провела на Колыме и в Магадане, а после того прожила

*Краткую биографию Авроры Шернваль рассказал в статье, напечатанной в парижском "Возрождении" в октябре 1934 г., В.Ф. Ходасевич. Поэмы Маслова он в ней не упоминал. Поводом для статьи послужило назначение князя Павла Карагеоргиевича регентом Югославии после смерти короля Александра: князь Павел был внуком Авроры Шернваль от брака ее с князем Демидовым Сан-Донатом. Мать князя Павла звали тоже Авророй.

еще несколько лет на поселении в Западной Сибири и в Средней Азии. В 1954 г. она вернулась в Москву, но только в 1956 г. была "оформлена" полная ее реабилитация, и ей была назначена пенсия.

В журналах изредка стали появляться ее стихи; кой-какие были напечатаны на Западе, но многие остались ненапечатанными. В "Ученых Записках Тартуского Университета" были опубликованы ее воспоминания о переписке с Блоком. Ею была также подготовлена давно задуманная книга об Афанасии Никитине и его пребывании в Индии, как будто до сих пор не изданная. Она начала также писать тоже давно задуманный ею роман "Светлана" — из жизни Жуковского. В последние годы жизни Е.М. Тагер дружила с А.А. Ахматовой. Некоторые еще подробности о ее жизни и до и после революции и о судьбе ее дочери Авроры читатель найдет в ее воспоминаниях о Мандельштаме, напечатанных в №81 "Нового Журнала" (декабрь 1965) и — в несколько более полном виде — отдельным небольшим изданием, и в моей вступительной статье к этим воспоминаниям.

Глеб Струве

К ХОСЕ-МАРИИ ДЕ ЭРЕДИА

Эредиа, из-под развалин мифа
Небывшее Вы извлекли на свет,
Чтоб видел я, читая Ваш сонет,
Быка и льва, кентавра и лапифа.

Но ни в шатре пирующего скифа,
Ни в Африке Хосе-Марии нет,
А я бы стал осколком тех побед
И умер бы от жажды или тифа.

Я гнался бы по рытвинам страниц
За табунном фракийских кобылиц
Насильником — не зрителем бесплодным,

Участником вторгался бы в века
И сердца бы не сохранил холодным,
Упрятым под бархат сюртука!

ПОЭЗИЯ

Не потому-ль навеяны стихи
Бесплодием безженным и безмужным,
Что, теремом отпугнутые дружным,
От муз-невест бежали женихи?

Зачем теперь отшельницам духи,
Наборы стрел — монахам безоружным?
И без того их голосам недужным
Дано взлетать на звонкие верхи.

Поэзия — в осмеянной вороне,
В обманутой распутьями погоне,
Когда беглец хохочет вдалеке,

Она во лжи, в нарушенном обете,
В бессоннице, в неначатом сонете,
В пустых руках, в непойманном дымке!

Валерий Перелешин

Н.Д. НАБОКОВ И ЕГО "БАГАЖ"

Николай Дмитриевич Набоков принадлежал к тому же поколению, что и А.Н. Черепнин, но был младше его на несколько лет. Родился он в имении родителей, в Белоруссии, 17 апреля 1903 года. Происходил он из высококультурной семьи, любящей и знающей искусство. Его дед по отцовской линии был министром Александра Второго времен великих реформ, отец и дядя — известные деятели кадетской партии.

Последней книгой Набокова были его воспоминания под названием "Багаж". До этого из-под пера Н.Д. вышла книга "Старые друзья и новая музыка" (1951 г.). В силу некоторых оригинальных мыслей, высказанных о ряде музыкальных деятелей, да и в силу общего интереса она пользовалась в свое время успехом. Вторая книга — "Багаж" — является своего рода "лебединой песней" автора, как бы его расширенной автобиографией, и, благодаря приведенным в ней обильным данным, дает довольно полную картину жизни композитора в России и затем в течение шестидесяти лет за границей. В этой книге можно найти немало интересных сведений о современниках Набокова и их интимной жизни.

Опуская некоторые чисто семейные детали и оставляя на совести автора описание ряда пикантных разговоров на сексуальные темы, думаю, что Н.Д. всё-таки не перещеголял своего двоюродного брата Владимира и его "Лолиту". Правда, литературоведы, возможно, найдут в этой книге прототип Лолиты; тогда станет более понятным ее образ и ее родственные отношения к автору "Багажа". Возможно даже, что у прототипа

Лолиты оказалось и два талантливых потомка — один о ней говорит в своих воспоминаниях, другой описывает в романе. Но говорить об этом более подробно не входит в рамки настоящей статьи.

В самом начале 20-х годов молодой Н.Д. Набоков оказался в Берлине, тогда самом многолюдном пристанище русских эмигрантов. Интересно его описание "Берлина, покоренного русскими", с его обычаями, газетами, церквями, театрами, ресторанами, громкой на улицах русской речью с диким немецким произношением и, наконец, "русской вендеттой", когда на одном из политических собраний был убит Владимир Набоков-старший — отец писателя и дядя композитора. Правда, убийца целился не в него, а в Павла Милюкова, но Набоков, защищая Милюкова, геройски погиб.

Еще в России Н.Д. начал заниматься музыкой под руководством композитора Ребикова; за границей он продолжал эти занятия сначала в Штутгартской консерватории, а потом в Берлине под руководством самого Бузони.

На композиторский путь он стал рано и за шестьдесят лет создал немало интересных вещей, которые иногда пользовались значительным успехом, как, например, его балеты "Ода" (1928 г., по Ломоносову), "Union pacific" (1934 г., на американские темы) и "Дон Кихот" (1965 г.), написанный уже в зрелом возрасте, на закате жизни и творчества. Правда, популярность произведений Набокова как-то быстро проходила, они оказались недолговечными, хотя и шли на многих известных сценах мира от Парижа до Нью-Йорка. Анализируя творческое наследие Набокова, я пришел к заключению, что возможной причиной недолговечности этого наследия была его "холодность" — оно не могло долго увлекать широкого слушателя и, не выдержав испытания временем, покоится теперь в каком-то почетном полубытии, а возможно ждет еще своего "открывателя".

Пропагандист Стравинского, Набоков ни в коем случае не может быть причислен к его подражателям, но он не создал и своего стиля; в результате его творчество постигла участь, которой не избежали многие его современники. Желая быть оригинальными, они всю свою творческую жизнь искали "новых путей", но даже их мэтр Стравинский признавал, что написанная

им музыка экспериментальна и написана только для него. Набоков пишет о том, как Стравинский под конец своей жизни не раз спрашивал его: "Ника, вы знакомы с мотетами Баха, Мессой Россини или оперой "Розамунда" Генделя?" А совсем в последние годы, когда не писал уже ничего нового, неоднократно просил дать ему послушать музыку Генделя или оратории Мендельсона и сам играл "для себя" клавир Баха. "Ника, — говорил тогда Стравинский, — ЭТА музыка теперь мне так близка... Ах, как близка..." Не знаю, переживал ли нечто подобное и Набоков, в его поздних произведениях подобные чувства не заметны для исследователя.

В конце 50-х годов Набоков получил предложение написать оперу. Это была его первая попытка в новой области, и интересно отметить, что после долгих поисков сюжета он остановился на мысли написать оперу о Распутине. Причиной выбора именно этого сюжета были и юношеские воспоминания Набокова и то, что личность Распутина, вернее — "тайна личности" Распутина чрезвычайно интересовала композитора.

Первоначально опера была названа "Святой черт" и либретто было построено в двух действиях. Премьера оперы состоялась в Америке в 1958 году. Затем композитор несколько переделал свой труд, добавил ряд персонажей, и уже в трех действиях опера была поставлена в Германии в 1959 году. Сюжет ее основан на последних годах жизни "старца", и в числе персонажей есть и царица и Анна Вырубова. В новой редакции, но под различными названиями, в зависимости от места, где ее ставили, опера выдержала значительное число представлений в Германии и вообще в Европе, но и она, по признанию Набокова, вскоре была забыта и всё еще ждет своего "открывателя".

В своих исканиях сюжетов Набоков неоднократно обращался к самым разнообразным источникам: то к Данте — "La Vita Nuova", то к Пушкину — "The Return of Pushkin" или к ахматовскому стиху. Написал он немало и симфонической музыки и еще одну оперу на шекспировский сюжет "Love's Labour's Lost". Эта опера получила много положительных отзывов.

Обращался Набоков в своем творчестве и к духовной музыке (оратория "Иов") и к русской литургической. Однако,

несмотря на плодотворную композиторскую деятельность, думаю, что Набоков наиболее заметно проявил себя на музыкально-административном поприще. В Западной Европе еще и донныне помнят организованные им фестивали в Берлине (конгресс "Свободы и культуры"), Париже, Риме и в других городах. В Америке Н.Д. одно время преподавал в университетах, но педагогическая деятельность его не очень привлекала; его тянуло к кипучей работе "свободного художника", и в этой области он действительно немало преуспел. Лекции он любил читать особого типа — для широкой аудитории и в основном сводящиеся к воспоминаниям.

Во время Второй мировой войны Н.Д. некоторое время работал при американской Информационной дивизии в Германии. Был он и одним из первых сотрудников "Голоса Америки".

В частной жизни — судя по его воспоминаниям — был "бонвиваном". Умел приобретать и веские знакомства — постоянно гостил то в роскошном имении Ротшильдов, то у других высоких покровителей искусства, но, по его же признанию, временами испытывал недостаток в средствах. Об этом он пишет с юмором, через который порой пробивается чувство горечи. "Я пропустил свой шанс поехать в Голливуд" (после успеха первого американского балета "Union Pacific"), — пишет композитор. Да и не хотел он переходить на легкую музыку, на которой, многие думали, "можно было сделать большие деньги".

За свою долгую жизнь Набоков много путешествовал и встречался со многими вершителями судеб искусства. В молодости хорошо знал Дягилева, который был его дальним родственником. Дружил с Баланчиным, для которого постоянно писал. Одним из последних больших произведений Набокова был балет "Дон Кихот", с успехом поставленный Баланчиным в Нью-Йоркском городском балете. В памяти автора настоящего очерка сохранился спектакль этого балета, когда Баланчин после долгого перерыва решил снова выйти на сцену в мимической роли Дон Кихота. Вообще Набокова хорошо знали в мире искусства, и он был желанным гостем в среде его меценатов.

В семейной жизни — от четырех жен у него осталось три сына. Каждый из них чувствует себя принадлежащим к иной

национальности, хотя имена их типично русские: старший — Иван — русский, средний — Петр — американец и младший — Александр — француз (так, по крайней мере, характеризует их сам отец в своей книге).

У Набокова были общие черты с Черепниным. Оба композитора были не просто "музыкантами по профессии", но эрудитами в самом широком смысле слова. До самой старости сохранили они исключительную способность воспринимать с юношеским задором все происходящие вокруг них события, постоянно путешествовали, прекрасно владея европейскими языками.

На основании многочисленных бесед с Черепниным и нескольких встреч с Набоковым смею утверждать, что, несмотря на "евразийство" Александра Николаевича и "космополитизм" Николая Дмитриевича, в душе они были чистейшими русскими интеллигентами, хотя среди ближайших предков Черепнина были и французы и англичане, а Набокова — немцы. "Русская капля крови", несколько разбавленная "татарским нашествием", в обоих преобладала.

Под конец жизни каждому из них удалось еще раз посетить любимую родину. Вынесенные ими впечатления читатель может найти в их воспоминаниях, скажу только, что, будучи гостями Союза композиторов, они там — в разное время — встречались со многими представителями музыкального мира и от встреч с Хачатуряном вынесли наиболее сильное впечатление.

Судьбе было угодно, чтобы они скончались в "хронологическом" порядке, в соответствии со своим возрастом.

Алексей Скидан

*

Дань времени и дань себе —
Завидное непостоянство,
И вновь наперекор судьбе
Отчаянная жажда странствий.

Сухим листом спустился год
На омоложенную землю,
Уставшую от непогод
И от людского "непримлю".

Земля — раздатчица щедрот
Весны и вечного покоя,
То встретит запахом левкоя,
То мёртвым холодом пахнёт.

Сменяется годиною год,
Но мы, послушные земляне,
Не устраняемся от дани —
Ведь за землёй не пропадёт.

*

Замечательный и перевозданный
Я по райскому саду брожу,
Незнакомый с тоской чемоданной,
Я на голую Еву гляжу.

В голове ни страстям, ни мыслишкам
Места нет ещё. Тишь, пустота.
Слишком мало здесь жителей. Слишком
Много яблок в саду. Неспроста.

Михаил Кренин

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ФЕХТОВАЛЬЩИКИ ПУШКИНСКОГО ВРЕМЕНИ

Историю фехтования в России обычно излагают начиная с 1840-х годов, а наиболее ранним русским учебником фехтования советские историки спорта называют книгу Н.В. Соколова, изданную в 1843 году. О развитии русского фехтования в предшествующие периоды эти авторы почти ничего не сообщают, обходя вниманием интересные исторические и литературные источники, проливающие свет на почти забытую ныне сторону русского городского и военного быта.

Хотя европейское фехтовальное искусство было, несомненно, известно в какой-то мере уже допетровской Руси, благодаря иностранным наемным войскам на царской службе, регулярные академические занятия фехтованием в России начались, очевидно, лишь с основанием военных училищ. Посвященный их истории труд отмечает, что в Школе Математических и Навигацких Наук, открытой в Москве в 1701 году, шестьсот учащихся обучались и "рапирной науке". Эта дисциплина вошла в программу и Кадетского Корпуса, основанного в Петербурге в 1731 году для подготовки офицеров артиллерии и инженерных войск. Ко второй половине XVIII века, здесь насчитывалось четыреста девяносто кадетов, фехтмейстером которых был, очевидно, кавалер де Фревилль, как на то указывает составленный им учебник, отпечатанный в типографии Кадетского Корпуса.

Де Фревилль основательно изучал фехтование во Франции, занявшей к тому времени ведущее место в развитии искусства боя на холодном оружии. Приехав в Россию, он стал давать

частные уроки, обратил на себя внимание влиятельных придворных и в середине 1760-х годов был приглашен преподавать фехтование великому князю Павлу Петровичу (род. в 1754 г.), для которого, в первую очередь, де Фревилль и подготовил свой трактат. Несмотря на это, книга оказалась посвященной генерал-аншефу графу Г.Г. Орлову, который сам окончил Кадетский Корпус офицером артиллерии, а с 1762 по 1775 год был генерал-директором этого училища. Посвящение сделано издателем книги, поскольку, как он пишет в декабре 1774 года к этому времени ее автор преждевременно скончался. Именно это сочинение, до выявления каких-либо еще не известных сведений, и следует считать наиболее ранним руководством по фехтованию, изданным в России.

Преемником де Фревиля на должности фехтмейстера Кадетского Корпуса стал один из его наиболее талантливых учеников Бальтазар Фишер, автор первого фехтовального пособия на русском языке — "Искусство фехтовать во всем его пространстве" (т.е. объеме), изданного в 1796 году с параллельным французским текстом. Из предисловия к книге явствует, что Фишер родился в Швейцарии около 1725 года, впоследствии поселился в России и с 1765 года стал преподавать фехтование в Петербурге, вначале, вероятно, как частный фехтмейстер. В 1790-х годах, когда Кадетский Корпус возглавлялся М.И. Кутузовым, будущим фельдмаршалом, там у Фишера обучался И.Е. Сивербрюк, достигший в фехтовании блестящих успехов и сыгравший позднее важнейшую роль в развитии русского фехтовального спорта.

Среди петербургских фехтовальщиков пушкинского времени видное место занимал Александр Вальвиль, в тридцатилетнем возрасте приехавший из Франции, на рубеже двух столетий. Вероятно и он начал свою деятельность с частных уроков, подвизаясь одновременно на поприще театральносценического фехтования: в 1805 году он осуществил постановку батальных эпизодов в имевшей большой успех трагедии В.А. Озерова "Фингал". Благодаря приобретенной известности и связям во влиятельных кругах, Вальвиль был зачислен в штат Царско-сельского Лицея с самого его основания и преподавал здесь фехтование в течение 1812-1824 годов. Именно у него начал зани-

маться и увлекся фехтованием А.С.Пушкин, который уже в Лицее "отлично дрался на эскадронах, считаясь чуть ли не первым учеником у известного фехтовального учителя Вальвиля". Эта лестная репутация поэта вполне подтверждается лицейскими учебными табелями, которые показывают, что Пушкин был одним из немногих лицейцев, регулярно получавших по фехтованию высшие оценки.

Наглядное представление о фехтовальной школе Вальвиля дает его книга "Рассуждение о искусстве владеть шпагою", изданная в 1817 году параллельно на русском и французском языках и иллюстрированная двадцатью четырьмя гравюрами. Этот малоизвестный ныне учебник явился, по-видимому, хронологически вторым пособием на русском языке по фехтованию. Излагая лишь основные приемы боя на рубяще-колющем оружии, эта книга, по замыслу автора, была призвана служить руководством для преподавателей фехтования и любителей, уже освоивших начала фехтовального искусства. Нельзя не заметить, что некоторые описываемые Вальвилем позиции и приемы отличаются не столько практической эффективностью, сколько почти театральной эффективностью. Составитель учебника не случайно ограничился фехтованием на оружии армейских образцов, поскольку с 1816 года, продолжая преподавание в Царско-сельском Лицее, Вальвиль возглавил подготовку фехтмейстеров в полках гвардейской кавалерии. Весьма важно, что в своем сочинении и в практической деятельности он пытался наметить пути организации массового обучения фехтованию в русской армии. Дав описание образцового полкового зала, Вальвиль предлагает проводить здесь ежедневно позэскадронные занятия под руководством всех полковых фехтмейстеров и их помощников. Ежемесячно должны устраиваться состязания среди лучших фехтовальщиков каждого эскадрона, а раз в году — публичные бои между наиболее отличившимися учениками, отобранными из всех полков гвардейской кавалерии. Солдат, показавших при этом самые высокие результаты, следует назначать фехтмейстерами — с тем, чтобы постепенно обеспечить преподавателями не только всю гвардию, но и армейские кавалерийские полки.

О том, что проекты Вальвиля быстро проводились в жизнь,

свидетельствуют относящиеся к 1820-м годам воспоминания одного из солдат Лейб-Гвардии Уланского полка. Он рассказывает, что фехтовальщиков Гвардейского корпуса (включавшего и пехотные полки) ежегодно собирали в Петербурге на соревнования в Михайловском манеже (ныне Зимний Стадион), где полем боя служили специально установленные помосты с разметками для каждой пары бойцов. Эти обставленные торжественным ритуалом состязания проходили под руководством капитана Вальвиля, в присутствии императора, который по окончании турнира лично награждал победителей.

Впоследствии Вальвиль, много лет занимавший должность первого фехтовального учителя Императорской Гвардии и награжденный несколькими орденами, был произведен в чин майора. В начале 1840-х годов, Вальвиль, уже достигший преклонного возраста, вернулся во Францию. В 1819 году в Петербург приехал французский преподаватель Огюстэн Гризье (1791-1865), снискавший широкую известность в Западной Европе своим мастерством и публичными вольными боями. В России такие спортивные состязания, наиболее яркая форма популяризации фехтования, еще не практиковались, и Гризье тем охотнее начал свою деятельность в Петербурге с этих соревнований. Первое же из многочисленных выступлений Гризье, спортивными партнерами которого стали местные любители фехтования, прошло с триумфальным успехом, вследствие чего многие столичные аристократы и их сыновья стали его учениками. Несколько лет спустя, в 1825 году, Гризье посетил Москву и столь же блистательно провел серию публичных вольных боев в Кремлевском театре.

Наряду с частными уроками, Гризье проводил регулярные занятия в петербургском Главном Военно-Инженерном Училище, куда он был приглашен на должность преподавателя с чином капитана. В Петербурге он начал работу над большим трудом "Фехтование и дуэль", который был закончен и опубликован уже во Франции, куда автор вернулся в 1829 году. Эта написанная превосходным языком книга, основанная на богатом педагогическом и жизненном опыте Гризье, охватывает не только технику и тактику фехтования, но также историю этого искусства, методику обучения, дуэльные проблемы и различные

теоретические вопросы, сохраняющие свою остроту и поныне. Для характеристики автора как личности показателен тот факт, что и в этом труде, и в других своих высказываниях он, профессиональный фехтовальщик, рассматривает дуэль как социальное зло и выступает против поединков, пропагандируя фехтование прежде всего как укрепляющую здоровье спортивно-гигиеническую дисциплину.

Выражая сердечную признательность гостеприимной России, Гризье предпослал своей книге посвящение императору Николаю I, с благодарностью отметив большое содействие, которое оказывали его деятельности члены императорской семьи. В неменьшей мере говорят о чувствах автора теплые слова воспоминаний о России и оставленных там учениках, в числе которых были брат императрицы герцог Вюртембергский и его сыновья, князя Салтыков и Куракин, графы Бобринский, Чернышев и Орлов, генерал Горголи и многие другие именитые аристократы. Среди учеников Гризье можно было встретить и гвардейских офицеров — будущих участников Декабрьского восстания — И.А. Анненкова, С.П. Трубецкого и их единомышленников.

Приятной неожиданностью для биографов А.С. Пушкина явились недавно воспоминания Гризье о том, что среди петербургских энтузиастов фехтования, бравших у него уроки, был и великий поэт. Очевидно, Пушкин, всегда следивший за своей физической формой, продолжал увлекаться фехтованием и после Лицея, где он впервые занялся этим спортом и достиг в нем незаурядных успехов. Весть о смерти "знаменитого поэта Пушкина" больно поразила Гризье и вызвала у него прочувствованные слова в адрес его бывшего ученика. Он назвал эту дуэль "одним из самых бедственных событий такого рода в истории" и не преминул отметить, какой заботой окружил император семью погибшего поэта.

К заслугам Гризье в распространении физической культуры в России следует отнести и организацию специальной школы плавания. Мысль об этом возникла у высокопоставленного ученика Гризье герцога Вюртембергского, который с 1822 года ведал столичными общественными зданиями. Узнав, что французский фехтовальщик был также умелым пловцом, герцог обра-

тился к нему с просьбой создать училище для подготовки военных пловцов. Гризье принял это предложение, однако поставил условие работать безвозмездно, так как считал, что государство уже щедро обеспечило его жалованьем в Главном Военно-Инженерном Училище. Школа плавания Гризье была основана по его планам в одном из дворцов на невской набережной, причем он сам руководил и подготовкой первых пловцов.

По свидетельству французского мастера, побывавшего в разных европейских государствах, фехтование, как важная дисциплина военного образования, пользовалась в России большим почетом, чем в какой-либо другой стране. Как и планировал когда-то Вальвиль, фехтование переступило порог привилегированных гвардейских полков и при императоре Николае I стало поощряться во всех частях русской армии. По словам Гризье, гражданские фехтмейстеры, преподававшие в армии и в военных училищах, получали воинские награды и чины наравне с офицерами действительной службы, и для них были открыты самые аристократические дома. В книге Гризье конкретно упомянуты также три школы для петербургских фехтовальщиков-любителей. Две из них возглавлялись его соотечественниками Вальвилем и Прево, которые дослужились до чина майора, преподавая в армии. Еще один фехтовальный зал принадлежал Сивербрюку.

Иван Ефимович Сивербрюк (1778-1852) глубоко увлекся фехтованием в Кадетском Корпусе, занимаясь у Б. Фишера. В 1796 году, через несколько месяцев после выпускных экзаменов, Сивербрюк вернулся в Корпус, но уже в качестве фехтмейстера, а с 1815 года до конца своей жизни он занимал здесь должность главного учителя фехтования. С течением времени, он возглавил обучение также во Втором Кадетском Корпусе, Морском Кадетском Корпусе, Михайловском Артиллерийском училище, Пажеском Корпусе и Дворянском Полку (особая пехотная школа). Наряду с занятиями в этих средних военно-учебных заведениях, Сивербрюк руководил обучением в двух высших гражданских институтах, Училище Правоведения и Горном Институте, а также в Первой гимназии, где фехтование считалось обязательным предметом. Давал он уроки и в пансионатах, и в частных домах, причем в числе его учеников

были молодые женщины, привлеченные к фехтованию как романтической красотой этого спорта, так и утвердившимся к тому времени мнением врачей о его оздоровительном влиянии. Среди наиболее усердных учениц Сивербрюка замечательных успехов достигла долго гастролировавшая в Петербурге итальянская актриса Баголини, блестяще проведшая в 1827 году, в Малом Театре, публичный вольный бой с Огюстэном Гризье.

Хотя круг петербургских фехтовальщиков был, согласно биографу Сивербрюка, довольно обширен уже в первой четверти XIX века, представители высших сословий занимали в нем, естественно, наиболее значительное место. На пятидесятилетнем юбилее преподавательской деятельности Сивербрюка, торжественно отмеченном в Первом Кадетском Корпусе в 1846 году, присутствовали триста избранных учеников юбиляра, в большинстве — генералы и офицеры, высшие чиновники, а также проживавшие в столице видные иностранцы. В числе воспитанников Сивербрюка были и такие крупные деятели, как фельдмаршалы И. Ф. Паскевич-Эриванский и И. И. Дибич-Забалканский.

Большой заслугой Сивербрюка в развитии русского спорта явилось то, что он первым стал последовательно расширять круг любителей фехтования, открыв доступ к занятиям и другим слоям петербургского населения. Для популяризации фехтовального спорта, особенно в среде малообеспеченной молодежи, преподаватель на свои средства арендовал и оборудовал зал, где многие молодые люди "без достатка" имели возможность получать бесплатные уроки.

Стремясь преподавать основы фехтования возможно большему количеству учащихся, Сивербрюк разработал и применил в своем зале новые методы обучения, построенные на групповых занятиях и упражнениях с фехтовальщиками примерно одного уровня. Однако эта система не исключала индивидуальных уроков наиболее способным ученикам. К ним принадлежал, например, И.С. Горголи, впоследствии генерал и сенатор, ставший бойцом европейского класса, который совершенствовался у Гризье и в спортивных схватках не раз побеждал даже этого прославленного мастера.

Не менее важной заслугой Сивербрюка было воспитание

двух поколений преподавателей, способствовавших дальнейшему развитию фехтования на русской почве. Этим результатом своих трудов он справедливо гордился превыше всего, отметив в предисловии к завершеному незадолго до своей кончины учебнику, что за свою более чем пятидесятилетнюю деятельность он подготовил "нынешних преподавателей и их учителей". О достоинствах этой книги, обобщившей огромный педагогический опыт Сивербрюка, лучше всего говорит тот факт, что на протяжении тридцати лет его учебник был не только дважды переиздан в России, но и опубликован во французском переводе в Париже, тогдашней фехтовальной столице мира.

Разрозненные сведения в литературно-исторических источниках дополняют картину петербургского военного и гражданского быта новыми, интересными чертами. Фехтование преподавалось во многих школах, училищах и институтах, занимало видное место в учебных программах Императорской Гвардии и внедрялось в армейские части. С 1820-х годов в Петербурге ежегодно происходили открытые для публики соревнования сильнейших фехтовальщиков, вышедших победителями отборочных состязаний внутри гвардейских полков. Эти турниры, проходившие в праздничной обстановке Михайловского манежа, в присутствии императора и его свиты, фактически являлись чемпионатами русской гвардии по фехтованию, несомненно способствуя популяризации фехтовального спорта среди петербургского населения. Еще чаще проводились показательные вольные бои в фехтовальных залах, с участием профессионалов и любителей, военных и штатских. Фехтование быстро распространялось за пределы военных училищ и аристократических кругов, привлекая новых адептов из средних классов и студенческой среды.

С конца XVIII века дуэли на холодном оружии стали выходить из моды и в дальнейшем происходили в России несравненно реже, чем поединки на пистолетах. Широкое увлечение фехтованием в пушкинский период мало связано поэтому с чисто прагматическими целями. К фехтованию

молодежь влекла особая, рыцарственная сторона этого спорта, сочетающего превосходную гимнастику для тела с богатой игрой ума и воображения. Романтические веяния пушкинской эпохи отразились и в расцвете русского спортивного фехтования, перед которым открывалось большое будущее.

Леонид Тарасюк

ЗАМЕТКИ

*Если век стремится в бездну, лучше
отстать от него.*

Филарет.

Надо не вешаться, а постепенно давиться петлей: эта смерть приятна.

*

Сажу у могилы Гилярова-Платонова. Летний вечер. Пьяный молодой рабочий, шатаясь, подходит: — Здесь похоронены подлецы! Положительно одни подлецы! Елена Павловна Виноградова мать ее... Одни подлецы! Никита Петрович Гиля-

Мы с удовольствием печатаем "Заметки" Б. Саловского, присланные нам из Финляндии. *РЕД.*

Борис Александрович Саловский (псевдоним Садовской), род. в 1881 г., умер в 1952 г., в Москве. Замечательный литературный критик. Сотрудничал в журнале московских символистов "Весы", но был внутренне чужд символизму, и по вкусам, влечениям был ближе к акмеистам. Издал несколько сборников стихов, напр., "Самовар" (1914 г.). Интересны его исторические повести — "Двуглавый орел" (о Потемкине) и другие. Подчеркивал свою верность монархии. В 20-х г.г. было издано несколько его книг. В последние годы жизни тяжело болел (паралич). В его "Записках" немало несправедливых отзывов и неверных замечаний. Так, ничего точно неизвестно о связи К.Н. Леонтьева с его племянницей Марией Владимировной Леонтьевой. Она умерла в 1927 г., жила при монастыре, но не постриглась. Суля по его Запискам советского времени, Садовской во многом разочаровался и был очень озлоблен. Его яркий портрет находим в "Петербургских зимах" Георгия Иванова. Андрей Белый часто упоминает о нем в своих воспоминаниях. В США о Саловском была написана докторская диссертация. *М. М.*

ров-Платонов! Подлец! Положительно похоронены одни подлещи!

Вот и Никита Петрович дождался эпитафии от русского народа.

*

Зачем складывать руки, когда настало время раздвигать ноги.

*

Победоносцев женат был на Екатерине Александровне Энгельгардт, смоленской дворянке. Она его лет на 40 моложе. У Победоносцева на столе всегда лежал портфель с 30 тыс. "сбережений" и с запиской на имя "Катеньки". Она от наследства отказалась в пользу мужниной родни и получила 12 тысяч пенсии. Дом их в Хлебном переулке в Москве — два флигелька; городская управа запрещала эти флигельки ремонтировать ввиду их ветхости. После смерти Победоносцева усадебное место купил прокурор Виппер.

*

Приезжая в Москву, Победоносцев останавливался в Славянском базаре. В 7-м часу утра шел в Хлебный переулок. В дворницкой ставили ему самовар; здесь он пил чай, давал хозяйственные распоряжения дворнику. Победоносцев умер от астмы. Огромный архив его весь погиб.

*

Я женщина физическая.

*

Позвольте предложить Вам сердце, руку и всякую штуку. — Духи, цветы и помидор.

Леонтьев жил с племянницей Марией Владимировной. Связь началась до 1871 и кажется продолжалась позже. Она потом постриглась и умерла несколько лет назад.

*

Могилы Леонтьева и Розанова скрыты и сравнены с землей, на их месте площадка для футбола.

*

Могилу Салиаса я в Новодевичьем в этом году нашел.

*

Хитрее еврея на два аршина.

*

Студент разошелся с женой и чтобы не платить алиментов отравил сына.

*

Теперь мы не едим, а только закусываем.

*

В 1924 году за границей разнесся слух, что я умер, и Хода-севич в одном журнале поместил мой некролог.

*

Обер-кондуктор рассказывал мне в Петербурге в 1923 г. Я видел, как Керенский провожал Государя на вокзале перед отъездом в Гобольск. Государь был в темном пальто и коричневой фуражке. Прощаясь, Керенский протянул ему левую руку. Мы спросили его потом: Почему вы подали Н.А. не ту руку? — Мне так хотелось. С Государем ехал только один камердинер сказавший: "На куски меня разорвите, а я его не оставлю".*

*

Поговорка Распутина: — По доброму, по хорошему.

* Эта запись представляется неправдоподобной. Кто лично знал А.Ф. Керенского, знает, что он был человеком прекрасно воспитанным и такой невежливости сделать не мог. Кроме того, известно (и об этом было в печати), что после личных встреч с арестованным государем А.Ф. говорил, что государь произвел на него, как человек, очень хорошее впечатление, и никакой враждебности у Керенского к государю не было. Далее, Керенский, Милюков и другие члены Временного Правительства пытались спасти царскую семью, хлопоча о выезде ее в Англию. Но этому воспротивился Ллойд Джордж. А на переводе царской семьи в Гобольск настоял всеильный тогда Совет Рабочих депутатов. У А.Ф. Керенского есть свои "грехи" (это тема особая), но "рассказ обер-кондуктора" — неправдоподобен. Непонятно тоже о каком "только одном камердинере" речь. Царскую семью не покинули Илья Гатищев и доктор Боткин, разделившие ее мученическую смерть. "Голько один камердинер" неизвестен. *Р.Г.*

Баронесса Кусова не хотела есть с ним из общей чашки. — Ишь ты говенная баронесса — погоди будешь помои жрать. Эти слова Кусова вспомнила в тюрьме после революции, когда принесли ей под видом похлебки отвратительную бурду.

*

Эта запись будет последней.

Боже, помоги! Помилуй меня и мою бедную Надю!

Прощайте, бумага и карандаш! Здравствуй, простая человеческая жизнь.

(30 ноября. 1890-1932)

МОСКВА, 1932

Собственная квартира в Новодевичьем монастыре, под Красной Церковью.

Разве Тебя мы не знаем?

Мимо Тебя не минуем.

*

Акафист преп. Серафиму составил о. Восторгов
быть во своих (дома).

Мирствуйте и здравствуйте

Мой путь: от Фета к Филарету.

*

Голстой, ты доказал с умением и талантом,

Что женщинам не следует гулять,

Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом

Когда она жена и мать.

*

Граф А. Д. Апраксин и друг его, оба лейб-улань, вели по Невскому на розовых ленточках двух поросят. Александр II встречает их, велит стать на запятки своих саней и часа три катается по Петербургу в сильнейший мороз.

*

Алекс. I — Благословенный, Ник. I — Незабвенный, Ал. II — (неразборчиво)

*

Бог есть непреклонная необходимость, которую Христос изменить не может.

*

Наместник Антоний послушнику, несущему куриные ножки:
— Это что?

— Рыбьи лапки, в. п. — Ну, носи с Богом!

*

У нас был скрытый процесс от самодержавия до коммунизма. Гнойник вскрылся вдруг. История наша с 988 по 1918 была недоразумением.

*

Игнатий Брянчанинов советует для мирян *внимание* и только. Контроль над собой, особенно по вечерам и покаяние. Молитву Иисусову читать постоянно, но без попыток войти в сердце и т.п. Все эти попытки без надлежащего приготовления и очищения ведут к страшной гибели.

*

Ирония в женщине нестерпима. Иронизирующая женщина чудовище.

*

Имп. Александр III на смотре снял шапку; солдаты зашептали: "Лысый, лысый. Царь-то лысый". Государь усмехнулся.

*

Проезжая мимо Главного Штаба, Государь (Алекс. III) приветствовал гуляющих писарей. Те, растерявшись, не ответили. Потом писарям было внушено отвечать, но без выговора и в форме патриархальной.

*

Потому и "времени больше не будет", что тотчас после

смерти дух мой оставит землю, — и движение, т.е. время для него прекратится.

*

Еще можно бы понять "прогресс", если бы земля неслась по прямой линии в бесконечное пространство, но когда приходится вращаться по избитой дорожке вокруг солнца, о каком прогрессе можно говорить?

*

МОЯ молитва. Господи, верни меня к истокам дней моих. Ущедри, Боже, руку Твою!

*

Андрей Белый в "Петербурге" похабит Россию; я в "Истоках дней" благословлю ее. 1 сент. 1932.

*

Теперь из всего Островского ставят только "Лес" да кое-где изредка "Без вины виноватые".

*

П. И. Бартенев Снегиреву. — Два раза в году коленопреклоненно молиться о Его здоровьи — вот ваша конституция!

МОСКОВСКИЙ ХАОС

Москва ломается, рвется на отдельные миры, дробится. Враждебные миры, исчезая, борются в ней.

Стародворянский мир. Осевшие особняки на Поварской, на Сивцевом Вражке, необитаемые, отданные в наем... дряблые выродки; отживающая челядь, обрывки семейных преданий, давно никому не нужных, сословные традиции, потерявшие всякий смысл.

Мир новокупеческий: Гит-Гитычи в модных смокингах и Акульки в парижских туалетах; их краснощекие сынки в мундирах катковского лица, палаццо с гобеленами и картинами, декадентские издательства; художественные коллекции.

Далее мир литературный, бюрократический, Бунин и дешевая

брюсовская культура. Малый театр и синемаграф, Суриков и Пикассо. Английский клуб и литературно-художественный кружок. Псовая охота графа Шереметева и автомобильные гонки. Кремлевский благовест и стрекотанье аэроплана. Извозчики и трамвай. Иловайский и Гершензон, "Московские ведомости" и "Раннее утро", трешотки ночных сторожей и фабричные гудки.

Выйдешь на улицу: всюду борьба обреченных миров. Иногда прошлое до того выпирает, что становится ясно осязуемым, почти осязаемым. Вот церковка времен первых московских царей. Вот храм, где Елизавета Петровна венчалась с Разумовским. Вот дом Дениса Давыдова. Здесь отпевали Василия Львовича Пушкина. Здесь страдал и скончался Гоголь. Воспоминания на каждом шагу. Но одним минувшим разве прожить; а изнанку бытия, что сочится из старческих пор не только Москвы, но и всей Российской империи, можно ли считать жизнью? Ведь русская история кончается; неумолимый химический процесс овладел бесчувственным телом разлагающейся России.

А сердце равнодушно. Исчезают боярские особняки. Не все ли равно: скоро и совсем не будет. Один за другим умирают Ленский, Плевако, гр. Салиас, Забелин. Я не иду провожать их: ведь вся Москва...

Мир представителей свободных профессий: миры неприкаянные и никчемные.

Кто теперь помнит юбилей Гоголя? Безграмотно-безвкусный монумент, казенное торжество, отметки Гоголю, проставленные Толстым, тучи газетной лжи и скандальная речь Брюсова. Вот кончился гоголевский праздник. По Пречистенскому бульвару самодовольно проходит один из почетных его участников, актер Южин. Блестящий цилиндр так и лоснится над бритым лоснящимся лицом.

Московские миры соприкасаются. Скромный дом Шереметева в Шереметевском переулке и чудовищные хоромы Морозова на Воздвиженке. Обильная житница "Русского архива" и золоченый орех издыхающих "Весов". Строгое творчество рухнет завтра в общую могилу. Осенью ждут Льва Толстого.

Ну, что ж. Я могу с ним познакомиться... А зачем? И так жутко внимать увлекательным рассказам П.И. Бартенева: точно слушать великолепную панихиду над самим собой.

Близится эпоха войн и военных слухов.

*

Я уже начинал входить в моду, и в этот приезд богатый еврей-петербуржец пригласил меня на чай. В роскошной столовой закуски, ликеры, фрукты. Все хорошо, но не хватает чего-то. Как будто дует из углов и на стенах паутина; все, кроме меня, евреи. И между ними сознавал я себя каким-то обсосанным леденцом.

*

В январе 1911 года, приехав ненадолго в Петербург, я решил во что бы то ни стало побывать у Розанова. С бьющимся сердцем взялся я за телефон. — "Кто говорит?" — "Василий Васильевич, вы меня все равно не помните, я нижегородец, с вами в переписке. Позвольте вас посетить". — "Да цель-то посещения какая?" — "Никакой, просто увижу вас". — "Ну, приходите вечером".

В девять часов я был на Звенигородской, Розанов встретил меня в передней на пороге кабинета с серьезным видом, с неприятливым лицом. Едва я заговорил, он широко улыбнулся и ввел меня в кабинет.

Не понимаю, как это могло случиться: в час с небольшим рассказал я всю свою жизнь. Выслушав меня, Розанов заметил: "А вы человек с характером". Весь вечер вспоминал он Нижний, Покровку, Черный пруд. В Розанове я нашел ту задушевную нежность, что пленяла меня в статьях, его ребяческие жесты, шаловливая походка. Ни дать ни взять переодетый гимназист.

Василий Васильевич подарил мне несколько своих книг, ласково проводил меня и поцеловал на прощание.

В "Уединенном" есть отрывок "Голубая любовь", где упоминается о бывшей невесте Константина Леонтьева, З. Я. Остафьевой, важной даме, начальнице Нижегородского Мариинского института. Из двух ее дочерей одна и была голубою

любовью "рыжего Васеньки", как звали Розанова одно-классники.

*

Прежде я любил Розанова почти до обожания. Соловьева же не очень. Теперь наоборот. Соловьеву я многим обязан, особенно последнее время. Его могила видна из моих окон. Он действительно помогает мне. *Respice finem*. Сравни конец Розанова с концом Соловьева и многое уяснится. Розанов строил свое ветхозаветное счастье на семье — семья его шумно распалась еще при жизни отца. Все его учение — импровизационная чепуха, последователи его — Зубакина и т. п. наглые идиотихи. У Соловьева — стройная христианская система в соответствии с жизнью. Никогда Соловьев, доживи он до 1917 г., не унился бы так, как Розанов. Да что Розанов — на пробном камне православия даже Пушкин оказывается так себе. Поэт — и только. Блестящий стиль у таких писателей как Пушкин или Розанов чешуя на змеиной коже. Привлекает, отвлекает, завлекает. А как в настоящий возраст войдешь, вся пустота их сразу откроется.

Б. А. Садовской

ПО ПАМЯТИ, ПО ЗАПИСЯМ

РАЗГОВОРЫ С БУНИНЫМ (III)

Читатели "Жизни Арсеньева" едва ли обратили достаточно внимания на как бы случайно вкрапленную в повествование фразу о том, что "воспоминания — нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже молитва о спасении от них". Между тем, мне представляется, что это не только одна из ключевых фраз бунинской книги, но ее никогда не следует упускать из виду, вспоминая Бунина — человека и писателя.

Вероятно, чтобы быть логичным, я должен был бы сожалеть о том, что неведомы мне слова той молитвы, на которую ссылается Бунин, потому что воспоминания о нем то и дело проносятся передо мной и тогда многое не терпится занести на бумагу, хотя — сам я плохой судья — иной раз эти воспоминания было бы уместнее вытравить из памяти. Но Бунин — большой русский писатель, несомненно один из самых значительных за первую половину нашего века и оттого мне кажется, что любая памятка о нем необходима для будущего и незачем обходить молчанием некоторые теневые стороны его жизни, разбавлять их розовой водицей и этим способствовать распространению "легенд". Это, по-моему, тем более необходимо, что сам он порой забывал прошлое, то приукрашал его, сам того не замечая, то сгущал краски, не для того, чтобы кого-то разжалобить, а просто в силу своей художественной природы, неизменно преображавшей пережитое. А кроме того, часто он говорил одному одно, а другому о том же другое, так сказать, по настроению. А ведь как-никак кому как не ему суждено "стать достоянием доцента и критиков новых плодить".

*

Мне уже приходилось вкратце описывать мое появление в Грассе на бунинской "Жаннетте" поздней осенью сорокового года, такого трагического для Франции, и как этот визит оказался словно внушенным мне моей доброй феей. Действительно, трудно учесть, как бы сложилась моя жизнь, если бы я тогда, будучи в силу слепого случая демобилизован в Сент-Максиме, одном из курортов средиземноморского побережья, не вздумал "забрести" в Грасс перед тем, как принять дальнейшие решения.

Помимо привязанности к Бунину, мой визит в Грасс был еще продиктован тем, что пока я был в армии, я вел учащенную переписку с его женой Верой Николаевной и был у нее в "фаворе". Надо сказать, что ее длинные письма, приходившие по полевой почте, были для меня своего рода праздником и я могу только сожалеть, что они не сохранились. Эти письма несомненно представляли бы определенный историко-литературный интерес. В них со свойственной ей дотошностью, наряду с описанием всевозможных мелочей и курьезов парижской литературной жизни в военные месяцы, неизменно, пускай даже чуть однобоко, но все же достаточно рельефно и не без крупицы иронии, восстанавливалась некая хроника бунинского быта. Потому я заранее в общих чертах мог догадываться об атмосфере на "Жаннетте", в которую Бунины со своими домочадцами возвратились незадолго до моего посещения.

Да, после вступления в войну муссолиниевской Италии они, чтобы спастись от возможных напастей (до итальянской границы было "рукой подать") бежали из Грасса и, кстати сказать, по их собственным признаниям, ничего более нелепого, чем это бегство в каком-то ветхом, полуразваливающемся такси, двигавшемся на древесном угле по запруженным беженцами дорогам Франции, трудно себе вообразить. Если бы не трагизм положения, описание их бесцельного мыканья из Грасса в Монтобан (а это тысяча с чем-то километров) и почти сразу же обратно было бы с руки одному только Лейкину.

*

Мне не хочется здесь говорить о себе, но все-таки я должен

отметить, что мне не раз приходилось читать (даже в советских изданиях), что я, мол, пришел к Бунину с "просьбой приютить меня", что я на "Жаннетте" скрывался". Когда я приехал в Грасс, я был еще в военной форме, никакой другой одежды у меня не было и мне в голову не могло тогда прийти, что придется от кого-то скрываться. Я всегда был фаталистом и жил у Буниных легально, под своим именем, получал письма, имел все виды "карточек". А когда появились немцы, меня, как и всех грасских жителей поочередно, мэрия повестками вызывала на рытье каких-то ерундовских окопов и установку проволочных заграждений, которые свалились бы от одного порыва сильного ветра. Затем — и это было страшнее всего — я получил приглашение явиться в "S.T.O." "Service obligatoire du travail" обязательная трудовая повинность", то есть отправка на работы в Германию. Я предстал перед синедрионом врачей, с радиографиями под мышкой. Не буду распространяться, хотя это посещение страшной комиссии могло бы стать темой небольшого трагикомического рассказа, но в результате каких-то чёрных пятен на моих радиографиях я был признан непригодным "в нулевой степени". Я до сих пор сохранил эту бумажонку, которая, вероятно, спасла меня, когда я незадолго до освобождения был арестован эсэсами. Можно ли тогда говорить, что я "скрывался"?

*

Когда я очутился на "Жаннетте", бунинское "семейство" состояло из четырех "душ" — кроме самих Буниных с ними жила Галина Кузнецова и сестра философа Степуна, Марга, певица, обладавшая сильным характером и недюжинным голосом, в прошлом выступавшая на некоторых провинциальных немецких оперных сценах, а теперь улаждавшая редких гостей пением "Ich grolle nicht". Зуров, неперменный член бунинского "семейства", тогда еще не приехал, он был где-то на излечении и появился несколько позже.

Галя и Марга, именовавшиеся "барышнями", обитали наверху, в так называемой "башне", и мне почти сразу бросилось в глаза, насколько они были неразлучны, как редко спускались вниз по одиночке. Не надо было быть чародеем, чтобы

обнаружить, что они тяготятся пребыванием в бунинском доме и только ждут случая, чтобы из него "выпорхнуть" и самоопределиться.

Забегая вперед, укажу, что случай этот совершенно непредвиденно представился им примерно год спустя и они смогли на время перекочевать в Канны, а затем уехать под крылышко Степуна в Дрезден. Впрочем, там их ожидали невеселые события: во время пресловутой бомбежки саксонской столицы они, хоть сами уцелели, но потеряли все свое имущество, даже носового платка не осталось.

Иван Алексеевич счел этот "отлет" его домочадцев, с которыми у него тогда установились довольно прохладные отношения — что было естественно — все же счел изменой, долго не в силах был с этим примириться и весьма не по-светски порвал с той французской литературной дамой, которая этому "отлету" содействовала и была под влиянием своего старого друга, Андре Жида, пламенной поклонницей Бунина.

Но я отклонился от темы. Вспоминая эти безрадостные в их однообразии дни, мне думается, что в бунинском решении приютить меня и не выпускать из-под своей опеки (он потом неизменно брюзжал, когда я на несколько дней покидал Грасс и отправлялся проведать старых приятелей, в Ниццу или Канны, а когда я только заговаривал о том, чтобы покинуть его гостеприимный дом, он буквально приходил в неистовство) некоторую роль попервоначалу сыграли именно "барышни". Им непременно хотелось видеть на "Жаннетте" человека "нейтрального", который внес бы известное равновесие в жизнь виллы и мог стать своего рода звеном между двумя "враждующими коалициями".

*

В одну из первых недель моего прибывания под бунинской крышей, после того как все домашние уже разошлись по своим комнатам, Иван Алексеевич появился у изголовья моей лежанки. Благо осень была совсем теплая и я еще тогда спал на застекленной веранде.

Он пододвинул стул к моему изголовью и затеял длинный разговор, жалуясь на свою участь или, как он говорил, на "вели-

чие и падение” Бунина, говоря о своем нынешнем положении “нишего старика”, которого ни за что, ни про что честит какой-то нахальный садовник. Вот, мол, когда-то интервьюеры вертелись вокруг него, как пчелы вокруг сот, а теперь он нищ как Иов и никому в мире до него нет дела.

Особенно пессимистично он смотрел на будущее, которое в те дни, действительно, должно было казаться мрачным. Исход битвы за Англию еще не определился, а подцензурные французские газеты да заодно с ними и “Журналь де Женев”, который иногда еще можно было купить в киосках, шумели о гитлеровской непобедимости. Между прочим, потом Бунин признавался, что умышленно сгущал свой пессимизм, чтобы, не дай Бог, не сглазить.

Чувствовалось, однако, что говорить со мной в этот вечер ему хотелось совсем о другом и он по началу только кружил вокруг да около, перескакивая с одной темы на другую, словно с трудом поднимаясь по некой воображаемой винтовой лестнице.

После короткой паузы — он докурил папиросу и сразу же вставил другую в свой вишневый мундштучок — без малейшей связи с предыдущим вдруг спросил, словно выстрелил:

— А почему вы не цените моих стихов? Я, ей-Богу, недурно писал — он улыбнулся — но для вас они, конечно, недостаточно пряны и изысканны. Вас съел Блок.

Мне было трудно ему ответить да едва ли он моим ответом и интересовался, потому что тут же добавил, что, по словам Горького, какие-то его стихи хвалил Толстой, который вообще к стихам относился “свысока”. (Я запомнил это бунинское словцо!).

— Иван Алексеевич, мы когда-то уже с вами на эту тему говорили в Париже, когда после выхода тома ваших избранных стихов, я клянчил у вас экземпляр этой книги, а вы якобы не хотели мне его подарить и только чуть попозже, вняв моим “слезам”, вытащили экземпляр откуда-то, чуть ли не из-под кровати. Он прервал меня: “ах, негодяй, запомнили-таки, что я люблю укладывать новые книги под кровать, чтоб не сперли, заглянуть туда никто не догадается”.

— Вы тогда и надписали на нем что-то вроде “Аля, зачем вам мои стихи”, поставив тут же целую колонку воскли-

цательных знаков. (Том этот у меня сохранился и бунинское посвящение я в точности запомнил).

— Неужто? Значит, зря я вам его преподнес. Неужели вы не сумели оценить хотя бы моих строк о последнем шмеле?

”Не дано тебе знать человеческой думы,
Что давно опустели поля,
Что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый
Золотого сухого шмеля!”

Я много раз слышал, как Бунин читал свою прозу, но, кажется, в этот осенний вечер я впервые услышал, как он наизусть читает свои стихи. Несмотря на безыскусственность его чтения, на отсутствие в нем малейшего напряжения, эти строки до сих пор звучат в моих ушах.*

— Ну, что, продолжал он, разве это хуже швырянья ана-насами да еще в небеса! Впрочем, вы несомненно приняли бы ближе к сердцу одну из самых ранних моих вещей, которую начал сочинять еще в Ельце, будучи гимназистом, значит, как вам известно, как бы под столом еще ходил, а закончил, когда уже жил на приволье в имении моей бабки. О, это был ”роман в

*Отмечу тут же, хоть это было много позже, что как-то, неизвестно по какому поводу, я декламировал при Иване Алексеевиче плохенькие стихи Эренбурга, сплошь надуманные, потому что зная его, могу предполагать, что он был подвержен морской болезни:

”Я любил ветер верхних палуб,
Ремесло пушкаря,
Уличные скандалы,
Двадцать пятое октября...”

— Чьему изысканному перу принадлежит этот шедевр? — спросил Бунин. — Плоско и лживо. Но это чёрт знает что такое, как все вы уже двадцать пять лет по одному шаблону читаете стихи, не считаясь с их содержанием, не индивидуализируя их.

Передразнивая меня, он долго скандировал:

”Меня положат в про-дол- говаатый ящик,
Свидетель стооооких изме- эээн...”

— Я и вашему Ходасевичу не раз об этом говорил, но он оправдывался тем, что и Пушкин, мол, подпевал стихи. Не верю, а если подпевал, то это были именно такие, которые требуют напевности, а вы все в одну кучу валите.

стихах” — “Петр Лихачев”. В чем там было дело, конечно, не помню, помню только, что мой роман был не чужд народнических тенденций, которые, честно говоря, были от меня дальше, чем Большая Медведица, но эти тенденции носились в то время в воздухе и я ими невольно заразился. Подумал, что с ними будет “вкуснее”. Я был тогда очень горд моим созданием — но, кажется, в его оценке я был вполне одинок! Я вам на сон грядущий прочту оттуда несколько строк, которые почему-то врезались в память.

Мне до сих пор досадно, что я тогда же не записал весь фрагмент его “романа в стихах”, который он продекламировал. Впрочем, я думаю, что записывать его строки он бы мне не позволил. А на утро я запомнил всего лишь две строки из начальных строф — запомнил, потому что, вероятно, не понял их смысла, хоть и записал в тетрадь.

“И над калиткою стояло:
Сей дом четвертого квартала...”

Это, вероятно, самое раннее, что дошло до нас из всего бунинского творчества. А объяснил он мне смысл этих строк на следующий день: оказывается в те допотопные времена в Ельце на каждом доме красовалась ржавая, жестяная дощечка с надписью — “дом мещанина такого-то, такого-то квартала”, а номеров у домов не было.

Тут же он стал рассуждать на тему о том, как он мудро поступил, бросив гимназию, в которой пытались втискивать в него никому не нужные знания и не давали того, что могло впоследствии пригодиться, и каким мудрым был его отец, который не принуждал недоучившегося четырехклассника вернуться в опротивевшую ему гимназию. Зато потом с помощью брата он сам себя образовал, четыре года всецело отдав чтению, изгрызая любимых поэтов. “К ним, словно каясь произнес он, притесался и Надсон. Не взыщите, время было такое, но эта “любовь” продолжалась у меня недолго. Вы ведь хорошо знаете, что я не следую моде — и тут, еще раз, чтобы “уколоть” — не всегда питаюсь “ананасами”!”

За этим и без малейшей логической связи с “ананасами”, он спросил, читал ли я Саади и, в частности, замечательный его

”Гюлистан” и если читал, то запомнил ли слова великого перса о том, что ”у всякого клада находится стоглавый дракон, который этот клад оберегает”?

”К чему бы это”, подумал я про себя.

Он точно угадал мои мысли. ”Нет, это я так, просто вспомнилось, а то ведь если произнести имя Саади, все сразу тычут вам в нос — ”иных уж нет, а те далече”. А тут, собственно, и мудрости нет. Да, милый мой, вам еще не дано знать и радуйтесь этому, что мерещится старикам ночью, когда им не спится. А пришел на память Саади собственно потому, что всяческих драконов вокруг нас видимо-невидимо, даже если никакого клада у нас нет и в помине. Есть драконы большие, большущие, которые иногда завывают по радио, но есть и малые, которые царапаются пребольно. Они до поры до времени затаились, но погодите... вы еще вспомните старика!

Тут он стал значительно (как мне тогда казалось) сгущая краски, излагать ”соотношение сил” в его доме.

— Вы вот думаете, что все у нас идет как по маслу. А ведь никакого масла мы и по продовольственным карточкам не получаем! В этой английской вилле вы уже несомненно успели рассмотреть — знаю ваше библиофильское пристрастие — стоящие внизу шеренгами какие-то мудрёные богословские фолианты (владелица виллы была вдовой англиканского пастора), ткнулись носом в стоящую в саду, заслоненную деревьями, заколоченную часовенку, которую нам не велено открывать, и вот вы невольно думаете, что очутились в тихой пристани. Между тем, это одна видимость... В этом полузатерянном и, слава Богу, полузабытом всякими злыми людьми — а вы даже толком не знаете еще, как их на свете много (”злых людей на свете много” — была одна из любимых его присказок, которую он вставлял в разговор кстати и некстати) — оазисе пока всеспокойно и закономерно, если не считать, что подаваемую к обеду и возвешаемую гонгом бурду мы по традиции продолжаем именовать супом. Да здесь все пока спокойно, но так же спокойно, как спокойно было на Шипке! Вы бы в свое время спросили у Немировича-Данченко, как там было... Но теперь мы вступаем в полосу блаженных ”роковых минут”, пропади они пропадом. Что Тютчеву могло примерещиться? Скажите на милость, какие

такие "роковые минуты" он переживал? Кажется, самой "роковой" была та, когда его выставили из Турина и он лишился своего дипломатического поста! А все-таки я из упрямства об этих минутах, даже более серьезных, и помышлять не хочу. Я предпочитаю уподобляться страусу и зарыться головой, если не в песок, то в мою подушку и принять легкое снотворное. Но я о другом. Вот скоро, чуть ли не на днях, прикатит сюда "скобарь" и тогда вы, а заодно с вами все жители "Жаннетты" запоют уже по-другому...

Я переспросил его: "Скобарь"? Какой такой "скобарь"? Что это за бука такая?

— Ну, не прикидывайтесь, ведь вы его хорошо знаете, хотя, может быть, недостаточно хорошо. Вы его встречали только "на людях", а это другое дело, зато теперь узнаете поближе. Вы уже, конечно, догадались, что я имею в виду Леню (Зурова). Ведь он родом из псковского края, это у него на бровях написано, а в старину псковичей и прозвали скобарями.

В то время Бунин за глаза частенько величал Зурова "скобарем", но открыто этого прозвища применять не решался и мне до сих пор не удалось в точности установить был ли в этой кличке какой-либо пренебрежительный оттенок.

Было естественно, что после этой тирады я стал недоумевать, хотя был уже осведомлен о непрестанных трениях, возникавших между Буниным и Зуковым. Все-таки мне еще было не вполне понятно, как же к человеку, который уже годами живет под его крышей (а Зуров с редкими промежутками прожил у Буниных до самой их смерти, унаследовав часть их парижской квартиры, а заодно с ней и архивы Ивана Алексеевича), человеку, которого он сам выписал из Прибалтики, которому по началу всячески литературно покровительствовал, мог он относиться с такой нескрываемой неприязнью? Мне хотелось разгадать, было ли это у Бунина постоянным чувством или минутной вспышкой.

Оказалось (и это я мог обнаружить только впоследствии) отношения между ними были не только нелегкими, но настолько запутанными, что распутать их уже не было возможности. Сознание того, что, может быть, через час - другой ему предстоит вступить в какие-то препирательства с одним из своих

сожителей, выдержать очередной наскок, неизбежно накладывало известный отпечаток на последний период жизни Бунина, действовало на его нервы.

Отношения между этими двумя людьми, если их можно было бы изобразить графически, шли неравномерными зигзагами, иногда поднимаясь, чтобы затем резко упасть. Бывали, конечно, периоды, когда Бунин был даже рад обществу Зурова, его присутствию, спорам с ним, несмотря на то что они всякий раз кончались взаимной пикировкой и каждый из них пытался всадить в другого какие-то "бандерильи" и тут же, как полагается по правилам тавромахии, отступить, чтобы подготовиться к новому нападению.

Время было военное и иной раз, прослушав лондонские радиопередачи, которые порой удавалось разобрать через глушение, Зуров с напускной важностью объяснял Бунину ход военных операций. Он был всеми жителями "Жаннетты" признан домашним Клаузевицом и перед его военным авторитетом Бунин вынужден был пасовать. Никакие стратегические движения, никакие диспозиции в его голове не укладывались. Он был человеком глубоко штатским и только негодовал, что события разворачиваются в слишком медленном темпе.

Зато иногда (точно его какая-то муха укусила) он начинал Зурова ненавидеть и это сразу выходило у него наружу. Можно было тогда заметить, что в такие минуты в разговоре с Верой Николаевной он упоминал Зурова не иначе, как "твой воспитанник", и потом, чтобы ее поддеть, громыхал — "уже Чехов говорил, что если человек не понимает шуток, то пиши пропало... а твой воспитанник подлинно меднолобый — шуток не понимает, женщин боится, не только никогда не был влюблен, но никогда ни с одной никаких шашен не заводил, даже не пытался. Тоже мне прекрасный Иосиф... Меня не провести — я знаю, где собака зарыта..."

Отношения между Буниным и его "подопечным" подлинно складывались волнообразно чуть ли не со дня его появления на бунинском горизонте. Многие мне оставались в этих отношениях непонятным, даже когда я бывал непосредственным свидетелем происходившего, но многое мне потом объяснил милый, хоть и во многом наигранно наивный "Грасский

дневник" Галины Кузнецовой. Отмечу, при этом, что получив от нее ее книгу с надписью "в память далеких южных дней", я очень внимательно прочитал ее и потом спросил (мы оба жили тогда в Мюнхене) — как же так вышло, что она в своем дневнике с укоризной пишет о том, что "в нашем литературном кругу все всего боятся — боятся говорить, высказывать прямо мысль, суждение о ком-нибудь. Вдруг передадут? Вдруг выйдет сплетня? И от этого говорят только то, что безопасно, то есть пресно, скучно, обще, никому не нужно, без красок. Все друг друга боятся", а на поверку выясняется, что, издавая свои записи примерно через сорок лет после описываемых ею происшествий, сама она, то и дело, чего-то побаивается, чего-то не договаривает и пытается нарисовать грасскую довоенную жизнь, тогда еще на вилле "Бельведер", как некую идиллию, хотя когда ее дневник вышел из печати, мало кто уже оставался в живых из тех, кто был действующим лицом на страницах ее книги.

Бедная Галина отвечала довольно неопределенно. "Ах, всего, милый мой, не скажешь. К тому же я опубликовала только небольшую часть моих записей". С моей точки зрения — и я не скрывал от нее моего мнения — эта "застенчивость" не была достаточным оправданием, тем более, что она отчасти умаляла ценность книги, которой будущим биографам Бунина придется пользоваться с оглядкой на то, что Кузнецовой не хотелось писать *обо всем* и она "наводила тень на ясный день". Психологически это, конечно, понятно, потому что, хотя викторианские времена и безвозвратно миновали, ее собственное положение не было вполне "нормальным" — непривычным на "Бельведере" и вдвойне непривычным в период житья на "Жаннетте".

Кузнецова в "Дневнике", между прочим, описала, как произошла эпистолярная встреча Зурова с Буниным. Зуров прислал на суд Ивана Алексеевича, которого он, мол, издали "боготворил", свою первую (и лучшую) книгу "Кадет", за которой вскоре последовала и вторая, тоже изданная в Риге, "Отчина". Обе книги попались на глаза Кузнецовой, Бунин куда-то их ткнул, не читая. Кузнецовой они пришлись по вкусу, она их разрекламировала и настояла на том, чтобы Бунин ознакомился с ними. "Кадет" понравился ему, он учуял в книге свои соб-

ственные, бунинские акценты, а он грешным делом всегда бывал неравнодушен к своим эпигонам.

Сейчас уже малопонятно, как в "Отчине" его не оттолкнули хотя бы такие описания, как "Псков выплывал из туманов лебединым станом", которые своей васнецовской псевдо-красивостью привели в восторг Галину, но были всегда так ненавистны Бунину. Сколько раз он насмешливо корил Блока за "лебедей, кричащих над Непрядвой", а тут под кузнецовским влиянием как бы на время прошел мимо них.

Как бы там ни было, как описано в "Грасском дневнике", Бунин "из самых благородных побуждений и вполне просто-душно" решил посоветовать Зурову перебраться во Францию, стал через друзей хлопотать для него о французской визе, что тогда было связано с большой волокитой, и стал давать Зурову всевозможные советы, как и где устроиться в Париже. Впрочем, едва ли "практическая жилка" Ивана Алексеевича способна была сослужить службу кому бы то ни было!

Прошел год после получения "Кадета" и Зуров с кульком антоновских яблок (знал чем поддеть!), плетенкой клюквы и большим караваем чёрного хлеба, казавшегося, по словам Галины, "обломком лаврского колокола", появился на бунинском "Бельведере". "От него веяло древлянами и половцами", добавляла она и тут ей нельзя отказать в меткости.

Зуров быстро вошел в жизнь дома, но — я еще раз цитирую Кузнецову — "нельзя сказать, чтобы слился с ней". А когда он более или менее освоился, сразу перестал играть в "ученика", стал мечтать о полной самостоятельности и независимости, непременно хотел все делать "не как Иван Алексеевич" и досаждал довольно беспомощной Галине тем, что зазорно и не по возрасту им обоим быть на положении каких-то "полудетей". Это было вполне естественно для человека, который любил прибегать к формуле — "мы — писатели..."

Однако... однако в Париже Зуров должен был подыскать себе какое-нибудь пристанище, но все кончилось тем, что в бунинской столовой поставили ему кушетку (он только позже переселился в отдельную комнатёнку) и на Оффенбаховой улице прожил он до конца своих дней. Было поэтому нормально, что постоянное присутствие постороннего человека в маленькой

квартирке, когда от глаза этого человека ничто никак не могло скрыться, раздражало владельца квартиры, который свое недовольство нередко переносил "с больной головы на здоровую", то есть на мало в чем повинную и внешне покорную Веру Николаевну.

В "Грасский дневник", словно невзначай, вклинилась одна запись, на которой, пожалуй, стоит задержаться. Описывая периодически происходившие и всегда шумные, всегда с насками споры о Достоевском (они продолжались и в военные годы и всегда в несколько накаленной атмосфере), Галина отметила, что Вера Николаевна как-то довольно неожиданно обмолвилась, что "Достоевский ей многое объяснил и в самом Иване Алексеевиче и в жизни всего их дома". Надо надеяться, что эта фраза не дошла до ушей Бунина и что она вырвалась у Веры Николаевны необдуманно, вернее, что ей не могло тогда прийти в голову, что кто-либо ее слова "увековечит". А между тем было немало глубокой правды в этой примитивно понимаемой "достоевщине", которая нередко выскальзывала на поверхность их общей жизни. Она невольно создавалась в той нарочитой атмосфере, которую Бунин, не отдавая себе в этом ясного отчета, создавал сам, в той напряженности и накаленности, которая из-за этого возникала и не могла не возникнуть. Какой-то "ехидный", неласковый огонек всегда тлел под тем, что могло уже казаться пеплом и всегда мог нечаянно разгореться. Вера Николаевна была отчасти права и стоило бы только вспомнить иные сцены из "Села Степанчикова", чтобы понять, что ее замечание — выражаясь избитым штампом — было "криком наболевшей души", очень наболевшей и тем более для нее мучительной, что свою боль она непременно хотела от всех скрыть.

А Иван Алексеевич, обычно сдержанный, часто не дослышав то, что ему было сказано или в чем-то не разобравшись, мог вдруг вспыхнуть и разъяриться, наговорить много лишнего, написать ненужно резкие оскорбительные письма, в конечном счете приносявшие вред только ему самому и создававшие у него репутацию "скифа" — это словцо в применении к нему вырвалось у Андре Жида, который очень его ценил и литературно, и лично, хоть и знал очень мало. Впрочем, должен оговориться и подчеркнуть, что за четыре с небольшим

года совместной жизни я подобные вспышки мог наблюдать не больше двух-трех раз, причем источник их породивший оставался всегда одним и тем же.

Между прочим, я всегда думал, что именно нечто подобное произошло у него когда-то в Линдау с немецкими таможенниками, когда он после путешествия по Германии переправлялся в Швейцарию. Об этом инциденте тогда много писалось в печати, но, вероятно, все было вызвано взаимным непониманием. Бунин, еще гордый своим званием нобелевского лауреата, при паспортном и валютном контроле разгорячился, не поняв вопроса, резко на него ответил и пришел в бешенство. Слыша его выкрики на непонятном языке, германские чиновники не только его обыскали, но с издевкой заставили раздеться и простудили. Этот случай он запомнил до своих последних дней и еще увеличил ненависть к гитлеровскому режиму!

Такого же порядка инциденты — конечно, без прискорбных результатов — периодически происходили у него с сумрачным стариком-садовником "Жаннетты", которому по контракту с владелицей виллы предоставлялось право пользоваться фруктовыми деревьями из сада и разводить в нем огород. Садовник естественно наведывался по нескольку раз в неделю, чтобы следить за своим огородом. С самого начала Бунин не взлюбил его, то ли за его не располагающий к разговору вид, то ли потому, что плохо его понимал. "Несносный старик", как Бунин его величал, говорил на местном жаргоне. Иван Алексеевич, чтобы позабавиться и подразнить садовника иной раз срывал недозревший абрикос или какую-нибудь овощь из запретного огорода. Обычно садовник молчал, но иногда и он вскипал и тогда не было сил остановить их перебранку — один извергал самые пронзительные русские ругательства, другой отвечал ему по-провансальски. Хоть это для Бунина и было своего рода развлечением, но все же после очередной перебранки сердце его колотилось сильнее. Впрочем, на следующий день все было как ни в чем не бывало, хоть начинай сначала!

Я упоминаю эти незначительные и, казалось бы, лишённые интереса эпизоды грасской жизни неспроста. В какой-то мере они могут объяснить дальнейшее.

*

Мысленно переносюсь обратно к тем дням, когда из какой-то санатории приехал столь пугавший Бунина "скобарь" — это было в самом конце 40-го года, совсем незадолго до Рождества, и, действительно, как предупреждал меня Иван Алексеевич, что-то сразу же в распорядке всей жизни "Жаннетты" изменилось, хотя очень трудно словами определить, в чем это изменение заключалось, потому что оно вызывалось совокупностью каких-то мелочей.

Первое, что меня поразило, было то, что когда Зуров выходил из своей комнаты, хотя бы на минуту, он непременно запирает ее на ключ. Вслед за этим немедленно стал проделывать такую же церемонию и Иван Алексеевич. А так как он постоянно забывал, сходя вниз, захватить с собой папиросы, то после очередной трапезы неизменно просил меня подняться за ними. Теперь ему приходилось вручать мне ключ и при виде моей гримасы наставительно добавлял: "Только не забудьте запереть за собой дверь на ключ".

У нас были установлены повинности по кухне и каждый (конечно, кроме Ивана Алексеевича) должен был поочередно заниматься растопкой плиты и выработкой и приготовлением меню (большого искусства тут не требовалось, да и воли фантазии нельзя было дать — макарены или чечевица уже почитались роскошью!). До того все шло мирно и никогда ни с кем не было каких-либо пререканий, но тут Вера Николаевна заявила, что будет сама дежурить за Зурова, потому, мол, что кухонные обязанности могут отвлечь его от работы над романом. Этот повод естественно вызвал некоторый ропот и, главное, возмутил самого Бунина.

Досадно было и то, что по вечерам Иван Алексеевич стал реже появляться внизу да и "барышни" из-за этого предпочитали оставаться в своей "берлоге", куда, кстати сказать, никто из домашних не допускался. Даже вечерние радиопередачи перестали на время привлекать Бунина (тут, конечно, было и то, что новости, которые он мог иногда, с большим трудом, услышать из Лондона были сплошь неутешительные, а "какой смысл зря огорчаться", говаривал он), а о том, чтобы что-

то почитать из написанного им уже не было речи. Ведь это был период его непрерывной работы над "Темными аллеями", а до того, когда он был в хорошем настроении, он нередко читал вслух написанное, даже если оно еще не было окончательно обработано.

Напряженность создавалась и тем, что Зуров умел без слов напоминать о своем присутствии. Под чрезмерно вежливой оболочкой он умел вдалбливать в собеседника свое собственное мнение, не слушая возражений. Спорить с ним было не только трудно, но совершенно бесцельно. Он повергал в прах своего оппонента ссылками на свой археологический опыт в эстонской части Псковщины или на те материалы, которые ему удалось собрать для его эпопейного романа "Зимний дворец", бывшего тогда еще в стадии "куколки" и никогда им не законченного. Эти ссылки он приводил постоянно, даже если они не имели ни малейшего отношения к дискуссии, вернее, к ее видимости.

Иван Алексеевич втихомолку — в каком-то смысле он побаивался резкостей Зурова — уходя в свою "обитель" и перед сном прощаясь с Верой Николаевной, приговаривал: "А кстати, как подвинулся "Зимний дворец", что удалось к нему пристроить?" и возмущенная Вера Николаевна, болезненно переживавшая эту иронию мужа, только бормотала: "Перестань, Ян, ведь он тебя не трогает..." — "Только этого не хватало". Этот обмен полуметодом, кажется, был тогда ритуалом!

*

"Знаю я, как память коротка", написала Ахматова и я вспомнил эту ее строку, читая некоторые примечания и комментарии к советскому девяти томному собранию сочинений Бунина.

В качестве примера процитирую отрывок из бунинского письма, которое в этом издании приводится: "... В прошлом году еще мог писать, а теперь не имею больше сил. Холод, тоска смертная, суп из картошки и картошка из супа".*

Надо тут отметить, что департамент Приморских Альп, в

*Бунин. Собрание сочинений. Москва. 1966. Том 7-й. Стр. 369.

котором находится Грасс, картошки да и вообще овощей почти не производит и в военные полуголодные годы, то есть в тот период, когда я у Бунина жил, картошка была у нас величайшей редкостью. Ее почти невозможно было достать даже на чёрном рынке и только несколько драгоценных картофелин иногда, крайне редко преподносили Бунину в знак почитания знакомые русские куроводы из окрестностей Грасса, которые разводили эту редкость только для себя. Эти полузабытые нами плоды земли Бунин тотчас же уносил к себе наверх, хранил за семью замками и ни с кем, конечно, ими не делился.

Не менее непонятно в этом письме заявление о том, что он не имеет сил писать: это был как раз период его напряженнейшего творчества, когда над рассказами, составившими сборник "Темные аллеи", он работал с утра до вечера, почти без передышки, точно торопясь их дописать.

Еще менее понятна фраза в письме к старому другу, писателю Телешову, о том, что "мы пять лет просидели в Грассе, пережили много всяких лишений, были под властью то итальянцев, то немцев — гестапо которых долго разыскивало меня, что, однако, не помешало мне написать большую книгу рассказов"*.

Последнее замечание прямо противоречит предыдущему, но заскок памяти не в этом: курьез в том, что Бунин распространяется о том, что его якобы разыскивало зловещее гестапо. О, если бы только это учреждение могло кого-то разыскивать, кто жил у себя на вилле, кого в маленьком городишке знал в лицо чуть ли не каждый встречный-поперечный (что, кстати сказать, Бунину очень льстило!) и не найти...

Наряду с бунинскими письмами в упомянутом советском издании в качестве надежного источника приводятся и некоторые письма Зурова, адресованные советским бунинологам. Иные утверждения в них настолько мало соответствуют действительности, что кажутся не столько продиктованными фантазией, сколько сделанными с определенной целью.

Для пояснения: "Там — на вилле "Жаннетт" мы пережили итальянскую и немецкую оккупацию. Голодали... Скажу одно, в

*"Исторический архив", издание АН СССР. №2. Москва. 1962. Стр. 160.

те годы население Грасса съело всех собак и кошек". Жизнь в Грассе Зуров очевидно спутал с описаниями того, что происходило в Париже в 1871-м году, во время франко-прусской войны.

А дальше: "Грасские земли плодородием не отличаются, все заняты цветоводством. Немного помогал огород, который я, приехав, разбил на террасах (лук, чеснок, пуашиш, порей и помидоры...").

Я уже упоминал, что террасы были владением садовника, который на них, действительно, разводил, но исключительно для себя, небольшой огородик. Что касается зуровского огорода, то занимал он едва ли один квадратный метр и находился в том углу сада, где выросло замечательное, очень старое фиговое дерево, заслонявшее солнце и потому огородник-профессионал не стал бы ничего разводить на этом клочке земли. Зуров же, действительно, за своим детищем ухаживал, как только мог, носил воду для его полива в кувшине из ванной комнаты и выращивал с десятков луковиц и примерно десятка два томатов. Так что все эти ботанические упражнения ни в какой мере не могли быть помощью в хозяйстве, а скорее игрой, приведшей к большим и драматическим осложнениям, о которых скажу несколько слов в дальнейшем.

Отмечу еще, что в тех же примечаниях к сочинениям Бунина, о которых я упоминал, приводится письмо Зурова, сообщавшего в Москву: "При немцах Иван Алексеевич не напечатал ни строчки. Ему из Швейцарии предлагали сотрудничать в издававшихся в оккупированных землях газетах и журналах, но он отказался. Был прислан потом к нам из Канн человек. Мы думали, что это очередной гость, но он предложил Ивану Алексеевичу и мне сотрудничать в журналах и газетах. Мы отказались".** Тот, кто опубликовал это письмо, очевидно не задумался над тем, почему приглашение участвовать в "коллаборантской" прессе должно было идти через Швейцарию. А рассказ о каком-то таинственном незнакомце, под видом гостя проникшем к Бунину, чтобы приглашать его (по-видимому в жеребковскую газету, другой русской печати в период оккупации

* "Исторический архив", издание АН СССР, №2, Москва, 1962. Стр. 157.

** Там же, стр. 157.

не было) — сплошной миф, тем более, что случайных гостей никогда на "Жаннетте" не было.

Что до швейцарского предложения, то тут Зуров все перепутал. Это предложение относилось к французскому переводу еще не законченных "Темных аллей". Я уже подробно описывал, в чем там было дело* и потому не хочу повторяться. Вкратце только скажу, что когда Андре Жид жил в Ницце, туда приехал видный лозаннский издатель в надежде получить от него какую-нибудь неизданную рукопись. Случайно я в этот день был в Ницце и зашел к Жиду, чтобы поиграть с ним в шахматы. "Как хорошо, что вы пришли вовремя", — встретил он меня и сразу же предложил швейцарцу выпустить вместо его книги томик неизданных рассказов Бунина. Не спрашивая меня, он тут же добавил: "Вот рядом с вами сидит будущий переводчик, а напротив вас будущий редактор, ведь в деле переводов у меня немалый опыт!.."

Хотя значительная часть перевода была мной тогда же выполнена и Жидом отредактирована, в конечном счете из-за его отъезда в Африку и еще из-за того, что некоторые рассказы, входившие в переводимый сборник, были ему не по душе (осечка произошла на "Трех рублях", рассказом впоследствии Буниным из сборника исключенным), вся эта затея лопнула и Иван Алексеевич, встретивший ее с восторгом — шутка сказать: рассказы Бунина под редакцией Андре Жида — принесла ему больше горечи, чем радости.

*

Я должен немного отклониться и вспомнить, что в посвященной Толстому книге Бунин рассказывает, что "Лев Николаевич в кавказских делах и в осажденном Севастополе всегда вел себя не только храбро, но порой даже отчаянно. Однако панически боялся крыс. Сидя однажды в севастопольских помещениях, он вдруг выскочил наружу и кинулся на бастион, под ураганный обстрел неприятеля — увидал крысу".

Думается, что Бунин вспомнил этот штрих из толстовской биографии не спроста, так сказать, для самооправдания. Крыс

*"Континент". №8. Стр. 366-367.

он, правда, не боялся и я не раз бывал свидетелем эпической картины: он гнался за ними в погребке "Жаннетты", вооруженный своей палкой, и крысы, совершенно обнаглевшие и иногда стаскивавшие со столов что попало, кидались на него и при этом издавали какой-то несносный, удручающий визг, который разносился по всему дому. Но зато — я понял это только впоследствии — боязнь крыс Толстым была как бы параллелью к боязни пресмыкающихся у Бунина. Он панически боялся всего, что извивалось, что ползало по земле, не только змей, но даже ужей, не только неприятных своим видом ужей, но даже безобидных маленьких ящериц, которые в солнечные дни ползали по нагретым камням на террасах бунинской виллы. Я смеялся над его страхами, потому что маленькие ящерицы были "симпатичны" и, казалось мне, чистоплотны.

— Вы их не знаете, — объяснял мне Бунин, — вы не думаете о том, что их предками были страшнейшие ящеры, какие-то там игуанодоны, картинки которых я с величайшим омерзением где-то недавно видел. Наверное, они сохранили инстинкт предков и подрастут, черт знает что наделают!

Я вспомнил о крысах и о ящерицах, потому что как-то в неурочный час, как будто во время послеобеденной "сиесты" я спустился вниз со своей "башни" (я унаследовал ее от "барышень"), как вдруг из кухни до меня донеслись отчаянные крики, словно туда проник тигр, потому что голоса кричавших было даже трудно сразу определить. Я опрометью кинулся к доносившимся крикам и увидел нечто совершенно невообразимое: перед моими глазами предстали две сцепившихся друг с другом фигуры, у одной в руке был топор, тот самый, которым я утром колол дрова на террасе, другая размахивала тяжеленным кухонным пестиком, который обычно стоял в солидного размера ступе на кухонном столе. Это единоборство сопровождалось нечеловеческими криками и потоком самых "изысканных" ругательств, исходивших от обоих бойцов. Я не помню, как я ринулся разнимать взбешенных противников, с каким трудом (и с синяками!) мне все же удалось развести их и почти силой увести бледного, трясущегося от злобы и негодования Ивана Алексеевича в его комнату.

Такого рода сцены не забываются, но я должен сказать, что

в этот день это был в своем роде зенит. Иван Алексеевич, после того как мне для его успокоения пришлось поить его коньяком (Вера Николаевна была занята "откачиванием" Зурова), поведал мне, что, когда он зачем-то пошел на кухню, следом за ним туда буквально ворвался Зуров, который начал буйствовать, обливал его "трехэтажными" ругательствами и обвинял в том, что Бунин без пользы для себя и только, чтобы ему насолить, вырывает из его огорода незрелые луковички и срывает зеленые томаты, что он, мол, их пересчитал и давно за этим следит и, наконец, якобы поймал Ивана Алексеевича с поличным.

Я готов даже допустить, что подозрения Зурова не были измышлением, недаром Бунин когда-то хвастался, что "саботирует" огородные труды ненавистного хозяйского садовника. Но, конечно, центр тяжести не в том, были ли основательны или неосновательны зуровские обвинения. Схватка на кухне оказалась каплей, переполнившей чашу. Успокоившись, Зуров сам догадался, что ему надлежит, хотя бы на время, испариться и несмотря на слезы и стенания Веры Николаевны, Иван Алексеевич был неумолим. Зуров был отправлен в "изгнание" — "пусть едет хотя бы на Чёртов остров", кричал Иван Алексеевич бледной Вере Николаевне, не очень умело пытавшейся заступиться за бедного "Лёню" и парировавшей нападения Бунина вопросами: "Ян, а, может быть, правда, что ты сорвал у него томат?", что, конечно, еще больше его раздражало.

Зуров был "сослан", но его "Чёртов остров" оказался неподалеку, он отправился к своему приятелю-куроводу Т., человеку малокультурному, "от сохи", но доброму и симпатичному, который смотрел на Зурова, как лилипуты на Гулливера. Зуров сумел его убедить, что он чуть ли не великий русский писатель и не переставал поучать.

Кстати сказать, я долго хранил молчание об этом тягостном эпизоде и только поведал о нем при встрече Адамовичу, единственному, с которым мог тогда делиться моими переживаниями. К моему удивлению, Адамович, услышав мой рассказ, ничуть не был поражен. "Дорогой мой, — сказал он, выслушав меня, — ведь к этому шло и рано или поздно нарыв должен был лопнуть". Впрочем, Адамович оказался плохим пророком — нарыв не лопнул!

Прошло несколько дней, может быть, неделя. Все время Вера Николаевна была сама не своя, хотя на больную тему не заговаривала, но как-то душевно хирела и скрыть этого не могла.

В один прекрасный день она после мрачного завтрака исчезла, не попрощавшись, не предупреждая о своем уходе, что было весьма удивительно и не в ее характере.

Мы остались вдвоем с Иваном Алексеевичем и, так как после пережитых "потрясений" он некоторое время не решался отлучаться из дому, мы гуляли с ним по саду.

— Вы, вероятно, догадались, куда исчезла Вера, — сказал он мне, не веря, что я не был поставлен в известность. — Вы должны понять, что в ней говорит неудовлетворенное материнство и с этим я ничего не могу поделать, это у женщин очень, очень сильное чувство. После короткого "карантина" мне пришлось дать свое согласие на возвращение "милого" (он произнес этот эпитет со скрежетом зубным) Лёни. Мне придется дальше продолжать нести мой крест, но у меня нет выхода. Вы видите, что из-за этого переростка она стала худой, как скелет, а куда ей...

А потом добавил: "Бог меня за мои грехи наказывает, а тут ничего не поделать, надо смириться. Теперь-то вы поняли, почему я вам рассказывал какую-то притчу о стоголовом драконе. Ведь я не уверен, что эти слова принадлежат Саади. Я сослался на него, потому что вы говорили, что нашли в хозяйской библиотеке какую-то английскую книжку о персидских лириках и с интересом ее читаете, так что мое предупреждение должно было произвести на вас большее впечатление. Ведь и ваш друг — нет, наш общий друг — Адамович нередко пишет "как, кажется, сказал Плотин или Фома Аквинский" и иди разберись, сказали ли они то, что он им приписывает или нет, зато как красиво и убедительно звучит! Чем я хуже!"

Я был рад услышать эти слова, потому что решил, что его "гнев" спал, но не тут-то было, он тотчас же вернулся к волновавшей его теме: "Нет, что же это за чудовище, которое за все годы, что я его наблюдаю, если какой-либо женщине и улыбнулся, то только за приглашение к обеду. Он меня уверял, что связь с женщиной тормозит его творчество, в которое он вкладыв-

вает все свои силы — слышите меня, все. А я, грешным делом, именно в этом всегда черпал вдохновение, да и не я один, Толстой без этого бы не написал "Анны Карениной", а вот "Зимнему дворцу" это мешает. Да, сейчас он, вероятно, вернется, и только, пожалуйста, ничему не удивляйтесь, не ахайте и не охайте — вам-то что, а я проглочу эту горькую пилюлю, как проглотил те, которыми вы меня сами кормили после "драмы на кухне". А, кстати, недурное заглавие для небольшого рассказа, хотя скажут, что я его стянул у Чехова сего "Драмой на охоте". Нет, беру свои слова назад — даже иносказательно не хочу такую сцену описывать, слишком противно, давайте забудем о том, что -ыло — пусть это будет "то, чего не было".

К вечеру Зуров вернулся с "контрибуцией" — куском курицы, который был вручен Ивану Алексеичу Верой Николаевной и так как, кроме того, он получил еще пять картофелин, то перемирие было "подписано". Насколько?

*

Говорится, что "худой мир лучше доброй ссоры". Этот "худой мир" и был установлен и, казалось бы, жизнь "Жаннетты" пошла без бурных инцидентов, обе стороны себя сдерживали, а ведь Иван Алексеич был незлопамятен. Общее внимание было сосредоточено на событиях, развертывавшихся на русском фронте. Бунин привез из Нишцы огромные карты пограничных областей Советского Союза, начал было отмечать булавками ход военных действий, но его "штабная" деятельность продолжалась недолго. Когда гитлеровские армии проникли в глубь страны, он заявил, что ему не под силу передвигать тесемку, отмечающую линию фронта, тем более что не может верить германским сводкам, так как и мест, которые в них упоминаются, нет на его картах. "А к тому же лучше карты со стены снять, неровен час, заглянут сюда какие-нибудь мордастые оккупанты и по голове за эти карты едва ли погладят".

Он был особенно мрачен, когда в этих самых сводках стали появляться знакомые ему названия — Елец, Орел, Тула. Но в настоящий раж он был приведен, когда у небольшого лесочка, к которому примыкал сад "Жаннетты" и куда можно было пройти через полускрытую, едва заметную калитку (до того мы счита-

ли, что в случае чего через нее можно улизнуть!) появилась доска с изображением черепа и с надписью — "Осторожно — лес минирован". "Нет, они потеряли голову, — негодовал Иван Алексеевич, — минировать *наш* лес, ведь это патология!"

Так шло — почти без перебоев — медленно, угрюмо и, главное, однообразно — в Ниццу или в Канны Иван Алексеевич ездить перестал, все его знакомые куда-то оттуда исчезли и дела у него там больше не было никакого. Но вот в одно прекрасное утро (это было в августе 44-го года) шемяше завыли сирены. Собственно, в самом этом факте не было ничего необычного. Воздушные тревоги уже не раз раздавались и в небесной сини Прованса иной раз можно было приметить черную точку летевшего бомбардировщика. Однако, как правило, отбой никогда не заставлял себя долго ждать.

На сей раз, однако, что-то происходило не "по правилам". Проходил час, другой, третий, а отбоя не было и из-за этого "неуместного" внешнего спокойствия волнение Бунина не переставало нарастать. То, накинув свой потрепанный халатик, он отправлялся в сад, чтобы "отсидеться" в облюбованной им для подобных случаев будке, в которую "негодяй-садовник" складывал свои инструменты. Эта будка, крытая соломенным навесом, вплотную прилепилась к скале, была малоприметна и потому Бунин считал ее верным убежищем от бомб, неким "бункером"! То он снова подымался к себе, может быть он что-то увидит через окно, то опять сбегал в столовую, стараясь разузнать по радио, что, собственно, приключилось.

Но радио вдруг онемело и только после полудня как-то случайно удалось выяснить, что воздушная тревога была вызвана высадкой союзного десанта на средиземноморском побережье, где-то в районе Фрежюса, примерно на расстоянии какой-нибудь сотни километров.

Несколько дней прошло в нервном ожидании, усугубляемом отсутствием информации и наполненным самыми противоречивыми слухами. Иногда со стороны Эстерели слышался артиллерийский гул, раз-другой дымки появлялись над островками, лежащими около Канн, но всего этого было Бунину недостаточно. Он готов был отчаиваться из-за той медлительности, с которой — по его мнению — развертывались

военные операции. "Вы видите, ждать нечего, все погибло", — неистовствовал он, когда наступало долгое затишье.

А то радостное событие, которого все мы ждали более четырех лет, наступило на рассвете 24-го августа. Немцы из Грасса ретировались без боя, мы могли видеть, как последние их части спускались мимо виллы по Наполеоновой дороге в полном беспорядке, и через несколько часов первыми вступили отряды канадских военно-воздушных сил, высадившиеся на планёрах вблизи пляжей.

"Что было у нас на душе — описать невозможно", — писал затем Бунин одному из своих корреспондентов. Он потом красочно повествовал, как, спустившись в город, он не узнал обычной грасской толпы. "От радости словно все лица преобразились, — говорил он, — точно все вдруг похорошело!" и затем был совершенно ошарашен тем, что, зайдя в один из кабачков и заказав, "чтобы отпраздновать освобождение", двойную рюмку коньяку, хозяин провозгласил, что "сегодня все даром", и достал заветную бутылку с каким-то большим количеством звездочек. "Такого еще не было во всей истории Франции", — говорил он, вернувшись домой, рассказывая о виденном со слезой в глазах.

Вскоре, едва только мне представилась какая-то возможность (железнодорожное сообщение вдоль побережья было восстановлено только позднее, так как большинство мостов было взорвано), я сложным кружным путем как-то добрался до Парижа.

Бунины еще некоторое время вынуждены были оставаться в Грассе, потому что их парижская квартира была еще "оккупирована". На время их отсутствия она была сдана с условием, что жильцы освободят ее по первому требованию, но не тут-то было — они отказывались съезжать, и для их изгнания и водворения хозяев пришлось применить угрозы и чуть не шантажировать их.

"В Париж, очевидно, ехать нельзя еще долго, я в отчаянии и взбешен", — писал мне нетерпеливый Иван Алексеевич, а чуть позже: — "Всем пишу, чтобы вышибли этих негодяев, которые не хотят съезжать. А меж тем мне может быть придется вдруг сорваться в Париж из-за моей печени".

Он не переставал жаловаться на всяческие недомогания, но,

мне кажется, что главное было в том, что почти сразу после моего отъезда из Грасса атмосфера на "Жаннетте" сильно сгустилась.

Чтобы лучше осветить создавшееся там положение, я лучше всего приведу здесь полный текст одного из бунинских писем от 25-го января 45-го года:

"Дорогой Захар (он иногда так называл меня в письмах, самого себя именуя Обломовым), уже давно, давно получено ваше письмо, уж не помню от которого числа. С тех пор вы опять точно сквозь землю провалились. Не ответил вам сразу и не отвечал и потом, ибо я совсем никуда уже месяца 1 1/2: все болевая точка где-то справа — не то в печени, не то ниже, и слабость, и что-то противное во вкусе (м.б., от мерзкой пищи — у нас еще никогда, кажется, не было так скверно в отношении еды). Январь лютый — холод, снег. С 24-го декабря обедаю и завтракаю у себя в комнате, чаще всего с Верой Ник., Зурова вижу раз в неделю, случайно встречаюсь с ним где-нибудь на ходу, и твердо решил больше не разговаривать с этим мерзавцем во веки. 29-го вышел в сад, набрал хворосту, отнес его и запер в комнату возле бывшей вашей (наверху) — выскакивает, как бешеная собака: "Где мой хворост?" — "Не знаю" — "Вы сейчас взяли и заперли на замок!" — "Не брал" — "Нет, взяли!" — "Что ж мне божиться что ли?" — "А что ж вам стоит побожиться! Вы же нахал!" — "Вы с ума сошли?" — "Вы жук, вы отлично умеете вообще устраивать свои делишки! У кого только учились! У Чехова, у Толстого!" и т.д. Я остался на этот раз совершенно спокоен, — даже отпер комнату и показал ее, — хворост был не его, но уж довольно с меня наконец! Точка! Вот и все новости. Был у Коломбана (нашего общего доктора), он меня осматривал, сказал, что надо съездить в Ниццу, сделать радиографию. Но денег у меня на это нет — целую. Ваш Илья Ильич Обломов".*

По дальнейшим письмам могу только судить, что в излюбленном им Грассе ему стало неуютно и он стал себя там чувствовать "не в своей тарелке", да могло ли быть иначе, если

*Я полностью сохранил бунинские знаки препинания, изменив только орфографию (он писал по старой) и "вы, вас" у него всегда с заглавной буквы.

подобные описанному инциденты могли происходить в его собственном доме и не было больше рядом с ним того подобия громоотвода, которое представляло мое присутствие.

Но прошла и эта полоса его жизни. К маю того же года Бунины — втроем — благополучно вернулись к своим парижским пенатам, но и здесь на первых порах Бунину было не по душе. Оккупация не прошла даром, и вся привычная ситуация изменилась, а он был слишком прямолинеен, чтобы разбираться в оттенках. Поведению некоторых из своих бывших друзей в "чёрные дни", хоть они были, действительно, наперечет он не хотел верить, на многое не мог решиться, но вот — по принципиальным соображениям, несмотря на уговоры Веры Николаевны, категорически отказался пойти на панихиду по скончавшейся в те дни Зинаиде Гиппиус, с которой его связывали в прошлом дружеские отношения.

Первые годы по возвращении в Париж Бунин еще любил хорошо покушать, хотя несмотря на пережитое, был еще довольно привередлив в пище, не чуждался рюмки-другой водки, с бодрым видом расхаживал по гостям, посещал старых коллег по перу — Тэффи, Ремизова, других, у которых до войны никогда не бывал. Был и на моей новой квартире и принес мне известную фотографию, на которой он снят рядом с Чеховым в Аутке, надписав на ней "Это вам на новоселье". Она и сегодня висит у меня на стене.

Тогда же у него завязались связи с некоторыми французскими литераторами русского происхождения — с Труайя, который еще не был тогда так прославлен, был редактором какого-то недолговечного еженедельника, в котором напечатал воспоминания Бунина о Шаляпине; однажды я привел к нему другого будущего академика, Жосефа Кесселя, с которым мы где-то по-лукулловски позавтракали (это была еще эпоха продовольственных карточек); в другой раз я водил Ивана Алексеевича к Эльзе Триоле, с которой после долгого промежутка возобновил знакомство. Она была среди первых парижан, успевших побывать в послевоенной Москве, и ее впечатления были Бунину особенно интересны. Рассказ ее был трезв и во многом терпок. Эльза в интимной обстановке гнушалась пропагандных шаблонов и в каком-то смысле приближала своих себе-

седников к далеко нерадужной действительности, которая из "прекрасного далёка" могла еще представляться в более розовом свете.

Но надо сказать, что хотя несовершенное знание французского языка Буниным не могло служить препятствием для сближения с этими коллегами по ремеслу, контакт с ними у него не устанавливался. Ему с ними было не по себе, потому что они представляли другое поколение, были признаны и ни в чем не нуждались, а он чувствовал себя "отвратительным больным стариком". Действительно, здоровье его не переставало ухудшаться и чувствовал он себя из рук вон плохо. Малейшая простуда, а ей он был постоянно подвержен, затягивалась на долгие недели и всякий раз грозила серьёзными осложнениями. Кроме того, оказалось, что без хирургического вмешательства нельзя было освободить его от некоторых мучавших его недугов. Операция была проведена парижскими медицинскими светилами, считалась на редкость удавшейся, но сил Бунина восстановить не могла.

Дважды за это время он ездил для поправки на Лазурный берег и каждый раз при его проходах, когда его до вагона довозили в медицинском кресле, у провожавших невольно создавалось впечатление, что прощание с ним было окончательным.

На юге он останавливался в "Русском доме", откуда писал — я цитирую его письмо: "Улучшения в моем здоровье пока не вижу. Вид у меня, говорят, стал лучше, да мало ли что говорят! Мучат по-прежнему ночные кашли, слабость физическая и умственная ужасная. Пока сижу безвыходно у себя. Часто бывает Алданов, балует меня хорошим вином — каждый раз привозит бутылочку..." Но в общем, несмотря на отличный уход, ему было там, в этом "Доме" неудобно, подходящей компании, с кем "душу отвести", не было и это его, естественно, угнетало. В Париже он мечтал о юге, о солнце — на юге он прятался от солнца и мечтал о Париже.

Выход двух его книг был одной из его последних литературных радостей, даже если реакция на них не соответствовала той, на которую он вправе был рассчитывать. Сперва появились "Темные аллеи", из-за орфографии которых Бунину безуспешно пришлось воевать с издателем, тот настоял на своем:

книга вышла по новой орфографии, зато по старой появились "Воспоминания".

В 50-м году русский Париж — или все-таки лучше сказать некоторая его часть, да и в ней ряды значительно поредели — решила отпраздновать восьмидесятилетие со дня его рождения, и дата предстоящего торжества стала как-то сама собой передаваться из уст в уста. Хотя это празднование и вышло в общем довольно скромным, не в пример тем помпезным банкетам, которые с речами и приветствиями со всех концов мира устраивались перед войной (нередко при помощи самих юбиляров или их жен!), оно все-таки доставило большое удовольствие большому писателю.

Немного приодевшись, Бунин точно "восседал" в своем кресле, ласково принимая поздравителей, наполнявших его квартиру. Впрочем, для того чтобы ее "до отказа" наполнить, много ли надо было посетителей?

Тогда же в ознаменование этого торжественного дня группа друзей Бунина — если память мне не изменяет, по инициативе Маклакова — решила поднести ему подарок. Да не покажется странным, но по настойчиво высказанному им самим желанию, решено было собрать деньги для установки в его квартире телефона. Дело в том, что в те дни в Париже это было затеей нешуточной. Трудность заключалась не столько в стоимости новой установки, сколько в том, что из-за нехватки аппаратов и свободных линий новым кандидатам в абоненты приходилось ждать чуть ли не годами. Все же — я хочу похвастать — мне каким-то образом удалось убедить администрацию бунинского сектора, и телефон у него был установлен вне очереди. Да, он был поставлен в рекордно краткий срок, но едва ли сам Иван Алексеевич им хоть единый раз воспользовался. При его жизни телефон служил, главным образом, для вызова докторов и сиделок.

7-е ноября 1953-го года было последним днем в жизни Бунина, и так случилось, что вторую половину этого дня, почти всю, я провел с ним с глазу на глаз. Накануне мне позвонила Вера Николаевна, которой нужно было спешно отлучиться, проведать Зурова, который был болен и находился в одной из пригородных клиник. Она попросила меня посидеть, вернее,

подежурить у постели Ивана Алексеевича, так как с некоторых пор уже побаивалась оставлять его одного, даже на короткий срок. Кажется, его самого уже страшило одиночество.

Когда я пришел, шторы в его комнате были спущены, и в ней царил полумрак. От массы лекарственных скляночек и коробочек, нагромоздившихся на его ночном столике, как мне почудилось, шел дурманящий больничный запах. Он лежал, полузакрыв глаза, еще более отощавший за ту неделю, что я его не видел, еще более подавленный, еще более измученный. Его красивое лицо, еще недавно напоминавшее лицо римского патриция, сильно заросло щетиной и было пепельного цвета.

При моем появлении он приоткрыл веки, поворочался, хотя было заметно, что малейшее движение стоит ему больших усилий, откашлялся и затем сразу же — с нарастающей постепенно взволнованностью — стал говорить о бессмысленности смерти, о том, что он не может ни уразуметь, ни принять, как это может стать, что вот был человек и вот его больше не стало. Где граница между этими двумя состояниями? Кто ее определяет? Все он мог, по его словам, вообразить, всё понять, всё почувствовать, даже всё оправдать, кроме одного — "несуществования".

Вероятно, как и в случае с толстовским Иваном Ильичом, известный силлогизм — "Кай — человек, люди смертны, следовательно Кай смертен" казался Ивану Алексеевичу вполне естественным и логичным, пока дело касалось "какого-то" Кая, но никак не применимым к себе самому, потому что тогда силлогизм становился неприемлемым его разуму, в нем отсутствовала какая-то ступень.

Однако эти мрачные высказывания и желание словами как бы зачеркнуть незачеркиваемое не были способны меня удивить. О смерти он говорил при мне много, много раз, еще задолго до того, как почувствовал, что она стучится в двери.

Несмотря на то что вослед Толстому он любил цитировать крылатую фразу Марка Аврелия о том, что "высшее наше назначение — готовиться к смерти", он явно был к ней неподготовлен. Я вспомнил при этом один обеденный "обмен мнений", происходивший еще в Грассе, когда Бунин категорически отрицал возможность загробной жизни, утверждая, что

противоречило бы высшей логике, если бы после "минутного" пребывания на этой планете (иногда по отношению к этой планете он применял эпитет "мерзкая", иногда "прекрасная"), предстояли мириады, зоны лет какого-то непонятного, нерасшифровываемого существования, поскольку ничего не было до рождения. Раз есть начало, значит должен быть и конец, говорил он, споря с Верой Николаевной, которую его "неверие" бросало то в жар, то в холод.

Я присел около его постели. На его измятой простыне лежал растрепанный томик Толстого, и когда я спросил его, что он теперь читает, он, как мне показалось, чуть приободрился и ответил, что хотел бы еще раз перечитать "Воскресение", но тут же добавил, что читать ему уже трудно, еще труднее сосредоточиться, когда ему читают вслух, и особенно тяжело держать книгу в руках.

А потом почти вскипел и в тот момент меня особенно поразило, что в его вскрике еще ощущались гневные интонации:

— Ах, какой во всех отношениях замечательный был человек, какой писатель... Но только до сей минуты не могу понять, для чего ему понадобилось включить в "Воскресение" такие ненужные, такие нехудожественные страницы...

Он, конечно, имел в виду описание службы в тюремной церкви и совершение таинства евхаристии, которое Толстой отрицал.

Эти последние слова Бунин произнес уже почти с запальчивостью, но вместе с тем с каким-то глубоким внутренним страданием. Не знаю, соответствует ли моя догадка истине, но в тот момент было мне совершенно очевидно, что в чем-то упрекать Толстого, порицать его — причиняло ему физическую боль. Те мысли, которые возникали у него, он считал своего рода кошунством, но теперь ему казалось не только возможным, но даже необходимым как-то поднять голос, хотя бы совсем слабый голос, против толстовского кошунства, против толстовского отношения к причастию при работе над его последним большим романом.

У меня создалось в те минуты впечатление, что над этими толстовскими страницами Бунин долго размышлял и сердился одновременно на себя и, может быть, в первый раз за всю жизнь

— на Толстого; на себя из-за того, что не мог подыскать надлежащего оправдания для толстовского злого и, как он его в те часы воспринимал, неуместного сарказма; на Толстого, потому что только к самому концу своей долгой жизни он нашел в нем какой-то штрих, какую-то дотоле ускользавшую от него подробность, которая — хоть он совершенно не был "церковником" — была ему органически враждебна, вызывала в нем отталкивание и потому невольно снижала тот идеальный облик, с которым он чуть ли не с детства сжился.

Мне приходится еще раз подчеркнуть, что в глазах Бунина Толстой был не только одним из самых необыкновенных людей, когда-либо живших на свете — он был "божеством". А можно ли, допустимо ли в отношении божества высказать какой-либо упрек, какое-либо порицание? А тут — я не могу категорически утверждать, но мне представляется — ослабевший телом и духом Иван Алексеевич неожиданно для себя натолкнулся на страницы, которые окончательно нарушили его душевный покой и мимо которых он не мог пройти в молчании — натолкнулся, как я думаю, впервые, потому что вполне возможно, что до того ему не попадался экземпляр "Воскресения", с восстановленными купюрами, сделанными в свое время цензурой.

Последовавшая внутренняя борьба и физическое усилие необходимое, чтобы высказаться, не только взволновали его, но и утомили. Он снова закрыл глаза, повернулся к стене и попросил меня на некоторое время оставить его одного — "авось я сумею заснуть", прошептал он.

Я вышел в соседнюю комнату, оставив двери открытыми, и я слышал, как он продолжал ворочаться и что-то вполголоса бормотать. Как мне послышалось, он повторял по нескольку раз те же два-три слова — "Как он мог, как он мог?"

И, может быть, в эту минуту, одну из последних своих минут, но под влиянием прочитанного припомнил встречу с Толстым, как в чёрную мартовскую ночь они шли вдвоем по Девичьему полю и как Толстой, переживавший тогда одну из самых горьких и болезненных своих утрат — смерть любимого семилетнего сына, Ваночки — резко и отрывисто твердил: "Смерти нет, смерти нет". Все это Бунин давным-давно описал в своей книге, посвященной Толстому, но вот теперь, когда какие-

то толстовские строки вызывали у него отталкивание, он вопреки своей воле, даже, вероятно, нехотя, брал под сомнение запавшие в душу толстовские слова, которые пронес сквозь всю свою жизнь и за которые именно в эти минуты ему больше всего хотелось зацепиться, надо было верить.

“Как он мог?” — это доносившееся из соседней комнаты трагическое в своем однословии и полное глубокого смысла восклицание оказалось последним, слышанным мной из уст Бунина. Вскоре он заснул, и я покинул его, зная, что Вера Николаевна должна вернуться с минуты на минуту.

А на следующее утро, чуть ли не на рассвете, она позвонила мне по телефону и с рыданиями в голосе сообщила, что “Ивана Алексеевича больше нет”.

И когда я тотчас же пришел в знакомую, но сразу же опустевшую, точно оголившуюся, квартиру, Иван Алексеевич, или, точнее, то, что было Иваном Алексеевичем, лежал уже в столовой на кушетке, с головой, закутанной в толстую белую простыню. Недаром в своем завещании он строго-настрого потребовал, чтобы лицо его было сразу же закрыто. “Никто не должен видеть моего смертного безобразия”, писал он, запретив фотографировать его посмертно или снимать с его лица или рук какие-либо маски. Он непременно хотел, чтобы его уложили в цинковый гроб и поставили в склеп.

Через несколько дней при огромном стечении народа его хоронили на пригородном русском кладбище в Сент-Женевьев-дю-Буа.

Несколько лет спустя над его могилой был установлен каменный крест, и все надгробие было сооружено по рисункам Александра Бенуа.

Александр Бахрах

ПИСЬМА И.А. БУНИНА К М.Е. ВЕЙНБАУМУ

ПУБЛИКАЦИЯ АЛЕКСИСА РАННИТА, ИЕЙЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

На полях: Дорогой господин корректор, моя судьба в Ваших
руках! Ив.Б.

Многоуважаемый Господин редактор!

Сделайте одолжение напечатать в "Новом Русском Слове"
нижеследующие строки:

Осенью прошлого года парижский Союз писателей, который когда-то избрал меня своим почетным членом, исключил из своей среды лиц, взявших советские паспорта. В знак протеста против этого исключения, большинство других членов Союза, оставшихся эмигрантами, опубликовало в печати заявление о своем выходе из него, предварительно прислав ко мне своего представителя с предложением присоединиться к его заявлению, но я от этого отказался, считая неестественным присутствие советских подданных в эмигрантском Союзе. Недели через две после того я тоже покинул Союз, но единолично и, как явствует из предыдущего, не потому, что тоже решил протестовать, а в силу того, что мне не хотелось оставаться почетным членом Союза, превратившегося в союз кучки сотрудников парижской газеты "Русская Мысль", некоторые из коих были к тому же в свое время большими поклонниками Гитлера. Естественно было поэтому сугубое раздражение против меня, как человека с именем, со стороны этой кучки, тотчас пустившей слух, будто я

Эти письма мы печатаем с разрешения г-жи Розы Вейнбаум, за что приносим ей глубокую благодарность. *Ред.*

своим выходом из Союза хотел *"поддержать советских подданных"*, поневоле покинувших Союз, а иные, во главе с Б.К. Зайцевым, председательствующим в Союзе и принимающим ближайшее участие в "Русской Мысли", послали сообщение такого рода даже в Нью-Йорк, в "Новый Журнал". Но этим дело еще не кончилось. Вскоре после моего вечера 23 Октября этого года, когда я прочел свои "Автобиографические заметки"*¹, свои воспоминания о том ужасном *"новом"*, что я встретил в литературной среде при своем вступлении в нее, и кончил свое чтение эпохой Маяковского, величайшего хулигана русской литературы, "Русская Мысль" напечатала анонимный "Маленький фельетон", посвященный моему вечеру, — нечто беспримерное по всяческой низости и пошлости, где уже прямо было сказано, что я *"недавно совершил сальто-мортале, перескочил в большевицкий лагерь"*. Статейка эта была встречена большим негодованием со стороны многих, прочитавших ее, и тогда уж сам редактор "Русской Мысли" В. Лазаревский напечатал статью под заглавием "Буря негодования" (взяв эти слова в иронические кавычки), в которой подтвердил ложь насчет моего "сальто-мортале". Но и этого оказалось мало "Русской Мысли": 8 декабря она опять солгала, будто я "перескочил" к большевикам, — на этот раз за подписью Сергея Яблоновского: он наконец признался, что автор "Маленького фельетона" — он, и пытается защитить его, утверждает, что он написал на меня не пасквиль, а "памфлет". Помимо лжи о моем большевизме он повторяет другую ложь, — ту, что была и в его "памфлете" и в статье Лазаревского: будто я только тем и занимаюсь всю жизнь, что горжусь собой, а всех прочих писателей, всех поголовно, порочу самыми последними словами. Но, проговаривается он, это еще туда сюда: "Еще важнее — самое важное — выход Бунина из Союза русских писателей", опрометчиво признается он.

Париж, 8. XII. 48

Ив. Бунин

*"Автобиографические заметки" напечатаны в "Новом Русском Слове" 26. 27 и 28 декабря.

Внизу приписка: Очень прошу редакцию не смягчать моих резких выражений — всю вину за них беру на себя! Ив.Б.

Многоуважаемый Марк Ефимович,
Будьте добры напечатать прилагаемое в "Нов. Р. Слове".
Шлю сердечный поклон Вам и всем моим друзьям, Вашим сотрудникам.

Ив. Бунин

Париж, 25. 8. 1949 г.

"Maison Russe"
Villa le Fournel,
Juan-les-Pins, A.M.
France
4 июня 1950 г.

Многоуважаемый Марк Ефимович,
Эти странички — из книги моих "Воспоминаний", которая выйдет в свет в конце августа или в начале сентября — в Париже — поблизости к моему печальному "юбилею" (80 лет!). Если эти странички Вам покажутся интересны, будьте добры напечатать их.

Извините за эти каракули, — я тяжело болен, — смертельная слабость, астма, только что перенес воспаление легких.

29 июня возвращаемся в Париж.

Сердечный привет.

Ив. Бунин

16. XII. 50

Многоуважаемый Марк Ефимович,
Я уже давно получил Ваше дружеское письмо, извините, что отвечаю так поздно, слаб, нездоров...

Нет, я не был "обижен" Александровым, — дело тут вообще не в обиде: я возмущен был им по другой причине, — не личной: уж очень непристойно пишет он. Я *должен* ему ответить не по личной обиде, а чтобы уже *больше никогда* не возвращаться ни к

Есенину, ни к нему, что бы он ни писал еще, какую бы ни нес дерзкую чепуху.

Сделайте одолжение напечатать прилагаемое *возможно скорее* — это мне очень нужно.

Заранее благодарю Вас и сердечно желаю Вам всего доброго.

Ваш Ив. Бунин

P.S. *Ни на единое* сокращение или изменение никак не могу согласиться.

31 янв. 1951 г.

Многоуважаемый Марк Ефимович,

С благодарностью получил от Вас, при письме Вашем ко мне от 27 янв. 1951 г., чек на 50 долларов, которые пожертвовал Литфонд на мою нищую старость.

Сердечно благодарю Вас и за Ваш вопрос о моем здоровье. Плеврит, три недели державший меня в постели, пока оставил меня. Но слаб я ужасно, астма не дает мне покоя.

Ваш Ив. Бунин

20. 3. 1951

Дорогой Марк Ефимович, Вы недавно писали о "маниловских мечтаниях" этой гориллы, Вл. Зеелера (в свое время весьма прославившейся своим "Казачьим банком"). А читали ли Вы его фельетон в "Русск. Мысли" 9 марта по поводу 13-й "Тетради" "Возрождения"? — Это нечто совершенно беспримерное по той пошлости, с которой шельмуется в этом фельетоне Ф.А. Степун, а вместе с ним и Ваш покорный слуга, на которого (совершенно непостижимо, почему) уже третий год выливаются в "Рус. Мысли" ушаты самой дикой лжи и грязи при полном попустительстве Бориса Зайцева, который уже не раз и весьма нахально называл в печати англичан, бросавших бомбы на парижские заводы, работавшие на немцев во время войны, "черчилевскими молодцами" — и даже в прошлом году написал в своих "Днях", вспоминая то время: "Возвращаемся с женой

в свой квартал и видим: опять налетали на него с бомбами враги...”

Если не читали Зеелера о Степуне и обе мне, прочтите: повторяю, это нечто изумительное.

Ваш Ив. Бунин

Горячо прошу о тщательной корректуре и сохранении *моих* знаков препинания

Ив.Б.

Письмо в редакцию

Дорогой Марк Ефимович,

До меня уже дошли по воздушной почте почти все сведения о том, что говорилось обо мне и читалось из моих писаний на вечере 25 Марта в Нью-Йорке. Позвольте же мне печатно выразить мою большую благодарность Фонду помощи писателям и ученым, почтившему меня устройством этого вечера, Вам лично за возглавление его и за ту речь обо мне, которой Вы его открыли, всем говорившим о моих писаниях и читавшим некоторые из них, а также и аудитории, столь сердечно откликнувшейся на предложение организаторов и участников вечера послать мне дружеское приветствие.

Весьма тронут я и А.Т. Гречаниновым, присоединившимся к этому приветствию: мой низкий благодарный поклон ему.

Париж, 4. 4. 1951

Ив. Бунин

Дорогой Марк Ефимович, я послал Вам вчера заказной авион со статьей моей о Зеелере. Я в ней *на память* говорил о пасквиле С. Яблоновского по поводу моих литер. ”Воспоминаний”, читанных мною публично в 1948 г., и правильно передал то, что он сказал о моем ”сальто-мортале” к большевикам, но *конец* этого пасквиля спутал: будьте добры поэтому все, что я сказал об этом конце, просто *вычеркнуть*.

Он подписался: ”Удостоившийся присутствия”. Но он присутствовать *не мог*: он уже давным давно лишен возможности ходить, и я его на вечере не видал.

Сознался он в своем авторстве вскоре после того — говоря, что это "не пасквиль, а памфлет".

Ваш Ив. Бунин

4. XI. 1951.

23 июня 1952 г.

Дорогой Марк Ефимович,

Спешу поблагодарить Вас за Ваше письмо ко мне от 18 июня, полученное мною нынче, — за Ваше ко мне доброе внимание. Напишу завтра Н.В. Вредену, что у меня готова книга моих рассказов, написанных за последние, недавние годы и только теперь выпускаемых мною сборником под таким заглавием:

Весной в Иудее

и

другие рассказы.

Завтра, повторяю, напишу об этом Вредену и попрошу его сообщить мне, когда "Чеховское" Издательство намерено выпустить в свет этот сборник. По размеру он будет равен приблизительно двум третям (или немного менее) "Юности Арсеньева", изданной "Чеховским" И-вом.

Сердечно Ваш Ив. Бунин

P.S. Пишу еще полусидя, в постели. Во всех смыслах тяжело кончается моя жизнь.

27 июня 1952 г.

1, rue J. Offenbach,

Paris 16

Дорогой Марк Ефимович,

Снова горячо благодарю Вас за Ваши заботы обо мне — получил Ваше письмо от 24 июня. Пишу в Чеховское издательство на имя Вредена — прошу передать Вам те 400 долларов, что оно должно уплатить мне авансом в счет гонорара за мою вторую книгу, издаваемую им. А Вас, дорогой Марк Ефимович, прошу передать эти деньги Наталье Вла-

димировне Кодрянской. Благодарю Вас заранее и за исполнение этой моей просьбы.

Преданный Вам Ив. Бунин

2 июля 1952 г.

Дорогой Марк Ефимович,

Снова от всей души благодарю Вас за Вашу доброту ко мне, за внимание и хлопоты. Ваше письмо с чеками я получил. Сделайте одолжение поблагодарить тех, кто эти чеки написал.

Вторая моя книга, то есть сборник моих рассказов, уже готова, но Вы пишете, что Вреден в отсутствии, и я не знаю, когда книга пойдет в набор и на чье имя ее посылать? Подожду, когда Вреден вернется, напишет мне сам или через своего секретаря, и я получу от Издательства контракт.

Марк Александрович пишет мне еще и о том, что Издательство намерено выпустить в свет второе издание "Жизни Арсеньева", ибо первое, кажется, все разошлось. Это крайне важно для нас, так как деньги за эти две книги избавят нас от многих, многих лишений, которые мы теперь терпим.

Письмо Ваше получил еще вчера, но отвечаю только сегодня, ибо у нас длится такая ужасная жара, которая отнимает последние силы у меня, и без того больного всячески.

Сердечно Ваш Ив. Бунин

P.S. Когда, куда и надолго ли едете отдыхать?

11 сент. 1952 г.

Дорогой Марк Ефимович,

Сделайте мне большое одолжение — будьте добры напечатать хоть один раз в "НРС" прилагаемое объявление, за которое могу заплатить (надеюсь, в недалеком будущем), конечно, только какой-нибудь статейкой. "Издательство имени Чехова" (встал бы он из гроба да взглянул, какой дикий кавардак книг, на 3/4 ни к чорту негодных, вывалило это издательство!) только *теперь* собирается пустить в набор те две мои книги, которые, благодаря Вашим добрым заботам обо мне, оно решило еще в июне начать печатать "немедля"! (Одна из этих

книг "Весной в Иудее" и "Роза Иерихона", а другая — "Митина любовь" и "Солнечный удар"). Объявление о "Митиной любви", при сем прилагаемо, побудит, думаю, издательство ускорить выпуск хоть одной из этих книг.

Заранее благодарю Вас и шлю Вам сердечный поклон.

Ваш Ив. Бунин

P.S. Будет ли в НРС рецензия о "Жизни Арсеньева"?

11 сент. 52 г.

Дорогой Марк Ефимович,

Я послал Вам нынче par avion просьбу напечатать объявление о том, что готовится новое издание *"Издательством Имени Чехова"* романа И.А. Бунина "Митина любовь" и отзывы печати о ней, а сейчас спешу просить Вас зачеркнуть слова: *"Издательством Имени Чехова"*: ведь издательство это может вломиться в амбицию: мы, мол, не давали права Бунину говорить от нашего имени, так что будьте добры напечатать так:

"Готовится новое издание романа И.А. Бунина "Митина любовь" — и все дальнейшее (все отзывы о "Митиной любви")

Сердечно Ваш Ив. Бунин

7 окт. 1952 г.

Дорогой Марк Ефимович,

Вчера в пять часов дня скончалась Надежда Александровна Тэффи — после трехдневных ужасных мучений от грудной жабы.

Я медленно поправляюсь после гриппа, которым болен весь Париж, ледяной, дождливый почти сплошь чуть не каждый день. Пишу в постели. Только что получил очередной сверток "НРС". Чрезвычайно благодарю Вас за напечатание моей рекламы о "Митиной любви".

Увы! Чеховскому И-ву мало Брандеса, А-де-Ренье, Айхенвальда: с месяц тому назад я подписал контракт с этим И-вом на 2 новых моих книги "Весна в Иудее" и "Митина любовь" и Т.Г. Терентьева написала мне, что их вот-вот пустят в набор и я возрадовался. Как вдруг ее новое письмо: "У нас установлено новое правило: выпускать книги обязательно с предисловиями, и

мы обратились к М.А. Алданову с просьбой написать предисловие к Вашим новым книгам". Я от такого оскорбления не могу придти в себя до сих пор! Каково? Я 65 лет издавался и в России и по всему миру без всяких *удостоверений*, что я достоин печататься. И вот дожил!

Написал, что не согласен на это.

Сердечно Ваш Ив. Бунин

10 дек. 52 г.

Дорогой Марк Ефимович,

Рад буду послать что-нибудь для НРС и к Рождеству и к Новому году, если хватит на то сил, которых, увы, весьма мало, ибо доживаю я свою жизнь поистине ужасно. Моя старость, моя астма, моя сердечная слабость, мое душевное состояние — все требует жизни на юге, на солнце, на воздухе, в комфорте, но доступно это человеку состоятельному, а не мне с моей несчастной женой, тоже старой и слабой, которая несет все домашние тяготы и весь уход за мной — и все это в дьявольском Парижском климате, при котором я безвыходно сижу в четырех стенах, и при дороговизне тоже дьявольской. А ведь доходы мои Вам известны и идут они только от этого самого "И-ва имени Чехова", которое, как Вы говорите, надо "холить и лелеять", а меня "лелеет" весьма оскорбительно. Я так и написал ему недавно в письме к Т.Г. Терентьевой, которая, конечно, в этом совсем неповинна. Я так и написал: "Будьте добры передать Вашей редакционной коллегии нижеследующее..." Я написал (очень сдержанно, очень вежливо), начав с того, что Чехов написал обо мне Амфитеатрову из Ялты 13 апр. 1904 г. (и что напечатано в московском издании писем Чехова, в 8-м томе, на странице 268-й):

"Пишу я теперь мало, читаю много. Сегодня читал первый "Сборник" изд. "Знания", между прочим Горьковского "Человека", очень напомнившего мне проповедь молодого попа, безбородого, говорящего басом, на о, прочел и великолепный рассказ Бунина "Чернозем". Это в самом деле превосходный рассказ, есть места просто на удивление!"

Я выписал это и продолжал так: "И вот прошло с тех пор почти 50 лет и я завоевал за это время одно из первых мест в

европейской литературе — и как был бы поражен Чехов, если бы узнал, как оскорбительно относится ко мне И-во *его имени!* За почти двухлетнее существование свое это И-во издало всего *одну* мою книгу. Книга эта вызвала единодушное не только восхищение, но даже удивление критиков своими достоинствами и идет, дай Бог не сглазить, не плохо, но повлияло ли это на И-во? Ничуть! Вот еще в конце лета сдал я ему две новых книги ("Весной в Иудее" и "Роза Иерихона" и "Митина любовь" и "Солнечный удар" с добавлением и в одной и в другой книге многих из моих *лучших* рассказов), но настал уже *декабрь*, а книги еще и не начаты набираться, валяются где-то, уступая эту честь *томам* других авторов..." Следовало бы прибавить: "И поистине бесконечным "Антологиям".

Все это между нами, дорогой Марк Ефимович, а то ведь обидятся: мол, жалуется на нас! А сказать это следовало бы даже публично, ибо вот уже лет 60 имею я дело с издательствами и *ни одно из них* не обрешало так со мною!

Ваш Ив. Бунин

23. XII. 1952

Дорогой Марк Ефимович,

Простите, — не мог послать Вам ничего ни к Рождеству ни к Нов. году все по моим немощам, — на этот раз по причине той "болезни вечной молодости", как называли ее в Риме, которая внезапно посетила меня опять вследствие большой и долгой потери крови (геморoidalной) — лежал пластом и так ослабел, что пришлось позвать врача специалиста. Сейчас понемногу прихожу в себя и надеюсь послать Вам кое-какие заметки на днях из моей "копилки", как называю я свою записную тетрадку.

С Новым годом и наилучшими пожеланиями Вам и всей редакции НРС!

Ваш Ив. Бунин

P.S. Из Чеховск. И-ва до сих пор ни слуху ни духу!

19 янв. 1953 г.

P.S. Пишу в постели — простите эти каракули.

Дорогой Марк Ефимович,

Еще раз прошу — простите, что не исполнил того, что обещал Вам, — дать что-либо Вашей газете к Рождеству и к Новому году: я очень тяжело заболел, — уже *два месяца, почти каждый день* теряю кровь (гемороидальную). Уже был консилиум врачей и приняты крайние меры (позавчера) — м.б. Бог даст они подействуют. А я как раз хочу начать писать к 1954 году (пятидесятилетие со времени смерти) небольшую биографию (вместе со своими личными воспоминаниями) Чехова, с которым я был столь близок, — книжку для издания на русском и на иностранных языках. Может быть, и напишу. *Но это весьма прошу Вас хранить пока в секрете* — чтобы не перебил дорогу какой-нибудь болван вроде Б. Зайцева, совершенно искажившего своей книжкой гордость нашего рода, Василия Афанасьевича Бунина, ставшего по своему "незаконному рождению" Жуковским, Василием Андреевичем (по своему крестному отцу).

Ваш Ив. Бунин

P.S. Пишу о Чехове (*тоже секретно*) только в Чеховское издательство.

Нынче получил Ваше письмо, дорогой Марк Ефимович, — письмо от 10 февраля, — и очень тронут им. Сердечно благодарю Вас!

Простите краткость, я очень слаб.

Шлю Вам мой портрет и пожелания всего доброго.

Ваш Ив. Бунин

14. 2. 1953

6 мая 1953 г.

1, rue J. Offenbach, Paris 16

Дорогой Марк Ефимович,

Будьте добры напеча[та]ть прилагаемое, по возможности *не откладывая в долгий ящик*. Если что-либо не понравится Вам, сделайте на моей статейке оговорку, что Вы в том или ином не согласны со мной. А если и это не удовлетворит Вас, *не печатайте*.

тайте ее совсем: ни на какие, даже малейшие, сокращения и изменения моего текста я, к сожалению, не могу согласиться. А если напечатаете, распорядитесь, пожалуйста, чтобы Ваша контора выслала мне две или три вырезки по воздуху.

Сердечно жму Вашу руку и желаю всего доброго.

Ив. Бунин

14 марта 1953

Дорогой Марк Ефимович,

Сердечный поклон — и покорнейшая просьба напечатать при сем прилагаемое "Письмо Георга Брандеса".

Заранее благодарю!

Ваш Ив. Бунин

5 апр. 1953 г.

Дорогой Марк Ефимович,

Огорчен, что Вы не напечатали мое о Брандесе ("Письмо Г. Брандеса"): ведь я хотел напечатать это *не ради тщеславия*, а как рекламу моей книге "Митина любовь", чтобы она лучше продавалась: ведь это *единственное*, чем я существую материально. Во всяком случае будьте добры в следующий раз, когда что-либо мое не пожелаете печатать, распорядиться, чтобы Ваш секретарь извещал меня об этом, а то очень неприятно ждать и не знать, какая судьба постигла то мое, что Вам послал я.

Ваш Ив. Бунин

ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ К В. В. РУДНЕВУ

(1933-1934)

Подготовила к печати Г. М. Лимонт

Марина Ивановна Цветаева (1892-1941) эмигрировала из СССР в 1922 г. Она сначала провела несколько месяцев в Берлине (где и познакомилась с Марком Слонимом), потом поселилась под Прагой, где учился ее муж, Сергей Эфрон, белый офицер. В 1925 году они переехали в Париж и вскоре поселились в предместье, так как жизнь в столице была слишком дорога. Нельзя забывать, читая эти письма, что литературный труд Марины Цветаевой был фактически единственным доходом семьи. Читатель не удивится, что здесь, в письмах редактору крупного журнала, он найдет разговор не только о литературе, но и о деньгах. Наверное, так всегда и бывает. Но с какой прямотой Марина Цветаева говорит о своем ужасающем положении и с каким достоинством!

Эти письма адресованы Вадиму Викторовичу Рудневу (1879-1940), который был одним из пяти редакторов (см. примечание 9 к письму №4) "Современных Записок", общественно-политического и литературного журнала, выходившего в Париже с 1922 по 1940 год. Для большей информации о журнале см. книгу М.В. Вишняка "Современные Записки", Воспоминания Редактора, Indiana University Publications Vol. 7, 1957. — Кто был В. В. Руднев? Видный член партии С.-Р., в 1917 г. московский городской голова, врач по образованию, несомненно очень преданный делу "Современных Записок", судя как по книге М. Вишняка, так и по письму №16 настоящего издания. Взаимоотношения В. Руднева и Марины Цветаевой не всегда были наилучшими. Они были давно

знакомы: Марина Цветаева упоминает его в письме к Анне Тесковой от 24 сентября 1926 г. Вершиной ее негодования против Руднева несомненно является ее же письмо к Вере Николаевне Буниной от 12 сентября 1933 г., в котором она полностью цитирует "ответ Руднева на Иловайского". Здесь, по-видимому, политическая точка зрения и чисто литературная никак не могли совпадать. Но нельзя упрекать Марину Цветаеву в лицемерии: достаточно прочесть письмо № 11, чтобы в этом убедиться. В своих письмах Марина Цветаева всегда вежливая, а когда в письмах к другим лицам она более резко выражает свое недовольство — что естественнее? Тем более, что никто из корреспондентов и не думал, что эти письма будут когда-нибудь обнародованы, и что какой-нибудь читатель их будет сопоставлять.

Эти письма являются в первую очередь ценным документом — о Марине Цветаевой, о ее быте — и даже о ее бытии, и о русских журналистических кругах этого времени. Это деловые письма, но кто же может отрицать, что в них гораздо больше, чем разговор о делах? Здесь читатель найдет историю издания крупных прозаических вещей Марины Цветаевой: и "Живого о Живом", и "Дома у Старого Пимена", даже "Матери и Музыки" и "Пленного Духа". И отношение ее (поэта!) к своей прозе и к своей работе вообще.

И как не понимать ее огорчение, когда сокращают ее очерки, или когда отказываются печатать ее стихи? М. Вишняк справедливо замечает, что печатали произведения Марины Цветаевой в 36 книгах из 70 "Современных Записок". Но "Современные Записки" соглашались печатать, главным образом, ее *прозу* — за что им большое спасибо, и за то еще, что давали ей возможность жить, но ведь Марина Цветаева чувствовала себя прежде всего *поэтом*.

Сравнить эти письма можно было бы с ее же письмами к князю Д. А. Шаховскому (в "Неизданных Письмах", Париж, 1972, стр. 339-368): другие времена (в 1926 году Марина Цветаева только что приехала в Париж и была полна надежд), другая личность также и, следовательно, другие отношения. С В. В. Рудневым Марина Цветаева никогда не была близко знакомой. И жизнь была для нее во всех отношениях (и общественных, и литературных, и семейных, и материальных, наконец) куда тяжелее в 30-х годах! (Об этом см. "Марина Цветаева, Из воспоминаний" Марка Слонима, в 100-й и 104-й книгах "Нового Журнала").

Были ли другие письма Марины Цветаевой к В. В. Рудневу —

трудно сказать. Настоящие письма находились в архиве Марка Львовича Слонима, который собирался их напечатать. Они были любезно нам предоставлены Татьяной Владимировной Слоним, которой мы выражаем здесь свою глубокую благодарность.

Заметим, что эти письма были написаны по старой орфографии — сохранить ее невозможно, зато были сохранены все особенности пунктуации Марины Цветаевой.

Г. Л.

1

Clamart (Seine)
10, Lazare Carnot
2-го марта 1933 г.

Милый Вадим Викторович,

Только что получила оттиски, — самое сердечное спасибо! Страшно тронута, что Вы об этом подумали. Читали ли, кстати, отзыв Адамовича? По-моему — милостиво.

И большое спасибо за налоговые советы — Вы правы (и Ремизов прав!) — проще всего и дешевле всего — платить.

Конец Макса, надеюсь, получили. С Вашей оценкой ("раболепство") несогласна, это — чистейшая моя ему за себя и за *многих* и заслуженнейшая им — БЛАГОДАРНОСТЬ. Но спорить не будем — как никогда не спорил Макс.

Очень рада буду когда-нибудь повидаться с Вами лично, скоро весна, — Вы наверное любите лес? Мы близко, — приедете на целый день, погуляем и побеседуем — в *мире*.

Сердечный привет и еще раз спасибо

МЦ.

2

Милый Вадим Викторович,
Мое отношение к Максимилиану Волошину Вам известно из моей рукописи.

Мое отношение к изъятию из *моей* рукописи самого ценного: Макса в Революцию, *его* конца и *всего* конца, Вам известно из моего устранения от всякого соучастия.

Причины, заставившие меня *моей* рукописи не взять обратно, Вам не могут *не* быть известны.

И, наконец, моя оценка письма Маргариты Сабашниковой для Вас несомненна.

Чего же Вы от меня хотите — и ждете??

А насчет "Экстренных мер" — автор человек бесправный и ничего (внешне) не может, особенно в наши дни.

Прилагаю письмо М. В. Сабашниковой.

Всего доброго

Марина Цветаева

Clamart (Seine)

10, Rue Lazare Carnot

19-го мая 1933 г.

3.

Дорогой Вадим Викторович,

Спасибо за деньги и за корректуру, но подлинника еще (11-ое июля) *не* получила. Пока сличаю *без*.

Если Вы не очень торопитесь с *корректурой*, я сама распрошу Ходасевича, послав ему текст (не из *корректур*, конечно!) По-моему — у него "le beau rôle" — терпения и, даже, мученичества, но...Бог его знает!

(Если бы Вы знали как *цинически врет* Георгий Иванов в своих "воспоминаниях", *все* искажая! И как — все ему сходит с руки! Но раз он на меня нарвался — и ему досталось по заслугам.)

Ответьте, пожалуйста, *когда* крайний срок *корректур*. Если тотчас — разоритесь на *рпеи*, я тогда заменю "Ходасевича" просто "поэтом".

До свидания. Спасибо. Скоро будем соседи, тогда придете в гости.

МЦ

Вы меня авансом страшно выручили!

Clamart (Seine)

10, Rue Lazare Carnot 11-го июля 1933 г.

4.

Clamart (Seine)

10, Rue Lazare Carnot

19-го июля 1933 г.

Милый Вадим Викторович,

Полное разрешение Ходасевича проставлять его имя: он мне вполне доверяет. Письмо его храню как оправдательный документ.

Я не знаю, кто правит корректуру, — Вы или М. Вишняк, но там предложены (карандашом) некоторые замены (мужской род на женский, знаки), которые я, в случае несогласия, восстанавливаю в прежнем виде. (Речь о *пустяках*, упоминаю для очистки совести!) Мне очень жаль (Вам — нет, конечно!), что моя корректура идет к Вишняку, а не к Вам, мы с Вами хотя и ссоримся — но в конце концов миримся, а с Вишняком у меня никакой давности...

Ходасевич отлично помнит Марию Паппер и, вдохновленный мною, сам хочет о ней писать воспоминания. Видите, какой у этих одиночек (поэтов) — *esprit de corps*: и *имя* дал — и сам вдохновился!

Написал мне, кстати, милейшее письмо, на которое я совершенно не рассчитывала — были какие-то косвенные ссоры из-за "Верст", и т.д.

Все это потому, что нашего полку — убывает, что поколение — уходит, и меньше возрастное, чем духовное, что мы все-таки, с Ходасевичем, несмотря на его монархизм (??) и мой аполитизм: *гуманизм*: МАКСИЗМ в политике, а проще: полный отворот (от газет) спины — что мы все-таки, с Ходасевичем, по слову Ростана в передаче Щепкиной-Куперник: — Мы из одной семьи, *Monsieur de Bergerac*! Так же у меня со всеми моими

”политическими” врагами — лишь бы они были поэты или — люблю поэтов.

А в общем (Мария Паппер — Ходасевич — я) еще один акт Максиного миротворчества. Я его, кстати, нынче видела во сне всю ночь в его парижской мастерской, где я никогда не была, и сама раскрывала окно и дверь от его астмы.

Рукопись получила. Корректуру Вишняку — самое позднее — завтра. Я сейчас, после всей прозы, дорвалась до стихов и с величайшим трудом отрываюсь.

Всего лучшего! Спасибо еще раз за деньги к терму.

А в Булонь нам нужно непременно — хоть под булоньские каштаны — ибо Мур с 1-го окт. начнет ходить в гимназию, к-ая мне, кстати, *очень* понравилась. (Была на акте).

Желаю Вам, милый Вадим Викторович, хорошего лета и полного отдыха от рукописей. Пускай Вишняк почитает!

МЦ.

5.

Clamart (Seine)

10, Rue Lazare Carnot

9-го сент. 1933 г.

Милый Вадим Викторович,

Посылаю Вам своего ”Дедушку Иловайского”, которого не приняли в Последних Новостях, как *запретную* (запрещенную Милюковым) *тему*. ”Высоко-художественно, очень ценно, как материал, но...” — вот *точный* отзыв Милюкова. Если эта тема у Вас *не* запрещена, что Вы скажете об этой вещи для С.З.? Это — только 1-ая ч., к ней приросла бы 2-ая, где бы я дала арест, допрос и конец старика (1918-1919 г.) и очень страшный конец его жены — как в страшном сне.

Вообще, мне бы для маленькой, но исчерпывающей повести — и даже *были*, которую я бы хотела написать об этом страшном *доме*, нужно было бы 2 листа. Дала бы судьбы детей, жен, — комнаты, жившие в таких домах не менее сильно, чем *люди*, дала бы огромный сырой (смертный!) сад, многое бы дала, чего здесь и не затронула. (Для газеты писать — одно горе! Все время считаешь строки и каждый раз — неверно! Но очень приятны

растроганные отзывы (даже Бунина!) о моем "Музее", напр. Значит, этот мир кому-то нужен.)

Если бы *имя* Иловайского кого-нибудь из Редакции утратило или оттолкнуло (не думаю: вы все *другого* поколения, а Милюков с ним, очевидно, повздорил *лично!* Кстати, Иловайскому бы сейчас было больше ста лет!) Итак, если дело в имени, готова назвать вещь "У Старого Пимена" — по названию московского тупика, в котором он жил.

Мне очень жаль было бы, если бы эта вещь пропала, я над ней очень старалась, и тема, по-моему, стоящая. Ведь раз вещь *кончилась*, неужели она не в праве была *быть*? Раз она *была*.

Не понимаю политического подхода Милюкова к явлению, данному явно в области жизненной, человеческой и даже мистической. (Ведь мой Иловайский — жуток! Эту жуть, в истории его жен и детей, в их смертях — усилю.)

Очень жду Вашего ответа. Если были бы маленькие, чистословесные, загвоздки (там есть одно место насчет "либеральных гимназий") — отметьте сразу, если дело в *словах* и этих слов немного — пошла бы на уступки. Но на *мой* взгляд — все приемлемо, если только не оттолкнет *имя*, которого ни изменить, ни заменить не могу.

Рукопись посылаю только на просмотр и очень прошу, милый Вадим Викторович, вернуть *заказным* — в том или ином случае.

Сердечный привет. Довольны ли своим летом? Я писательским — да, человеческим — нет: до тоски хочется новых мест, и не столько новых, как — просторных!

МЦ.

М.б. скоро будем соседями.

Clamart (Seine)
10, Rue Lazare Carnot
19-го сент. 1933 г.

Милый Вадим Викторович,

Очень рада, что мой Иловайский Вас не устрасил, т.е. м.б. и устрасил, но иначе. (Он, по-моему, *должен* устрасать, и мой, семейный, еще больше чем тот, общественный.) Вторая часть будет куда сильнее: антитеза с цветущими умирающими детьми, жизнь *вещей* в доме... Особенно страшна смерть жены, когда-то — красавицы, — одной, с сундуками в полуподвальной комнате, где день и ночь горел свет... Ее зверски убили, надеясь на "миллионы" и унеся 64 руб. с копейками... (1929 г.) Словом, напишу хорошо, потому что *очень* увлечена. А когда-нибудь (не сейчас, сейчас я вся в семейном) с удовольствием дам в С.З. весь свой материал о Блоке — много и интересно.

Итак, скоро примусь за Дедушку. Сейчас кончаю Музей и отца.

Всего лучшего.

МЦ.

7

Дорогой Вадим Викторович,

Самое глубокое и растроганное спасибо за помощь. Адр. Ремизовых попытаюсь нынче же достать у Евгении Ивановны (быв. Савинковой), она о ремизовских делах очень печется и, наверное, знает.

О рукописи. В черновике она у меня очень большая и, конечно, вся не поместится.

Теперь, очень прошу Вас, милый Вадим Викторович, определите мне ее предельный размер в печатных буквах.

Моя мечта была бы — 2 полных печатных листа (лист — 40.000 букв?) на все, с уже у Вас имеющимся, которое (1-ая ч.) очень прошу мне выслать возможно скорее — у меня там ряд неточностей.

Еще раз спасибо за подмогу.

Сердечный привет

МЦ.

8-го окт. 1933 г.

P.S. Можно мне будет попросить *об отдельных оттисках Макса*: 2-го, а по возможности и 1-го? (если еще не разбит шрифт).

Clamart (Seine)

10, Rue Lazare Carnot

12-го окт. 1933 г.

Дорогой Вадим Викторович,

Все получила: аванс, доплату, журнал, оттиски. Бесконечно тронута. Свои расписки прилагаю.

Иловайского (цельного) вышлю не позже как через две недели, может быть — раньше. Как Вы думаете, не лучше ли назвать вещь (по названию 2-ой ч.) Дом у Старого Пимена, что, отчасти избавляет ее от излишней "историчности" (ассоциации с учебником истории), Ваш журнал — от нареканий либеральных читателей и прибавляет ей человечности: вечности.

Мне такое название больше нравится: оно глубже, шире, внутреннее и больше соответствует *теме*: истории *дома*, не самого Иловайского.

Итак, еще раз спасибо. Убедена, что 2-ая ч. Вам понравится, т.е. взволнует. Мне ее, иными поздними часами, даже жутко писать.

Всего лучшего

МЦ.

9

Милый Вадим Викторович,

— Вот. —

Остается еще хвост, который не позже четверга.

Про Мура подробно — тогда же. Спасибо за добрый помысел.

Поздравляю с Буниным. (С Верой Муромцевой мы — почти родня: через Иловайских)

Исписала все чернила.
До свидания!

МЦ.

Хвост — 20 страниц.

Clamart (Seine) 10, Rue Lazare Carnot

11-го ноября, Armistice (а у нас война — *никогда* не кончилась!..)

10

Милый Вадим Викторович,

Наконец — конец.

Вписку про глаз — прилагаю.

Мой сын Мур учится в Ecole seconfaire de Clamart, в 9 кл. за плату 75 руб. в месяц. Если нужно будет свидетельство от директора — пришлю. Платить мне *невозмогу*, а переехать в Булонь (русск. гимназия) не могла по той же причине. Надеюсь — будущей осенью. Вообще — надеюсь. (??)

Всего доброго

МЦ.

P.S. У меня есть две квитанции за его учение: Октябрь и Ноябрь.

Вставку на 11 стр. (Цитата с глазом Митридата) пришлю с четверговым.

I Дедушку пришлось переписать — очень затаскался и выглядел не древностью, а ветошью.

На Пимена потеряла 3 фельетона в Посл. Нов., т.е. 600 фр., — но двух вещей зараз никогда писать не могла, — лучше ни одной (чего никогда не было!) Последние дни у нас перегорело все электричество, писала как Д.И. при свече, в дыму гаснувшей печки. Но все это — но и *это* пройдет (Соломонов перстень).

II

Clamart (Seine) 10, Rue Lazare Carnot
9-го декабря 1933 г.

Милый Вадим Викторович,

(Обращаюсь одновременно ко всей Редакции)

Я слишком долго, страстно и подробно работала над Старым Пименом, чтобы идти на какие бы то ни было сокращения. Проза поэта — другая работа, чем проза прозаика, в ней единица усилия (усердия) — не фраза, а слово, и даже часто — слог. Это Вам подтвердят мои черновики, и это Вам подтвердит каждый поэт. И каждый *серьезный* критик: Ходасевич, например, если Вы ему верите.

Не могу разбивать художественного и живого единства, как не могла бы, из *внешних* соображений, приписать, по окончании, ни одной лишней строки. Пусть лучше лежит до другого, более счастливого случая, либо идет — в посмертное, т.е. в наследство тому же Муру (он будет **БОГАТ ВСЕЙ МОЕЙ НИЩЕТОЙ И СВОБОДЕН ВСЕЙ МОЕЙ НЕВОЛЕЙ**) — итак, пусть идет в наследство моему *богатому* наследнику, как добрая половина написанного мною в эмиграции и эмиграции, в лице ее редакторов, *не* понадобившегося, хотя все время и плачется, что нет хорошей прозы и стихов.

За эти годы я объелась и опилась горечью. Печатаюсь я с 1910 г. (моя первая книга имеется в Тургеневской библиотеке), а ныне — 1933г., и меня все еще *здесь* считают либо начинающим, либо любителем, — каким-то гастролером. Говорю *здесь*, ибо в России мои стихи имеются в хрестоматиях, как образцы краткой речи, — сама держала в руках и радовалась, ибо не только ничего для такого признания не сделала, а, кажется, *все* — *против*.

Но и здесь мои дела не так безнадежны: за меня здесь — лучший читатель и *все* писатели, которые *все*: будь то Ходасевич, Бальмонт, Бунин или любой из молодых, единогласно подтвердят мое, за 23 года печатания (а *пишу* я — *дольше*) заработанное, право на существование без уреза.

Не в моих нравах говорить о своих правах и преимуществах, как не в моих нравах переводить их на монету — зная своей работы цену — цены никогда не набавляла, всегда брала что дают, — и если я нынче, впервые за всю жизнь, об этих своих правах и преимуществах заявляю, то только потому, что дело идет о *существовании* моей работы и о дальнейших ее возможностях.

Вот мой ответ *по существу и раз-навсегда*.

Конечно — Вы меня предупреждали о 65.000 знаках, но перешла я их всего на 18.000, т.е. на 8 печатных страниц, т.е. всего только на 4 листка. Вам — прибавить 4 листка, мне — уродовать вещь. Сократив когда-то мое "Искусство при свете совести", Вы сделали его непонятным, ибо лишили его связи, превратили в отрывки. Выбросив детство Макса и юность его матери, Вы урезали образ поэта на всю его колыбель, и в первую голову — урезали читателя.

То же самое Вы, моею рукой, сделаете выбросив середину Пимена, т.е. детей Иловайского, без которых — Иловайский он или нет — образ старика-ученого не целен, не полон. Вы не страницы урезываете, Вы урезываете образ. Чтоб на 8 стр. сказать все об этой сложной семейственности сколько мне самой нужно было ОТЖАТЬ, а Вы и это отжатое хотите уничтожить?!

Ведь из моего "Пимена" мог бы выйти целый роман, я даю — краткое лирическое Живописание: ПОЭМУ. Вещь уже сокращена, и силой большей, чем редакторская: силой внутренней необходимости, художественного чутья.

Если дело только в трате — выход есть: не оплачивайте мне этих 8 стр., пусть идут на оплату типогр. расходов: денежному недочету я всегда сочувствую: *это* для меня не урез, не это — урез.

Если же Вы находите, что вещь внутренне-длинна, неправдано-растянута и эти 8 стр. для читателя лишние — Старый Пимен остается при мне (я при нем), а Вам я пишу что-нибудь на те 300 фр. прошло-термового авансу, которым, Вы меня когда-то

выручили, за что сердечно-благодарна. Чему они в печатных знаках равняются?

Сердечный привет

Марина Цветаева

12

Clamart (Seine) 10, Rue Lazare Carnot
2-го мая 1934 г.

Милый Вадим Викторович,

Большая просьба:

так как, очевидно, мои стихи "Ода пешему ходу" в С.З. не пойдут, верните мне их, пожалуйста, чтобы не пропала работа по переписке, — м.б. еще куда-нибудь пристрою, а нет — отправлю кому-нибудь из моих далеких корреспондентов (есть в Харбине, есть в Эстонии) которому это будет — радость. А у меня в П.Нов. сидит враг, могущественный, к-ый не пропускает моего отрывка из "Пленного Духа", горячо прошенного у меня *рядом членов редакции*, и этим лишает меня 300 фр. — жизни.

Я даже подозреваю — кто: по личному своему к нему отвращению — вернее: *от него* (отвращаться *от*).

Сердечный привет и *очень* жду "Оды", если еще не погибла в корзине.

МЦ.

13

Clamart (Seine) 10, Rue Lazare Carnot
9-го мая 1934 г., среда

Дорогой Вадим Викторович,

Спасибо за работу. Деньги очень нужны, хорошо бы — 300 фр. (режет Мурина школа!). До последней минуты я надеялась на Посл. Нов., но они моего Белого явно похоронили, хотя сами же просили и даже торопили — (Сами — да не *те!*) Дело, думаю, в

Милюкове, которому, как материалисту, все духи, а особенно "пленный", вроде Белого, *ничего* на земле на земле не умеющие — должны претить, как мне — все обратное, т.е. *всеумение*.

Это гораздо глубже, чем вражда личная (да ее и нет!), это вражда — рас, двух особей, и *моя, конечно, побита — везде, всегда*.

И это мне еще наказание за отвращение к газете — ко всякой, всем! *Вид* ненавижу, *лист* ненавижу. Брезгую.

Такая роскошь — оплачивается.

Если увидите Демидова, запросите — в чем дело? Хотя уверена, что — *в том*.

Сердечный привет и еще раз спасибо.

МЦ.

Будут мне оттиски Белого? Впрочем, Вы всегда даете, а как это меня выручает! Идут по всему свету, даже завидно.

14

Vanves (Seine) 33, Rue Jean-Baptiste Potin
24-го июля 1934 г.

Милый Вадим Викторович,

Наконец, вновь обрела дар письменной речи, и перо, и чернила. Пишу после ужасающего переезда и в еще очень несовершенном устройстве: совершенном расстройстве. Газа нет, света нет и когда будут — неизвестно, ибо денег — нет.

Но Бог с моими делами (Вы все равно помочь не можете!) и обратимся к нашему *делу*, а м.б. и *делам*.

Итак:

С Люб. Дим. история не страшна. В моем тексте, по словам знатоков: *адвокатов* — ничего порочащего — нет: все во славу Блока, а не в посрамление ее. Во-вторых же — это пересказ, что уже сильно ослабляет всякую могшую бы быть виновность. Явный пересказ слов Белого. В третьих: ведь это — СЛУХ. Кто-то сказал Алданову. А м.б. — не сказал, не то сказал, не тот

сказал. Как же мне на этот анонимат — отзываться, да еще — публично? Да что, в конце концов, я могла бы сказать? Отказаться от факта, от к-го не может отказаться сама Любовь Дим., я не могу — смешно — да и низко. А от порочащего умысла, — да у меня же его и нет!

И откуда бы она подала в суд?? Да если бы и подала, разбор дела был бы не раньше чем через два года. (Последнее мне говорило лицо *сведущее*, юрист.)

Итак, давайте успокоимся. Впрочем, если лицо, передавшее якобы обиду Л.Д., назовется, охотно *ему* отвечу: когда услышу в точности — что я такого, якобы, сделала и что *она*, в точности, сказала.

Второе дело. Нужна ли вещь для С.З., и когда, и максимальный размер. О Блоке писать не могу. Вся *моя* встреча с ним по поводу его другого сына и кажется такого же не-его, как "Митька". А мать — весьма жива и очень когтиста, кроме того ежелетно ездит за-границу — и эта уж — непременно засудит!

Предлагаю вещь из детства, то, о чем я Вам уже писала, она уже вчерне написана, но доканчивать я ее буду только, если будет *надежда* на помещение, иначе придется взяться за какой-нб солидный перевод — жить не на что.

Очень прошу Вас, милый Вадим Викторович, *поскорей* ответьте: нужна ли, размер, и сообщите новые *условия*, которых я так и не знаю.

Всего доброго, жду весточки

МЦ.

15

Vanves (Seine)
33, Rue Jean-Baptiste Potin
26-го сент. 1934 г.

Милый Вадим Викторович,

— Ничего. —

Во-первых, я сама виновата что еще раз Вас не окликнула — для верности.

Во-вторых, пойдй вещь *сейчас*, у меня бы ничего не было для вечера, который мне нужен до зарезу.

Итак — до следующего номера!

А в Посл. Нов. я и не собиралась давать отрывков, *тогда* дала только потому-что *они* просили, а просили из-за *Белого* (имени) В данной же вещи ничего именного и злободневного нет, — мое младенчество и молодость моей матери.

Сердечный привет

МЦ.

— А стихов Вам не надо? Иль № уже отпечатан?

16.

Vanves (Seine)

33, Rue Jean-Baptiste Potin

7-го Октября 1934 г.

Милый Вадим Викторович,

Очень жаль, что не были — вечер прошел очень хорошо, и было даже уютно — от взаимной дружественности.

А та вещь, которую Вы просите прислать на просмотр — пустячек, на 10 мин. чтения вслух — и никакого отношения к "Мать и Музыка" не имеет: просто диалог, верней *триалог*, а успех имела потому-что — веселая.

Кроме того, она сразу была предзначена для Посл. Новостей — на небольшой фельетон.

"Мать и Музыка" вышлю на днях, кто-нб завезет на Rue Daviel. М.б. и стихи какие-нибудь присоединю, хотя мало верю, что вы (множеств. число!) — поместите: из-за ЛЕГЕНДЫ, что мои стихи — темны.

Пока до свидания — в рукописи!

— Неужели эмиграция даст погибнуть своему *единственному* журналу?! Какой позор. На *все* есть деньги (— у богатых, а они — *есть!*) — на картеж, на меха, на виллы, на рулетку, на издание идиотских романов — все это *есть* и *будет* — а журналу дают сдохнуть.

Это — *настоящий* позор: исторический.

Во всяком случае, у *Вас* должно быть чувство полного удовлетворения: Вы, своими силами, делали все, что могли — до конца. Но что "силы" перед — КАРМАНАМИ: ПОРТ-ФЕЛЯМИ.

Какая все это — мерзость! И как хочется об этом сказать — открыто: в лица тем, у которых на лице вместо своей кожи — *КОЖАНАЯ*, (нет, *лучше* нашла!) — *СВИНАЯ*.

Итак — до свидания: может быть — последнего.

МЦ.

17.

Vanves (Seine) 33, J.-B. Potin
13-го дек., четверг.

Милый Вадим Викторович,

Корректуру — самое позднее — получите завтра, в пятницу. Не сердитесь, но два подсомненных для Вас места (о нотах и, позже, о "правой" и "левой") я отстаиваю, ибо и итак уж рукопись сокращена до предела. Кроме того, *первого* еще никто не отмечал, а второе — вообще показательно для ребенка (невозможность представить себе вещь с другой стороны) — и кроме всего — ведь это такое маленькое!

(А какая грязная была рукопись! У-жас-ная! Отсылала ее с отращением...)

А почему Вы против "УМОЛКШЕЙ птице". Ведь *две* формы: умолкший и умолкнувший, я беру короткую. Я там, выскребая Вашу поправку, до дыры проскребла и теперь не знаю, что делать. (Мне *УМОЛКШЕЙ* — милее ритмически.) Да, в подтверждение мне: несмолчность — несмолкаемость, тоже две формы, — немолчность — неумолкаемость. Это уж — корень такой?

Приложу отдельный листок особенно-опасных опечаток. А корректор Вы — чудный, после Вас почти ничего не остается делать.

Всего доброго!

МЦ.

Читали в Посл. Нов. поэму Гронского? Погиб настоящий поэт.

18

Милый В.В.

(Страшно спешу.) Вчера не ответила на ряд вещей, п.ч. не знала, что в моем тексте — письмо.

О кавычках и тире. Кавычки у меня *только* в таких случаях: "...Это тебя не касается". Тогда я, обиженная...
если же

... Это тебя не касается, сказала мать — то *без* кавычек. Кавычки только, чтобы не сливалось, а во втором случае слиться не может. Это у меня проведено строжайшим образом, проверьте в любом месте.

Прилагаемые 2 листочка — наборщику, там все *основное* выписано, ему будет легче, а нам с Вами — спокойнее.

Если Аля Вас застанет, передайте ей, пожалуйста, бунинские деньги, за к-ые — спасибо.

Да! А Муру книжку очень хотела бы какую-нибудь русскую — посерьезнее и потолще, не детскую, какого-нб классика. И был бы подарок на Рождество. Нет ли, случайно, Жуковского?

Но — всякое даяние — благо, и вообще — спасибо.

Желаю удачи с Н. А что — если бы устроить вечер в пользу С.З. и притянуть Бунина? Я бы охотно и бескорыстно выступила (но не одна) *Подумайте!*

МЦ.

Пятница

19

Vanves (Seine)

33, Rue Jean-Baptiste Potin

31-го декабря 1934 г.

С Новым Годом, Дорогой Вадим Викторович!

Дай Бог — Вам и журналу...

А пока, как новогодний Вам подарок — 4 артистически-урезанные, в самом конце, строки — переверстывать придется самую малость.

Новый Год встречаю одна, как большевики пишут: "Цветаева все более и более дичает".

Алю наверное увидите на вечере Красного креста.

Большая просьба: я давным-давно должна А.И. Андреевой деньги, и все не могу вернуть из-за тянущейся канители с "Посл. Новостями". Если можно, вышлите ей из моего гонорара 60 фр. по адр.

Mme Anna Andreieff

24, Rue de la Tourelle

Boulogne (Seine)

— она в кровной нужде: стирает белье, и т.д., и я уже ей не могу на глаза показаться.

Сердечный привет и лучшие пожелания.

МЦ.

Выпуск отчеркнуть красным: ровно 4 строки в конце последней стр.

ПРИМЕЧАНИЯ

Письмо № 1

1. Ремизов Алексей Михайлович (1877-1957). М.Ц. его высоко ставила как стилиста. Он сотрудничал в сборниках "Версты".

2. "отзыв Адамовича". — Адамович, Георгий Викторович (1894-1972). По-видимому, речь идет о статье Адамовича "Современные Записки", кн. 51, напечатанной в "Последних Новостях" в № от 2 марта 1933 г. В этой

книге "С. З." были опубликованы "Дом" и "Искусство при свете совести" М.Ц.

3. "Налоговые советы". Об этих налогах см. письмо к Анне Тесковой от 7 марта 1933 г. (М. Цветаева. "Письма к Анне Тесковой", Academia, Прага, 1969.)

4. "Конец Макса" — речь идет о вещи М.Ц. "Живое о Живом" (О Максимилиане Волошине), напечатанной в №№ 52 и 53 "Современных Записок" и переизданной в кн. Марина Цветаева, "Проза", изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1953.

Письмо № 2

5. "Мое отношение к Максимилиану Волошину... рукописи", — см. прим. 4 к письму № 1.

6. "письмо Маргариты Сабашниковой." — О каком письме речь нам неизвестно. Маргарита Васильевна Сабашникова (1882-?) художница акварелистка. Первая жена Макса Волошина.

Письмо № 3

7. "я сама спрошу Ходасевича" — см. письмо № 4. Ходасевич, Владислав Фелицианович (1886-1939) — поэт и критик.

"У него "le beau g le" — терпения и, даже, мученичества...". В своей вещи "Живое о Живом" М.Ц. рассказывает, со слов Волошина, как поэтесса Мария Паппер заходила к Ходасевичу читать ему свои стихи (М.Ц., "Проза", стр. 186-188).

8. "как *цинически врет* Георгий Иванов в своих "воспоминаниях". Имеются в виду, вероятно, "Китайские тени", воспоминания поэта Георгия Иванова (1894-1958) об Осипе Мандельштаме, которые появились в "Последних Новостях" № 3258 от 22 февраля 1930 г. В ответ М.Ц. написала "Историю одного посвящения", опубликованную впервые Марком Слонимом в "Oxford Slavonic Papers" 1964, volume XI. Затем "История одного посвящения" была напечатана в № 3 "Литературной Армении" за 1967 г., а также в "приложениях" 3 тома "Собрания сочинений" Осипа Мандельштама, Нью-Йорк, 1969.

"Раз он на меня нарвался — и ему досталось по заслугам" — В вышеуказанном очерке, в части, озаглавленной "Защита бывшего", М.Ц. цитирует Г. Иванова и абзац за абзацем восстанавливает правду.

9. Pneu = письмо по пневматической городской почте.

Письмо № 4

10. "Вы или М. Вишняк". Марк Вениаминович Вишняк (1883-1975), один из редакторов "Современных Записок". См. книгу М.В. Вишняка "Современные Записки" Воспоминания редактора. Indiana University Publications, 1957.

"Мне очень жаль, что моя корректура идет к Вишняку". В вышеуказанной книге М. Вишняк говорит: "Что же касается совершенно "непонятных для себя вещей" (...) — действительно, скажу за себя, я всегда противился их напечатанию".

11. "Ходасевич отлично помнит Марию Паппер" (см. "Проза" стр. 186-188).

12. *Espirit de corps* — сословный, корпоративный дух.

13. "Были какие-то косвенные ссоры из-за "Верст"... "

"Версты" — сборники под редакцией кн. Д.П. Святополк-Мирского, П.Н. Сувчинского, С.Я. Эфрона и при ближайшем участии Алексея Ремизова, Марины Цветаевой и Льва Шестова. Париж, 1926-28 гг. Всего вышло 3 сборника. Ходасевич написал для "Современных Записок" (кн. 29, 1926 г.) большую отрицательную статью о "Верстах". Об этой "неприятной истории" см. М. Вишняк, "С.З.", стр. 140-145. В письме Вере Буниной от 26 февраля 34 г. М.Ц. пишет: "Я ему (Ходасевичу) всё прошая за его Белого ("Неизд. письма", стр. 459).

14. Щепкина-Куперник, Татьяна Львовна (1874-1952).

15. "Мы из одной семьи, Monsieur de Bergerac" — по-видимому, это перевод известной реплики из "героической комедии" Эдмона Ростана "Cyrano de Bergerac".

Письмо № 5

16. "Посылаю Вам своего "Дедушку Иловайского". — Речь идет о первой части очерка "Дом у Старого Пимена", который был напечатан в 54 книге "С.З." (1934 г.), стр. 212-256, и переиздан как 2-е приложение к "Неизданным письмам" (стр. 542-602) по рукописи, найденной в бумагах В. Буниной. В письмах к Вере Буниной М. Цветаева часто говорит об этом своем очерке и просит дать ей точные сведения об этом доме. Ведь Вера Николаевна Бунина, урожденная Муромцева, "была ей почти родня — через Иловайских". Для полной истории писания этой вещи М.Ц. см. письма ее к В. Буниной.

17. Милюков, Павел Николаевич (1859-1943), — в эмиграции — редактор газеты "Последние Новости".

18. "О моем "Музее": "Открытие Музея" помещено в "Встречах" 11 (1934), стр. 69-72, переиздано в "Прозе", стр. 96-101.

19. Иловайский, Дмитрий Иванович (1832-1920) — историк. На его дочери, Варваре Дмитриевне, был женат первым браком отец Марины Цветаевой.

20. "... либеральных гимназий": Руднев оставил эти слова (см. "Неизд. письма", стр. 551, строка 8 сверху).

Письмо № 6

21. "Вторая часть..." — Она была напечатана вместе с первой в той же 54-й книге "Современных Записок", что и первая (называвшаяся "Дедушка Иловайский"). Вторая же часть была озаглавлена, как и весь очерк, "Дом у Старого Пимена".

22. "Дам в С.З. весь свой материал о Блоке". Нигде не указано, что М.Ц. осуществила этот план. Но, судя по письмам Вере Буниной от 11 февраля 1935 ("Неизд. письма", стр. 485), а также Анне Тесковой от 18 февраля 1935 ("Письма к А. Тесковой", стр. 119). 2 февраля 1935 г. состоялся литературный вечер о Блоке, общий с В. Ходасевичем: М.Ц. прочитала "Моя встреча с Блоком", Ходасевич — "Блок и его мать". М. Цветаева готовилась ко второму выступлению: "Последняя любовь Блока" — через месяц (см. ее письмо В. Буниной от 6 февраля 1935 г. в "Неизд. письмах", стр. 485). Но, по-видимому, ничего не было напечатано, хотя в "Пленном Духе" в 1934 г. она пишет: "Когда буду когда-нибудь рассказывать о Блоке..." ("Проза", стр. 313). См. письмо № 14: "О Блоке я писать не могу".

Письмо № 7

23. Ремизовы: Алексей Михайлович Ремизов (см. прим. 1 к письмо № 1) и его жена Серафима Павловна.

24. Евгения Ивановна (Ширинская-Шихматова, по первому браку Савинкова). По письмам М.Ц. Вере Буниной мы знаем, что Е.И. была знакома с Верой Буниной, см. письмо от 10 ноября 1933 г. ("Неизд. Письма", стр. 449).

Письмо № 9

25. Мур — Георгий Сергеевич Эфрон (1925-1943?).

26. "Поздравляю с Буниным" — Иван Алексеевич Бунин (1870-1953), получил Нобелевскую премию в 1933 г.

27. Armistice = перемирие. 11-го ноября празднуется во Франции день окончания первой мировой войны.

28. По преданию на перстне царя Соломона было написано: "И это пройдет", см. стихотворение М.Ц. 1923 г. "Минута": "У славного царя щедрот / Славнее царства не имелось, / Чем надпись: "И сие пройдет" — / На перстне..."

Письмо № 10

29. Ecole Secondaire de Clamart = в средней школе в Кламаре.

Письмо № 12

30. "Ода пешему ходу" была напечатана впервые в сборнике "Избранное", М., 1961.

31. "моих далеких корреспондентов (есть в Харбине, есть в Эстонии)" — В Харбине жили тогда Арсений Несмелов и Наталья Резникова, которые не переставали видеть в Марине Цветаевой одного из самых великих поэтов XX века. В "Книжных новинках" 26 номера журнала "Рубеж", Харбин, 1933, Наталья Резникова дала (стр. 24) высокую оценку очерка М.Ц. "Живое о Живом".

В Эстонии, в Ревеле, жил в эти годы Ю.П. Иваск, с которым завязалась переписка весной 1933 г. (см. "Русский Литературный Архив", Нью-Йорк, 1956, стр. 208).

32. "Пленный Дух" (Моя встреча с Андреем Белым) был издан в 55-й книге "Современных Записок", в 1934 г.

Письмо № 13

33. Милюков, редактор "Последних Новостей". См. прим. 17 к письму № 5.

34. "отвращение к газете" — Эта тема не раз встречается у М.Ц.

35. Демидов, Игорь Платонович (1873-1946) — ближайший сотрудник П.Н. Милюкова по редактированию "Последних Новостей".

Письмо № 14

36. "Люб. Дим.": Любовь Дмитриевна, жена Блока. Об этой вещи — или вещах? — М.Ц. см. прим. 22 к письму № 6.

37. Алданов (Ландау), Марк Александрович (1882-1957) — автор исторических романов.

38. "Вся *моя* встреча с ним по поводу его другого сына и кажется такого-же не-его, как "Митька" — В своем очерке "Герой труда" М.Ц. говорит (стр. 253), что она встретила "Блока — два раза", а в "Моем Пушкине" (стр. 62) упоминает, что "во все глаза впервые глядела на Блока".

39. Внизу этого письма, очень мелким почерком — не Руднева — Вишняка? — чернилами написано: 260 фр. за 40.000 зн.

Письмо № 15

40. "мое младенчество и молодость моей матери" — Речь идет об очерке "Мать и Музыка", напечатанном в 57-ой книге "С.З."

41. "А стихов Вам не надо?" — В той же 57-й книге появилось стихотворение "Тоска по родине!"

Письмо № 16

42. "просто диалог, верней *триалог*": Речь идет о "Сказке матери" малолетним Асе и мне", как писала М.Ц. Вере Буниной 2 ноября 1934 г. ("Неизд. Письма", стр. 476).

43. "Rue Daviel" — Полный адрес редакции и конторы "Современных Записок" в те годы был: 6, rue Daviel, Paris (XIII).

44. "Вы, своими силами, делали все, что могли — до конца". В своей книге "Современные Записки" М. Вишняк о роли В. Руднева говорит: "Но на нем лежала и гораздо менее приятная задача — добывание необходимых журналу средств".

Письмо № 17

45. "Читали в Посл. Нов. поэму Гронского? Погиб настоящий поэт". Гронский, Николай Павлович (1909-1934) — молодой парижский поэт, сын известного общественного деятеля, члена Государственной Думы от партии К.Д., П.П. Гронского. Цветаева дружила с ним в конце 20-х годов. Гронский погиб под метро 21 ноября 1934 г. Об их отношениях см. письмо к Анне Тесковой от 27 декабря 1934 г. Поэма Гронского "Белла Донна" была напечатана в "Последних Новостях" от 9 декабря 1934 г. с предисловием Г. Адамовича. Марина Цветаева написала о Гронском статью "Посмертный подарок", которая не была принята в "Последние Новости" и впервые опубликована в 5-м альманахе "Воздушные пути", Нью-Йорк, 1967 (стр. 203-214). В том же номере перепечатана и "Белла Донна". В 58-й книге "Современных Записок" за 1935 г. были помещены стихи М.Ц. его памяти: "Иду на несколько минут...", "Напрасно глазом, как взором...", "За то, что некогда юн и смел...". 11 апреля 1935 г. М.Ц. прочла доклад о поэзии Н.П. Гронского, а в 61-й книге того же журнала за 1936 г. была помещена ее рецензия "О книге Н.П. Гронского — "Стихи и поэмы" (изд. "Парабола", Париж, 1936).

Письмо № 18

46. Аля — Ариадна Сергеевна Эфрон (1913-1976), дочь Марины Цветаевой.

47. Мур — сын М.Ц. См. примечание 25 к письму № 9.

Письмо № 19

48. "А.И. Андреевой": Андреева, Анна Ильинична (1885-1948), урожденная Денисевич, в первом браке Карницкая, вторая жена писателя Леонида Николаевича Андреева (1871-1919).

КОНЕЦ МАРШАЛА БЕРИЯ

1.

— Старик помер...

— Когда?

— Да точно не знаю. Несколько часов назад.

— Где же?

— А на своей даче "Ближняя", в Кунцево. И что теперь будет... кто ведаёт...

Лицо у моего соседа, майора КГБ Косникова, было темным и сплюснутым, маленькие глаза жестко смотрели исподлобья, он всегда напоминал мне крота, выползшего из подземелья. Но сейчас я заметил, что его глаза как бы увлажнились и ресницы дрогнули. Это поразило меня, потому что я думал, что у такого человека слез нет.

Он поджаривал себе яичницу с ветчиной, я же кипятил воду для чая. Было далеко за полночь. И в кухне никого кроме нас не было. Косников последние три дня дома не появлялся. Он был работником управления охраны и, как мне известно, дежурил на важных участках "Сталинской трассы", то есть дороги из Кремля на дачу "Ближняя", по которой ездил вождь. Из разговора с Косниковым я понял, что последние три дня все сотрудники управления охраны КГБ были переведены на казарменное положение и всем было выдано дополнительное оружие.

Так в кухне коммунальной квартиры я узнал о смерти Сталина. И более всего меня поразило, повторяю, то, что глаза Косникова увлажнились, когда он сказал "старик помер...". И

еще мне запомнился тяжелый вздох, которым он сопроводил слова "и что теперь будет... кто ведает..."

У таких кротов было отличное чутье.

У меня же слезы на глаза не навернулись.

— Да, это большая утрата для страны, — сказал я и вернулся к себе в комнату, жалея, что произнес эту дурацкую фразу.

Выпив стакан чаю я прилег на диван и задумался. Нет, слезы из моих глаз не шли, но что-то вдруг стянуло грудь, и я почувствовал, как на меня опустилась какая-то тяжесть. Мысли в голове были скованы. Я хотел думать, и не думалось. Это был какой-то внутренний затор. Что-то остановилось. Прежде всего я не мог понять: как на меня подействовала смерть Сталина. Ее я, конечно, не исключал с момента опубликования в газетах первого коммюнике о его болезни. Тут, казалось бы, нельзя было оставаться равнодушным: безусловно наступал поворотный пункт в истории СССР и, может быть, всего мира. Но обрадовала ли меня смерть Сталина? Или огорчила?

Я не мог ответить на этот вопрос. Наверное я опять был в плену "гамлетовского комплекса" и не мог сладить со своими сомнениями. Что же во мне все-таки было — любовь к Сталину или ненависть к нему? Вероятно и то и другое в каком-то, конечно, патологическом сочетании.

Я оделся и вышел на улицу. То же самое я сделал после смерти моей любимой матери 15 лет назад в Тбилиси, когда пробродил всю ночь по улицам и впервые выкурил папиросу. Тогда это была моя первая встреча со смертью, я был глубоко потрясен. Теперь же, медленно бредя по кольцу "А", я испытывал смешанные чувства. Москва спала. Редкие автомобили встречались на улице. Только пересекая Арбат, я ощутил вокруг себя что-то тревожное. По углам, переминаясь с ноги на ногу, стояли два или три "мальчика" в маленьких кепочках с оттопырившимися под пальто револьверами на боку. "Сталинская трасса" охранялась усиленно. Я ухмыльнулся и подумал, что вождя уже нет, а трасса, по которой он ездил, все еще охраняется. И тут же подумал: "А кто же будет следующим вождем?". Но эта мысль была мгновенной. Тогда у меня не возникало и подозрения, что кто-то из его "соратников" мог ускорить его кончину или даже просто умертвить его. (Этого я не

исключаю теперь). А между тем я знал из надежных источников, что последние годы шла напряженная борьба между Маленковым и Берия и что Сталин ее поощрял. Больше того, я знал, что последние годы Сталин держал Берия в отдалении и передал органы госбезопасности в ведение другого члена Президиума ЦК КПСС. Это было, конечно, ударом по Берия.

Бредя по кольцу "А", я все никак не мог сладить с самим собой и подвести итоговую черту, как это обычно делал. Смерть Сталина лишь оголила мой внутренний конфликт. С одной стороны, можно ли было забыть, что несколько лет назад, будучи в Германии, я хотел бежать на Запад и оттуда открыто клеймить Сталина, как тирана и кровопийцу. С другой же стороны, все эти годы, изо дня в день, я прославлял его в своих статьях, и моя пьеса "Джон — солдат мира" заканчивалась словами: "Да здравствует великий знаменосец мира — Сталин!" Не был ли я олицетворением фантастической мимикрии, захватившей целый народ? Не происходило ли нечто аналогичное с немцами при Гитлере? И разве они не заплатились за это поражением и великим позором? Это для меня не были новые вопросы; они нет-нет да всплывали в моем сознании. Смерть Сталина только заострила их. Конечно, я привык к сталинскому ритму и стилю жизни, к ажиотажу, искусственному энтузиазму и патриотизму, которые он так умело создал; я принял его идеологию, то есть идеологию марксизма-ленинизма, считая ее самой передовой в мире, я подчинился сталинскому жестокому реформаторству и его гигантской пропагандистской машине, маленьким винтиком которой был и я. Все это порождало то, что я уже назвал дьявольской смесью веры с неверием.

А укор еще сверлил мозг: "Не забывай, что ты связан с КГБ, что ты особо доверенный, что ты в числе привилегированных, в числе элиты, выпестованной Сталиным". Это был справедливый упрек. За эту самую привилегированность и принадлежность к элите, которые теперь жгли меня стыдом и лишали внутреннего покоя, я должен был бы ненавидеть Сталина больше, чем кто-либо другой.

Нет, нет, слез в моих глазах не было.

2.

Утром из репродукторов, развешанных на столбах по всей Москве, доносилась похоронная музыка — Бетховен, Шопен, Скрябин...

Я поехал в Московский драматический театр имени Пушкина, где шла моя пьеса и где я себя чувствовал как дома, зная всю труппу. Троллейбус был переполнен. Большинство, конечно, уже читало в "Правде" или слышало по радио о смерти Сталина. Все центральные газеты вышли с черными рамками, обрамлявшими первые полосы, посвященные "великому кормчему человечества". Разглядывая лица людей, я интуитивно угадывал в них то, что привело позже к экстазу, когда в день похорон Сталина у здания Дома Союзов были в буквальном смысле раздавлены сотни москвичей, пытавшихся приблизиться к гробу "отца и учителя". У многих лица были заплаканы. Трудно поверить, но это было так. Почти никто ничего не говорил. Траур сразу погрузил массы в молчание, и это было величественно. Однако мне все же показалось, что в выражении очень многих лиц было то же, что и на моем лице — растерянность. И это означало, что очень многие переживали то же, что переживал и я. Помню, тогда я подумал, что ведь привыкают и к палке, что даже заключенные, просидевшие в тюрьме полвека, выйдя на волю, начинают скучать по ней. И в то же время я подумал, что на войне были герои, которые бросались в атаку с возгласом "за Сталина!" и с его именем умирали.

Это было явление века. И я бы прибавил к этому еще порой, не сознаваемую, но величайшую эмоцию века — страх!

Несмотря на раннее время вся труппа уже собралась в театре. Рабочие сцены прикрепили к центру бархатного занавеса большой портрет Сталина и декорировали просцениум шелковыми лентами и цветами. Оркестр исполнял грустные мелодии. В ожидании траурного митинга я сел в уголке, в партере, и погрузился в воспоминания. Мне вспомнились слова, сказанные главному режиссеру, Народному артисту СССР Ванину накануне премьеры "Джона — солдата мира":

— А что если завтра к нам на спектакль придет сам... Сталин?

— Это вполне возможно, — ответил Ванин. — Я давно мечтаю с ним встретиться.

И я мечтал о встрече со Сталиным. По ночам перед сном я даже воображал *как* такая встреча будет происходить. Я даже заранее готовил вопросы, которые мог бы задать вождю и свои ответы на его вопросы. Я мысленно жал ему руку, радушно ему улыбался и думал поразить его своим грузинским языком и знанием многих чудесных грузинских песен. Но я не собирался открыть ему свое агентурное имя "Сулико", хотя эта деталь и могла бы ему понравиться.

Увы, на премьеру "Джона — солдата мира" вождь не приехал и просто потому, что он предпочел в тот воскресный вечер посетить Малый театр.

Эти воспоминания прервал Названов. Он подошел ко мне, положил руку на мое плечо и сказал вполголоса:

— Пойдемте займем места в почетном карауле.

В центре, на просцениуме, уже было несколько венков. Мы стали в почетный караул у мраморного бюста вождя. Нас было четверо: Ванин, Названов, актриса Викланд и я. Мы простояли положенных пять минут в полном молчании, скорбя по великом "кормчем".

Нас сменила другая четверка. Когда мы спустились в зал, Названов отвел меня в сторону и шепотом сказал мне на ухо:

— Слава Богу, подохла старая скотина. Но вопрос: кто займет его место? И это, знаете, немаловажный вопрос. При нашей системе на смену одной скотине может прийти другая, не лучшая...

И хотя Названов тогда уже был Заслуженным артистом РСФСР, лауреатом трех или четырех Сталинских премий и пользовался почетом в театральных кругах как актер, у него были основания ненавидеть Сталина: он просидел несколько лет в тюрьме и был в ссылке за то, что где-то рассказал какой-то антисоветский анекдот. Но почему он вдруг рискнул шепнуть мне на ухо эти страшные слова? Наверное, он угадывал, что происходит у меня внутри и, наверное, его девятое или двенадцатое чувство подсказывало ему, что я на него не донесу, потому что сам ненавижу Сталина.

А на премьеру "Джона — солдата мира" Названов со сцены

громко кричал: "Да здравствует великий знаменосец мира — Сталин!" Я же тогда, повторяю, мечтал о встрече с великим Сталиным!

3.

Это было экстраординарное задание, и приказ исходил лично от маршала Берия. Когда я услышал, что мне надо было сделать, я почувствовал холод в сердце, а по спине заползали мурашки. Такого рода заданий я никогда не выполнял и не хотел выполнять ни при каких обстоятельствах. Это я оговорил в самом начале моего сотрудничества с МГБ.

Майор Кунавин, пригладив свои выющиеся каштановые волосы, красиво обрамлявшие его узкий лоб, сказал:

— Маршал Берия выбрал лично вас. Он знал вашего отца. (Кунавин произносил имя Берия подобострастно — Берия уже был боссом МВД, объединившего, после смерти Сталина, оба министерства — МВД и МГБ.) — Вы должны гордиться, что он выбрал именно вас. У него ведь были и другие кандидаты.

Мы сидели за круглым столом в одной из явочных квартир органов Госбезопасности в Газетном переулке, неподалеку от Центрального телеграфа. Стараясь скрыть охватившее меня волнение, я закурил и попытался возразить Кунавину:

— Да, но ведь меня знают в Грузии...

— Вот именно поэтому вы и справитесь с поручением лучше, чем кто-либо другой, — перебил меня Кунавин.

Дело заключалось в том, что министр внутренних дел СССР, маршал Берия, решил послать нескольких "доверенных лиц" в различные республики страны с тем, чтобы "прощупать" настроение. И вот на мою долю выпала Грузия, по существу — моя родина. Кунавин намекнул мне, очень осторожно конечно, что мой "отчет" должен понравиться Берия, то есть он должен был быть анти-Маленковским. Я сразу понял намек, ибо давно уже знал о затаенной борьбе между Маленковым и Берия. После смерти Сталина эта борьба, разумеется, обострилась, приняв уже смертельный характер, хотя внешне создавалось впечатление, что Маленков и Берия "подружились" и будут управлять страной вдвоем. Ведь после смерти "великого вождя" Маленков занял

пост и Председателя Совета министров СССР, и Первого Секретаря ЦК КПСС, Берия же — пост министра Внутренних дел СССР. О том, что они заключили между собой временный "союз" говорило то, что Маленков утвердил все новые назначения Берия в МВД. Жена Деканозова говорила мне, что ее мужа, которого Берия назначил министром Внутренних дел Грузинской ССР, перед отъездом в Тбилиси принял Маленков и имел с ним "приятную" беседу. Берия тогда расставлял своих людей на важных узловых пунктах руководства страной. Генерал Гвишиани возглавил органы Госбезопасности на Дальнем Востоке, Гоглидзе был послан в Ленинград, Мильштейн, кажется, в Прибалтику или на Украину, Цанава был в Белоруссии и так далее. А во времена Сталина, практически руководя Оргбюро ЦК, Маленков всеми силами старался избавиться от людей Берия и, в частности, сместил Деканозова с должности заместителя министра Иностранных дел. Оставшись без работы, а позже получив назначение на должность начальника Административно-хозяйственного управления Всесоюзного радиокомитета, он, между прочим, пошел к начальнику охраны Берия, полковнику Саркисову, и из его квартиры (в районе Сретенки) позвонил по кремлевскому телефону прямо Берия. Выслушав его, тот сказал:

— Сейчас не подходящее время для жалоб, Володя. Тебе надо взять себя в руки и терпеть. Я думаю, не очень долго.

О том, что между Маленковым и Берия шла затаенная, но уже смертельная борьба, хотел он того или нет, свидетельствовал и майор Косников. Как-то, недели через две-три после прихода к власти альянса Маленков-Берия, он, жаря поздно ночью в кухне свою яичницу с ветчиной, мрачно заметил:

— У нас в министерстве полный бардак. Берия дает приказ, а Маленков звонит из Кремля, отменяет его и дает свой...

При этом Косников достаточно рискованно отозвался о Маленкове. Надо сказать, что все работники органов Госбезопасности боготворили Берия и были готовы идти за него в огонь и в воду. Ведь на протяжении многих лет он обеспечил им особые условия жизни, практически, превратив их в "суперменов". Они получали большую зарплату, пользовались специальными льготами и, главное, считали себя безупречными.

Естественно, Косников, как и Кунавин и все другие, в борьбе между Маленковым и Берия был на стороне последнего.

После встречи с Кунавиным, я задумался, во-первых, о том, как выполнить возложенную на меня "почетную миссию", отказаться от которой я не мог (это было бы равносильно смерти, особенно в то время). Мне предстояло поставить на карту не только свою жизнь, но и жизнь моих друзей, знакомых и товарищей в Грузии. Во-вторых, думал о том, зачем Берия понадобилось "прощупывать" общественное мнение, которым никто из советских вождей никогда прежде не интересовался. Тогда у меня и мелькнула мысль: а что если Лаврентий Павлович метит на место Маленкова? Это была шальная мысль, ибо я был уверен, что после Сталина к управлению Россией не может прийти еще один грузин. Однако нынче я не исключаю того, что тщеславие и жажда власти привели Берия именно к этому намерению.

Словом, утешить мне себя было нечем. Я явно попал в русло очень опасного поединка между двумя опытными царедворцами.

Ко всему тому, вокруг начали происходить странные вещи. Я обратил внимание на то, что из центральных газет имя Сталина исчезло. К этой странности прибавилось еще несколько других. Из источников, которые заслуживали доверия, я узнал, что Маленков вызвал к себе писателя Константина Симонова, продолжавшего писать о Сталине в превосходной степени, и, накричав на него, сказал:

— Надо смотреть в будущее, черт возьми! А вы оглядываетесь на прошлое. Прекратите сочинять панегирики Сталину!

А спустя немного из тех же источников я узнал совершенно невероятную историю. Маститый советский кинорежиссер, Михаил Чиаурели, создатель нескольких киноэпопей о Сталине, приближенный Сталина, даже его собутыльник, через месяц после смерти своего кумира написал, в соавторстве с драматургом Семеном Нагорным, новый сценарий о "великом вожде". Поехав на дачу к Берия, с которым он был на короткой ноге и который подхалимничал перед Чиаурели, потому что тот мог замолвить за него словечко перед Сталиным, он попросил Берия

прочитать сценарий. Но Берия грубо отшвырнул сценарий и совсем по-мужицки, употребляя матерные слова, рявкнул:

— Забудь об этом сукином сыне! Сталин был негодяем, мерзавцем, тираном! Он всех нас держал в страхе! Кровопиец! Он весь народ угнетал страхом! Только в этом была его сила. К счастью, мы от него избавились. "Царство небесное" этому гаду!

Чиаурели чуть было не лишился разума. Вернувшись домой, он сказал своей жене, актрисе Верико Анджапаридзе:

— Мой час пробил. Я погиб...

И он был прав. Не прошло и года, как Чиаурели был исключен из КПСС и "сослан" в Свердловск, где исполнял какие-то незначительные обязанности на местной киностудии.

На следующий день после встречи с Кунавиным я получил от него деньги на расходы и железнодорожный билет. А еще через день я выехал в Тбилиси, где меня встретили мои друзья. Остановился я в гостинице "Тбилиси", сказав друзьям, что приехал на две недели, просто отдохнуть. Они, конечно, не могли подозревать истинной цели моего визита. Но на утро, как мы условились с Кунавиным в Москве, я позвонил по телефону в республиканское МВД и в тот же день, кажется часов в двенадцать, встретился с молодым русским офицером органов Госбезопасности. Интересно отметить, что Деканозов, возглавивший МВД Грузинской ССР, был армянином, а среди оперативных работников здесь было много русских. (Может быть, грузинам не очень доверяли?!) Этот молодой человек, чем-то напоминавший своих московских коллег, был со мной очень любезен и предупредителен. Вероятно, он получил соответствующие инструкции из Москвы. Он, так сказать, "ориентировал" меня в обстановке, а заодно попросил разузнать что-либо "интимное" об известной грузинской киноактрисе Нато Вачнадзе. Но в мою "миссию" не входила "помощь" местным органам. Я должен был писать отчет *только* для Берия.

Двух недель было более чем достаточно для того, чтобы "прощупать" настроение грузинской интеллигенции. Откровенно говоря, для этого мне и не надо было ездить в Грузию. Я бы мог написать отчет сидя в Москве, конечно если бы писал его по велению совести, честно и объективно. Но этого я не мог сделать, во-первых, потому, что не мог доносить на близких мне

людей, во-вторых же, потому, что в этом случае не угодил бы маршалу Берия.

Дело в том, что грузинская интеллигенция, в целом в те дни в равной мере была настроена и против Маленкова, и против Берия, понимая, что хрен редьки не слаше. Грузинская интеллигенция, хотя и приспособившаяся к советской власти, никогда по-настоящему глубоко ее не принимала. Разумеется, не обходилось и без нелепой национальной гордости — мол, Сталин был грузином, мол, Берия — грузин. Но это было поверхностно и этим была захвачена очень незначительная часть этой интеллигенции. Большинство же доверенных друзей издевалось над главой нового правительства — Маленковым, распевая сатирическую песню "Картофило-генацвале" ("Дорогая картошка"), так как Маленков тогда провозгласил лозунг: "Наше спасенье в картошке!" (как позже Хрушев провозгласил "Наше спасение в кукурузе!"). Но в то же время грузинская интеллигенция очень хорошо знала цену Лаврентию Берия, помня, как он, по приказу Сталина, жестоко расправился с ее лучшими представителями, просто-напросто ликвидировав их.

В отчете, написанном для Берия по возвращении в Москву, я старался по возможности избежать опасных конкретизаций. Разумеется, мне все же пришлось упомянуть о семьях известных поэтов Табидзе и Леонидзе, о Нато Вачнадзе и о многих других, с кем я встречался. Я ничего не скрыл, так как был уверен, что мое пребывание в Грузии незримо контролировалось сотрудниками местного МВД. Но в отчете мне удалось представить друзей и знакомых в таком свете, что они, вернее их мнения, могли устроить Берия, и, если бы отчет этот попал в руки Маленкова, то, пожалуй, и последнего. Это была филигранная работа, а если говорить откровенно, то и гнусная. Однако совесть моя чиста. Никто из упомянутых мною не пострадал.

Тем не менее, с тех пор ко мне пристала кличка "стукач", вернее, я сам присвоил ее себе. Это был первый случай, когда мне пришлось так или иначе, выполнять роль внутреннего информатора, то есть "стукача".

Помню, одно время в Москве распевали такую песенку:

Не кочегары мы, не плотники,
Не инженеры, не врачи,

Оперативные работники,
Мы стукачи, мы стукачи!

4.

События моей последующей жизни в Москве развивались стремительно, как в приключенческом шпионском фильме с трагическим уклоном. Впрочем, такой была не только моя жизнь. Так жила тогда вся страна. Ее лихорадило. На этот раз пауза длилась всего два-три месяца.

И вот как-то летним вечером, проезжая на троллейбусе по улице Горького, я увидел на площади Пушкина большое скопление тяжелых танков, вереницей тянувшихся в сторону площади Восстания. Я обратил внимание на то, что моторы танков работали и чехлы с орудий были сняты, а это означало, что танки были готовы к бою. В тот же вечер, из телефонного разговора с одним приятелем, еврейским писателем Борисом Ямпольским, я узнал, что такое же скопление танков было на площади Дзержинского, у зданий МВД, и что все вокзалы столицы были заняты войсками Московского Военного округа.

— Уж не ожидается ли высадка американского десанта? — пошутил по телефону Борис.

— Да ну тебя, не валяй дурака...

— Так в чем же дело? Неужели наша армия взбунтовалась и выступает против родной партии, а? — уже почти серьезно сказал он.

— Не думаю, но вот...

— Что? Берия узурпирует власть? — отважно предположил Борис (он был смелым человеком и, кстати, старым членом КПСС).

— Или наоборот.

— Наоборот? То есть: "Долой второго грузина!"

После разговора с Ямпольским я почувствовал головную боль, в висках с шумом пульсировала кровь, и я уже лишился покоя.

А в полночь мне позвонила Нора Тиграновна, жена Деканозова. Голос ее звучал тревожно. Она попросила меня немедленно приехать на угол Сретенского бульвара и улицы имени

Мархлевского, на которой она жила. Она хотела сообщить мне что-то очень важное. Я взял такси и поехал.

— Берия исчез, — сказала мне вполголоса Нора Тиграновна. — Он должен был быть среди других членов Политбюро на премьерке оперы "Декабристы" в Большом театре, но его в правительственной ложе не было. Он исчез...

— Ну, знаете, Берия не иголка, ему исчезнуть не так просто, — я попытался вызвать на ее лице улыбку, хотя мне самому было не до шуток.

— И арестованы Шария и Людвигов. У них на дачах в Серебряном Бору был обыск. Мне позвонила Надя, жена Шария. Правда, она не унывает. Она надеется, что это не надолго. Она даже сострила: "Петре уже несколько раз арестовывали и выпускали. Выпустят и теперь..."

Петре Шария был ближайшим помощником Берия, его личным референтом, в прошлом — "красный профессор" и автор "знаменитой" книги Берия "К истории большевистских организаций в Закавказье" (вместе с Эриком Бедия). Людвигов был начальником секретариата Берия. Если их арестовали, то можно было предполагать, что с Берия случилось что-то очень серьезное.

— Я позвонила Володе в Тбилиси, — продолжала Нора Тиграновна, — и пыталась сообщить ему, что тут произошло, но он перебил меня и сказал, что по вызову Москвы завтра утром вылетает в столицу. Когда же я решила прямо сказать ему об аресте Шария и Людвигова, телефонная линия выключилась.

— М-да...

— Я поеду в аэропорт встретить его.

Губы у Норы Тиграновны посинели, лицо вытянулось, но она не плакала. Это была женщина с сильным характером, да и ее отношения с мужем были не идеальными. Он изменял ей на каждом шагу. Она привыкла к обману и фальши в семье и сосредоточила все свое внимание на детях, сыне Реджи и дочери Нане. Они, однако, уже были взрослыми. Кстати, Реджи женился на дочери Шария, а Нана к тому времени уже вышла замуж за какого-то офицера. Понятно, что, когда Деканозов уехал в Грузию, Нора Тиграновна предпочла остаться в Москве.

Мы с ней встретились и на следующий день, после ее возвращения из аэропорта Внуково.

Она осунулась еще больше, ее смуглое лицо стало бледным.

— Они забрали его на моих глазах, — сказала она, когда мы медленно прохаживались по Сретенскому бульвару и прилегающим переулкам. — Он вышел из самолета вместе с Бакрадзе и еще какими-то шишками из Грузинского ЦК. Он увидел меня, улыбнулся, помахал рукой, и в тот же момент к нему приблизились двое в штатском, взяли под руки и повели к стоявшей рядом машине. Володя успел оглянуться в мою сторону, глаза его вылезли на лоб — он не ожидал этого, он ничего не подозревал. Думаю, что для этого они и вызвали в Москву Бакрадзе и других. Но тех не тронули.

Я не знал, как утешить Нору Тиграновну. Да и как я мог утешить ее, когда у меня самого от этой новости затряслись поджилки. Я понимал, что дальше будет хуже, что это только начало.

Нора как бы угадала ход моих мыслей. Она сказала:

— Арестованы уже и Кобулов, и Меркулов, и Гоглидзе.

— Неужели?

— Меркулова взяли из Кремлевской больницы, он лежал в ней после тяжелого инфаркта. Все равно взяли.

— Ну а Берия? Где Берия?

— Берия нет, — лаконично ответила Нора Тиграновна. — Берия был, и вот Берия нет. Понимаете, что это значит? С часу на час я жду обыска. Вероятно, нас выселят... если не арестуют. Слава Богу, Наночка в Ленинграде, у мужа...

Нора Тиграновна знала эту механику, и она не ошиблась: в тот же день у нее в квартире был обыск. Представители органов Госбезопасности предъявили ей ордер, подписанный заместителя Внутренних дел СССР Иваном Серовым. Был вскрыт сейф Деканозова, в котором было несколько пистолетов и какие-то старые документы. Обыск продолжался шесть часов, офицеры МВД в штатском перерыли всю библиотеку, а у Деканозова был хороший подбор, свыше тысячи томов, лучшие издания "Академии", все это было приобретенное по специальному "лимиту", за счет государства.

С этого момента Нора Тиграновна начала "борьбу за суще-

ствование”, пытаюсь сохранить за собой имущество, так как было ясно, что вскоре все вещи, в том числе и библиотека, будут реквизированы.

Она позвонила мне, и мы опять встретились на обычном месте.

— У меня к вам просьба, — сказала она.

— Какая? — спросил я, почувствовав, что буду вовлечен в рискованное дело, отказаться от которого не смогу.

Должен заметить, что между мной и женой Деканозова никогда не было интимности. Мы просто дружили. Я был ей многим обязан. Во время войны, в 1943 году, когда я работал в ТАСС и очень нуждался, она мне материально помогала. Это не было ей в тягость, потому что тогда ее муж был заместителем министра Иностранных дел СССР, получал большую зарплату и пользовался всякими “пайками”, “пакетами” и пр.

— Я хочу спасти библиотеку. Можно перевезти к вам книги? Они, правда, займут много места, а комната у вас маленькая. Но это на время. Важно вывезти их из квартиры. Потом я переправлю их постепенно в Тбилиси, если буду на свободе. А если нет... ну, книги будут ваши...

Отказаться я не мог. И сын Норы Тиграновны в несколько приемов, на такси, перевез тысячу томов ко мне, сложив их в одном углу — от пола почти до потолка. Соседи, конечно, обратили на это внимание. Но я ничего не объяснял. Ведь мог же я купить у кого-либо библиотеку?

Штабеля книг начали давить — и физически, оставляя очень мало пространства для движения, и, главное, психологически, с каждым часом усугубляя всевозрастающий страх. А что если за Реджи следили, и органам Госбезопасности уже известно о моем “вовлечении” в “дело Деканозова”?

По Москве же быстро распространились слухи, что Берия пытался устроить путч и вырезать всех членов Политбюро, но что Маленков и Хрушев, тогда, кажется, уже вытеснивший первого из ЦК, разгадали планы министра Внутренних дел и парализовали их с помощью танков маршала Конева и войск маршала Москаленко (командующего Московским Военным округом). Ходили слухи и о том, что войска МВД из разных

концов страны стягивались к Москве, в их числе и два эшелона из Грузии, отправленных по приказу Деканозова.

Борис Ямпольский позвонил мне по телефону:

— У меня есть сведения о том, что Берия убит на даче во время перестрелки. И всех твоих грузин посадили за решетку. Теперь начнется избиение грузин. Я не против. Нам, евреям, полегчает.

Я позвонил московскому драматургу, грузину Георгию Мдивани. Говоря по-русски с сильным акцентом, но считая себя "крупным русским писателем", на мой вопрос: "Ну, Жорж, как твой Лаврентий Павлович поживает?", он с яростью закричал в трубку:

— Мой? Почему мой? Что за чепуха! Я всегда говорил, что Берия мерзавец, подлец, негодяй, бандит и совратитель малолетних девочек! Этого негодяя надо расстрелять!

А незадолго до того тот же Мдивани на каждом перекрестке называл Берия лучшим учеником Ленина и Сталина и выдающимся коммунистом нашего времени. Называл он его и "непоколебимым чекистом", и всячески афишировал свое личное знакомство с Берия, говоря, что в любой момент мог позвонить ему в министерство и попросить о приеме.

— Ну что ж, Жорж, — сказал я, — теперь нам с тобой придется сжигать все книги Берия и все, напечатанное о нем, чтобы не иметь неприятностей, мягко говоря, а?

— Я уже все сжег, — сразу ответил Мдивани так, как будто бы это не подлежало сомнению и было его первой и естественной реакцией на падение второго грузина.

Между прочим, Мдивани был хорошо известен в Москве тем, что в свое время написал сценарий фильма "Горный орел" о маршале Тито, посетив последнего, и даже получил от него в подарок охотничье ружье, а позже и югославский орден. После разрыва Сталина с Тито он публично "проклял" югославского диктатора, отказался от ордена и, в завершение, если верить злым языкам, запихал охотничье ружье в унитаз своей уборной. (После "примирения" советских лидеров с югославскими, если верить злым языкам, Мдивани вытащил из унитаза это охотничье ружье).

С того дня начался страх. Медленно зашевелившись где-то

под ложечкой, он расплзался по всему телу. То ли по предписанию головного мозга, посредством нервных линий связи, то ли сам по себе, как независимый владыка, он лишил меня аппетита, привел к апатии и к обострению слуха: я постоянно прислушивался теперь к звонкам в парадном, ожидая "незваных гостей" из органов Госбезопасности. Да, я измерял события прошлым, то есть сталинской меркой, а при Сталине в подобных случаях выкашивали "сорную траву" и все вокруг, так что страдали и родственники "врага народа", то есть "члены семьи", да и все друзья и знакомые, близкие и дальние. Со страхом и уже ненавистью я смотрел на штабеля книг библиотеки Деканозова и проклинал себя за то, что я не отказал Норе Тиграновне, я упрекал ее за то, что она обратилась ко мне с этой просьбой, не подумав о моей безопасности. Ведь эти книги, сокровищницы человеческой мысли, были очевидными уликами моей причастности к государственному преступлению, если Берия и иже с ним совершили таковое... Это был, вероятно, самый острый приступ страха в моей жизни.

Но вот как-то совершенно случайно с вершины одного из штабелей свалилась толстая книга. Я поднял ее. Это был чудесно изданный "Академией" том Сервантеса — "Дон Кихот". С обложки на меня смотрело изображение высокого и худого рыцаря в доспехах, с длинными усами, с копьём в руке, на тощем "Россинанте". Впервые я прочитал "Дон Кихота" в юношеские годы и с тех пор навсегда полюбил бескорыстного, правдолюбивого и, по-человечески смешного героя с его возвышенной душой и доступным всем сердцем. Мне хотелось быть Дон Кихотом, как, вероятно, каждому юноше. Я постоянно был на стороне моего отца, когда мать с иронией называла его "Василием блаженным" или "правдоискателем", хотя в советских условиях это и ограничивалось мелочами. Странно, но где-то в глубоких извилинах подсознания я всегда казался себе Дон Кихотом, или, вернее, хотел казаться себе им. Однако реальность лишь насмеялась над этой мечтой о потенциальном во мне герое и уничтожала его во мне.

Раскрыв том Сервантеса, я начал читать. С первых же страниц, может быть по закону какого-то необыкновенного контраста, я погрузился в иной мир и забыл о Берия, и Дека-

нозове, и о том, что я был "советским человеком". Сила большой литературы магична! О да, читая во второй раз "Дон Кихота", я с моей достаточно уже запачканной физиономией кооптированного работника органов Госбезопасности, вопреки всякой логике, опять обнаруживал в себе черты испанского рыцаря. Мне надо было быть "правдоискателем", мне хотелось быть честным, бескорыстным. Книга эта действовала на меня, как серная кислота на ржавую монету.

Я не отрывался от Сервантеса до поздней ночи, но, увы, на следующий день сделал то, чего бы, наверное, Дон Кихот не сделал. Я встретился с Норой Тиграновной и сказал ей, что у меня был представитель МВД и официально потребовал вернуть книги Деканозова обратно, по месту нахождения. Я сказал ей, что, вероятно, о книгах в МВД сообщил мой сосед, майор Косников. Все это я придумал. Всего этого не было. Но сын Норы Тиграновны Реджи опять в несколько приемов, на такси, перевез библиотеку своего отца из моей комнаты на улицу имени Мархлевского. Выбора у жены Деканозова не было. Поверила ли она мне? Вероятно, ей трудно было представить себе, что меня обуял такой страх, что я, сначала согласившись помочь ей, затем пошел на попятную. А может быть, она мне и не поверила. Ей пришлось испытать в жизни многое. Она была умудренная опытом женщина.

— Я понимаю, — тем не менее сказала она. — От наших "органов" никуда не денешься. Они все знают.

А всего они и не знали.

Ночью, в кухне, когда все наши коммунальные жильцы уже спали, я устроил современное "аутодафе", то есть сжег книгу Берия "К истории большевистских организаций в Закавказье", с портретом маршала работы моего отца на одной из первых страниц, и еще несколько книг, восхвалявших Сталина и Берия. Несмотря на открытое окно, копоть слегка запачкала чье-то белье, сушившееся после стирки на веревках, и проникла в коридор. Размахивая во все стороны полотенцем, я пытался проветрить помещение, но это мне не удалось. Мысль же о том, что кто-либо из соседей может выйти в коридор или даже заглянуть на кухню, приводила меня в совершенный ужас. Утром соседи,

конечно, обратили внимание на копоть, и я поймал на себе несколько подозрительных взглядов. А майор Косников, столкнувшись со мной возле уборной, бросил свое обычное "Привет", но ничего не сказал. Ему ведь тоже предстояло сжечь книги Берия.

5.

Затем в "Правде" появилось официальное сообщение о том, что Берия и его сподвижники являются государственными преступниками, "врагами народа" и агентами иностранных разведок. По всему было ясно, что их предадут суду и расстреляют. В этом сообщении (или, может быть, в одном из последующих) указывалось и на то, что Берия, решив захватить власть в свои руки, расставил повсюду "своих" людей. Прочитав это, я, между прочим, подумал, что, вероятно, Маленков не без умысла принял Деканозова и имел с ним "приятную беседу" перед отъездом последнего в Тбилиси. Он, вероятно, утверждал новые назначения Берия для того, чтобы потом использовать их против него же.

Да, суд приговорил маршала и его "банду" к смертной казни. Если верить газетным откликам, то такова была воля советского народа. Но газетным откликам я никогда не верил, потому что знал, что их пишут под диктовку директивных организаций.

Ожидалось, что за всем этим последует жестокая чистка "авгиевых конюшен" или, как говорили при Сталине, "выкорчевывание корней". Однако власти изменили тактику. Конечно, приближенные к Берия люди, его сотрудники среднего и мелкого калибра были с работы уволены, некоторые лишились партийных билетов и оказались за решеткой. Но вот семьи расстрелянных были всего-навсего временно сосланы в Среднюю Азию и на Урал. Нора Тиграновна, например, через год или два уже жила в Тбилиси с матерью. Там же жила и жена Берия, Нина, а его сын, Серго, инженер-полковник, который возглавлял военный научно-исследовательский институт в Москве, под другой фамилией был переведен в аналогичный научно-исследовательский институт куда-то на Волгу, а его жена, внучка

писателя Максима Горького, с детьми дважды в год навещала мужа. Что касается генерала Гвишиани, то он вышел в отставку, получил хорошую пенсию и перебрался с Дальнего Востока к себе в родную Грузию. Сын же его, Джермен, продолжал оставаться мужем дочери нынешнего председателя Совета министров СССР Косыгина и даже пошел в гору, заняв важный государственный пост.

Так что с семьями обошлись либерально, и это было *ново*.

Несомненно, этот факт успокоил очень многих, имевших какие-либо отношения с Берия (в частности, его многочисленных любовниц) и с его приспешниками. Успокоил он и меня.

Я позвонил Мдивани:

— Так что же, Жорж, выходит зря ты сжег книги Берия, а?

Он послал меня к черту.

А Борис Ямпольский сказал мне по телефону:

— Нет, нам, евреям, не стало легче, грузин не бьют...

В те памятные времена в Москве циркулировало много слухов. Особенно энергично работало агентство ОБС, то есть "одна баба сказала". Большинство прислушивалось к сообщениям этого агентства, ибо не верило официальному агентству ТАСС.

В самом деле, был ли суд? Сидел ли на скамье подсудимых среди других сам Берия или там был его загримированный двойник, а Берия был убит либо Хрущевым, либо Мижояном прямо на заседании Политбюро ЦК КПСС? А может быть, он был убит во время перестрелки на даче? Да и готовил ли он государственный переворот и стягивал ли он к Москве войска МВД?

Из множества вариантов, я считаю наиболее вероятным следующий: Маленков и Хрущев сговорились избавиться от Берия. Берия безусловно был слишком "могучим" и мог уничтожить их. Это была прежде всего борьба за власть. Никакие принципы или идеи в эту борьбу вовлечены не были. Маленков и Хрущев легко перетасили на свою сторону остальных членов Политбюро и заручились поддержкой маршалов Жукова, Конева и Москаленко. С ними был, что чрезвычайно важно, и заместитель Берия по МВД, генерал Иван Серов. (Нора Тиграновна сказала мне, что не только ордер на обыск квартиры Деканозова был подписан лично Серовым, но и ордера на аресты

всех ближайших помощников Берия также были подписаны Серовым.) В дальнейшем, умело использовав короткую отлучку Берия (он выехал из Москвы в Прибалтику на инспекцию), Маленков и Хрущев подготовили решающую акцию. Когда Берия, вернувшись в Москву, явился на заседание Политбюро, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и тут же высшие офицеры армии арестовали его и обезоружили его охрану. Я думаю, что суд состоялся. Это не было проблемой. Назначенные сверху люди вынесли приговор, как им было приказано. Один из назначенных членов суда, между прочим, был грузин Михаил Кучава, тоже мингрелец, как Берия. Говорили, что после расстрела маршала, Кучава в Грузии называли "братоубийцей".

Танки же на улицах и площадях Москвы и занятие военными частями московских вокзалов, думается мне, было мерой предосторожности. Ни Маленков, ни Хрущев не сбрасывали с весов популярность Берия среди сотрудников МВД.

Помню, как-то в разговоре Реджи с издевкой отозвался о Берия:

— Тоже мне, "железный чекист"! Провели его как мальчика. Он даже и не подозревал, что ему приготовили...

— А что если бы американцы высадили в Москве десант и освободили Берия и всех остальных из Лубянки и увезли бы их на Запад? — полушутливо-полусерьезно сказал я.

Реджи пожал плечами, с недоумением посмотрел на меня и ответил:

— Во-первых, это не реально. А во-вторых, никто из них, в том числе и мой отец, не пошли бы на это. Они же ленинцы, марксисты.

6.

Ничего в моих отношениях с органами Госбезопасности после расстрела Берия не изменилось. В период, предшествовавший его падению, в бурные дни падения и после этого в течение нескольких месяцев мне никто не звонил, и я уже с радостью думал, что от моих услуг решено было отказаться. Но, увы, вскоре меня опять пригласили в гостиницу "Москва" и

опять началась нелепая охота за иностранными дипломатами. Правда, теперь уже офицеры органов Госбезопасности вместо имени Берия называли имя своего нового босса — генерала Серова.

Ю. Кротков

В ИНДОКИТАЕ

В 1941 году Японский Экспедиционный корпус, действовавший на юге Китая в провинции Юньнань, под давлением войск фельдмаршала Чан Кай-ши отступал. Позади него находился Индокитай, колония Франции, где он мог найти убежище. В районе укрепления Лонг-Сон (провинция Тонкин) японскому отряду преградили путь отступления французские колониальные войска северной дивизии и один из батальонов Иностранного легиона 5-го пехотного полка. Силы были неравные. По ультимативному требованию японского командования высшее командование колонии вынуждено было заключить с японцами "соглашение", по которому японские войска могли отовсюду входить свободно на территорию Индокитая в качестве "союзников", для ее защиты от американских, английских и китайских вторжений, совместно с находившимися там французскими вооруженными силами. И японцы вошли...

К этому времени Париж и часть Франции были уже заняты германскими войсками. Правительство Франции переехало на юг. Колония потеряла связь с метрополией. Генерал-губернатору Индокитая маршал Петэн дал право действовать независимо, смотря по обстоятельствам.

С этого времени началось "освобождение" японской армией колониальных стран юго-востока. Индокитай был их главной базой. Через королевство Сиам, не затронув его независимость, пройдя по джунглям, японцы с тыла захватили морскую базу Великобритании Сингапур и Бирму. Десантом высадились на

острове Ява, главном центре голландской колонии в Индонезии, — в Сайгоне появились рослые голландские пленные солдаты.

Во французском Индокитае жизнь продолжалась нормально. Управлял ею генерал-губернатор из столицы колонии, Ханоя. Две дивизии колониальных войск — одна в районе Ханоя, другая в Сайгоне — продолжали свою обычную жизнь.

Японского давления на жизнь страны заметно не было. Редко можно было встретить на улицах японских офицеров и солдат. Но несмотря на это и на то, что поведение их было корректным, ненависть к ним французов росла; противоестественный союз с ними был оскорбителен для национального чувства французов. Негласно было известно, что французское командование в Индокитае установило секретную связь с миссиями — американской и "свободной Франции" генерала де Голля, находившимися в Чунцине, при ставке фельдмаршала Чан Кай-ши. Представителем де Голля в Чунцине был старый легионер генерал Зиновий Пешков, приемный сын Максима Горького, племянник большевика Свердлова. Старшие офицеры, легионеры-французы, подлинного его происхождения не знали, считали его просто хорошим офицером легиона.

Кстати, вскоре американская авиация стала изредка бомбардировать из Чунцина некоторые японские артиллерийские установки в районе Ханоя. Начались новые переговоры японского командования с французским. Японцы требовали, чтобы части французских войск оставались пассивно жить в казармах, сдав им всё тяжелое вооружение. Французы не согласились. Тогда 9-го марта 1945 года, ночью, японцы атаковали французские гарнизоны, разбили их, разоружили и сосредоточили в лагерях за проволокой. Операция эта была проведена с большой решимостью.

В сорока километрах на запад от Ханоя, в местечке Тонг, был постоянный лагерь, в котором находились три батальона легиона, полк тирраеров из местных туземцев-охотников, по контракту состоящий при французском командном составе. Этот полк успел уйти за шесть часов до предутренней атаки японцев, взяв направление на запад — в Китай, к фельдмаршалу Чан Кай-ши. Около двух месяцев длилось это передвижение — по

джунглям гористой местности. Полк ушел, и этим спас свою воинскую честь.

Драматические события для французов в Индокитае начались со дня разоружения. Оставшийся в лагерном расположении Тонга для защиты семей офицеров и сержантов подполковник Марселен был заколот штыками ворвавшихся японских передовых частей. Той же участи подвергся весь его штаб. Все семьи французов были помещены в изолированном бараке под охраной японцев из местных жителей, которые разграбили их квартиры.

К западу от Тонга протекала река — "ривьер нуар", впадавшая недалеко в широкую реку — "ривьер руж". Через нее ходил маленький паром на веслах, переправлял он только людей. Томительная долгая переправа затянулась до вечера. На берегу были брошены колесный обоз, пулеметные двуколки, лошади, орудия и упряжки мулов.

Отход из лагеря был неожиданным для легионеров и младших офицеров. О нем знали только командиры рот и вышестоящие должностные лица. Объявлено было, что легион выступает на очередной дневной маневр. Поэтому на легионерах, как всегда, были только синие блузы, брюки, старые ботинки; мундиры, белье, маленькое солдатское хозяйство, деньги и запасы табака оставались в казармах. В таком же виде выступили и младшие офицеры, расставаясь с семьями "только на один день". С ними был и автор этого очерка, тогда 52-летний лейтенант, зачисленный на службу во французскую армию "дюре де герр" (на время войны) согласно с декретом правительства от июня 1939 года.

Западнее "ривьер нуар" тянулись сплошные леса и хребты гор. Легионы отходили по-батальонно разными дорогами и тропами, чтобы как можно скорее достигнуть одной из своих военных баз в горах "Сон-Ля", где всегда жил французский резидент этой местности. Легион находился под начальством генерала Алессандри, который объявил офицерам, что генерал де Голль назначил его генерал-губернатором "свободной Франции" в Индокитае.

Здесь на наших глазах опустились шесть парашютистов из Китая, посланные представителем при Чан Кай-ши "свободной

Франции” в Чунцине генералом Пешковым. Это было очень приятной неожиданностью. Кроме оружия, с ними было много французских журналов, из которых мы узнали, что происходит в Европе. Мы были отрезаны от нее более четырех лет. Неожиданностью была тяжелая болезнь Рузвельта — о ней говорили его снимки в журналах. Связь подбодрила легион. А он был единственной боевой силой у генерала Алессандри, так как колониальный полк тирраеров (местных солдат-туземцев) был расформирован, видимо, из-за их ненадежности. В легион как рядовые бойцы влились офицеры и сержанты артиллерии и авиации.

Подошли японцы. Сон-Ля оставили из-за невыгодности позиции — легион спустился вниз к Дьен-Бьен-Фу по единственной шоссированной дороге. Здесь начались жестокие бои с потерями убитыми и ранеными. Легион отступал. Ночью подошел к перевалу ”Дэмэйо”. Начались новые бои. Оставлен был и перевал. В ложбине, перед ущельем, роты легиона заняли новые позиции. Наступил день католической Пасхи — 1-е апреля. Японцы атакуют. В бою убит командир шестой роты капитан Комаров, очень популярный среди офицеров и легионеров. За пять минут до смерти он говорил со мной по-русски.

2-го апреля, перейдя несколько горных речушек вброд, легион остановился на следующем перевале. Справа от дороги — выступ горы, слева — пропасть. По выступу — лес. Позиция для боя — ширина дороги. Позади глубокая низина, растянувшаяся на три километра, до следующего перевала. Как громадная змея тянется по ней зигзагами дорога.

Бомбометным огнем сбита наша арьергардная пятая рота капитана Курана. Второй батальон капитана де Кокборн быстрым шагом спустился вниз, чтобы занять позицию на следующем перевале. С двенадцатью легионерами моего взвода я был оставлен на перевале прикрывать отход батальона. Тусклый серый день кончился. Пулеметным огнем мой полувзвод был сбит. Скорым шагом мы спешим за батальоном по извилинам дороги. Удачно рассчитанный бомбометный огонь японцев преследует нас. Тяжело ранен капрал-шеф Колерский, украинец из Польши. С тремя легионерами я несу его, как ”лягушонка”, за руки и за ноги. Осколком гранаты ранен сам.

Передал капрала другим легионерам. Я без сил. С шестью легионерами достиг низины. Как и раньше, все примитивные деревянные мостики через речонки, текущие глубоко внизу, взорваны накануне. От мостика перед нами осталось одно бревно, соединяющее обрывистые берега речонки, шагов в двадцать шириной. Для поддержания бодрости легионеров говорю им, чтобы они переходили на тот берег первыми. По одному, гуськом, ступают на бревно, балансируя на нем с винтовками в руках, чтобы не упасть вниз. Я за ними. Внезапно затрещал на фланге японский пулемет, "очередь" пронеслась над нашими головами. От неожиданности легионеры присели. Бревно покачнулось, я потерял равновесие и прыгнул в воду, где легионер нашей роты старался поднять лошадь, нагруженную патронами. Я упал возле него, ударив его в спину.

Передо мной каменный обрыв. Не выбраться. Решаю идти дальше, по колено в воде, чтобы найти низкий берег. Напрасно. Ручеек спускался вниз, и я удалялся от дороги, по которой проследовал наш батальон. Наконец показался отлогий берег. Раздвигаю заросли и проваливаюсь по колено в толщу сухих листьев. По зарослям леса достигаю вершины горы. Попадаю на тропу. От нее дорожка на север, значит — ближе к дороге. Но шагов через пятьдесят дорожка оканчивается у обрыва. Быстро вернулся назад, "к узлу", свернул на запад, что должно быть параллельно дороге, по которой шел батальон. Только сделал шагов тридцать, как раздался оглушительный винтовочный выстрел. Пуля, сбивая ветки, пронеслась над головой. Явно, то был японский патруль. Я бросился со всех ног вперед, ожидая следующий выстрел в спину, но его не последовало. В густом лесу японец меня не видел.

Весь день на ногах. С утра ничего на ел. Мокрый после реки и теперь весь в поту от бегства — я совершенно обессилел. Солнца не было весь день, и уже наступали сумерки. Куда идти в джунглях, без троп?.. Прилег отдохнуть. И вдруг — характерный треск японского пулемета уже на запад от меня. Я отрезан японцами от легиона... Охватила острая жуть.

Прошла кошмарная ночь. Мокрый, я не мог согреться и не спал. Утро пришло сырое, туманное. 3-е апреля. Безвыходность положения ясна. Но надо действовать. Оправив походный

мундир, истрепанный в месячном походе в джунглях, ремни с револьвером и полевой сумкой, иду вверх по дорожке в лесу, по той, по которой спасался вчера от японского патруля. Вышел к главной дороге. Глянул направо, на юг, и — вздрогнул: на пригорке, перед взорванным вчерашним мостиком человек двадцать японских солдат. Они, видимо, отдыхают. "Ну, вот тут-то и решится моя судьба", — пронеслась мысль, и легкий холодок страха прошел по телу. Иду прямо к ним. Они вскочили на ноги. Молодой красивый японец, видимо офицер, отделившись от солдат, с трудом подбирая французские слова, спрашивает: "Кто вы?" Отвечаю: "Офицер французской армии, отстал от своего батальона". Он: "Где находятся французские части генерала Алессандри?" Я показал ему рукой на запад.

Это был взвод связи японского батальона "Искровой станции", следовал он из Ханоя, опаздывая на сутки. Командовал им лейтенант Сано (так он себя называл). Был он со мной очень вежлив. Шли, спали и ели с ним вместе. Со взводом я вошел в "фортрес Дьен-бьен-фу". Здесь — французский административный пункт и "пятая военная зона". Теперь зону занял батальон молодого японского капитана Намеки. Батальону дан отдых. Штаб расположился в доме бывшего французского резидента. Нашего капитана Комарова похоронили здесь. Я хотел пойти на его могилу.

Меня вызвали к Намеки. Через переводчика он спросил, сколько мне лет (я месяц не брился) и почему я только в чине лейтенанта. Сказал ему, что я не француз. Последовал интересный допрос-разговор. Сообщение, что я был офицером Российской Императорской армии вызвало ряд реплик, свидетельствующих о его интересе и почтительности к бывлой России; на то, что я казак и полковник, он реагировал необычайным удивлением и восторгом.

— "Сапайкай?" — Забайкальский казак? (Их японцы хорошо знали, о других казачьих войсках у них было мало сведений.)

— Я казак с Кавказа, — ответил ему.

— "Каукасус", — протянул он и стал всматриваться в меня, словно изучая — какие же это еще есть казаки с далекого для них Кавказа?

Все это происходило в присутствии других офицеров.

Расчувствовавшись, Намеки пригласил меня на ужин. Был подан рис, варено-отпаренный по-японски, и куски жареной свинины. Ужин скромный. Никаких спиртных напитков. Все вежливы. Все едят рис двумя палочками из маленьких своих чашечек, свинину палочками же берут с общего блюда. Мне дали отличный прибор из хозяйства покинувшего здание французского резидента. После ужина я вышел во двор, там встретил трех легионеров-немцев 1-го батальона. На душе стало легче.

Батальон японцев продолжал преследование "группы генерала Алессандри", как называл капитан Намеки наш полк. Нас, пленных, с двадцатью больными солдатами отправили походным порядком в Ханой, до которого было 500 километров. В пути неприятностей не было. Японские офицеры очень почтительно отзывались о былой императорской России, и при мне капитан Намеки отдал приказ конвою не обижать нас, пленных.

23-го апреля мы прибыли в Ханой. Нас передали в общий лагерь военнопленных. Это не был "специальный лагерь"; всех разместили во французских казармах гарнизона Ханоя, в хорошо нам знакомой цитадели. Проволочной ограды не было. Это — старинная крепость с кирпичными стенами в рост человека. Все заняли свои полковые казармы: офицеры, сержанты — свои, рядовые солдаты — свои.

Нас повели в японскую канцелярию внутреннего лагеря для регистрации, а потом — во французский штаб пленных. Капитан легиона Вольтер исключительно внимателен. Выдали нам кое-что из обмундирования, по буханке хлеба в 700 граммов и по куску мыла. Меня капитан Вольтер повел на второй этаж казармы и представил капитану Гужону, старшему по комнате на двадцать человек. Гужон показал мне железную кровать с пружинной сеткой; на ней был стеганный матрас, две простыни, одеяло, подушка с наволочкой и москитник. Это помещение до войны было спальней сержантов.

Сбросил всё, в чем был в походе, принял горячий душ, вымылся и почувствовал себя помолодевшим. После ужина на чистых простынях заснул как убитый. Проснулся очень бодрым, по сигналу горниста. В большом медном чайнике солдат принес офицерам кофе и налил каждому по чашечке. Кофе чуть

подслащенный и очень приятный. Солдат для услуг назначен в каждую офицерскую комнату. В нашем я узнал легионера Коха, немца, два года назад разжалованного при мне из сержантов в рядовые. Это в легионе делается очень легко, порой за незначительный проступок. По "легионному братству" Кох мне иногда умудрялся наливать вторую чашку кофе.

Вот расписание дня военнопленных, утвержденное японским командованием (оно было в каждой комнате):

1. Общий подъем 8:00.
2. Поверка 8:30.
3. Сбор солдат на работу 9:30.
4. Обед 12:45.
5. Отдых после до обеда 16:00.
6. Конец работы 18:30.
7. Ужин 19:00.
8. Вечерняя поверка 20:00.
9. Тушить свет и спать 23:00.

Расписание очень удобное для пленных.

В цитадели находились:

1. Генералов — один, в отдельной комнате.
2. "Сюперьер офисье" (штаб-офицеры) — свыше 50-ти.
3. "Сюбальтерн офисье" (младшие офицеры, до капитанов включительно) — около 350-ти.
4. Подпрапорщиков, сержантов, капралов, капрал-шефов и рядовых солдат — около 4500.

Офицеры жили — очень дружно между собой. Соблюдалась полная воинская субординация. Жили в общих казармах, гуляли вольно по широкому двору, но штаб-офицеры совершенно не общались с нами, как и офицеры не общались с солдатами. По приказу японского командования на каждом были положенные воинские отличия чинов на погонах. Отдавать воинскую честь своим офицерам-французам мы не должны были, но во всех случаях честь должны были отдавать японским офицерам, часовым, проходящему караулу, сержанту коменданта, так же, как должны были брать под козырек при смене часовых, остановившись там, где застала эта церемония.

В разговорах с офицерами я услышал, что высшее французское командование знало, когда японцы атакуют гарнизон. Не имея возможности сопротивляться и чтобы не проливать лишней крови, советовали отпустить в город как можно больше сержантов и солдат. Офицеры же всегда жили с семьями в городе. Сама цитадель оказала сопротивление. Случайно там находился небольшой отряд легионеров. Кстати, среди них было несколько русских, мобилизованных в Ханое.

Все они проявили доблесть в сражении. Во дворе еще лежал их разбитый танк.

Когда японцы подавили сопротивление, был дан приказ всем военным немедленно явиться в цитадель, сдать в плен. Многие явились с чемоданами с бельем и консервами, с запасом денег. В плену не скучали, часто играли в бридж. Странно, что было запрещено получать съестные продукты от семей, живших в городе, в достатке. Питание было недостаточное и одинаковое для всех. Рядовых солдат посылали в город на работы под малым конвоем, и женам удавалось передавать мужьям и записки, и деньги, и табак. Некоторые японские солдаты сочувствовали пленным и их семьям и старались "не видеть" эти передачи. Это был, конечно, "гуманный" лагерь для военнопленных.

Со второго этажа мы часто видели отряды новой индокитайской власти, проходящие с желтыми широкими флагами с красной звездой, но не с серпом и молотом. Все было как будто мирно. Семьи офицеров перевозили в Ханой, и они там свободно жили среди французов.

Мы ничего не знали о том, что происходило в Европе. Не знали и о том, что произошло в Индокитае после разгрома французских воинских сил. Я рассматривал большие цветные афиши, расклеенные во дворе, записал их текст и перевел с французского. Они говорили о том, как устанавливалась независимость Вьетнама:

СОВЕЩАНИЕ ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ИНДОКИТАЯ

"По соглашению о совместной обороне Индокитая, заключенному между Японией и Францией, японские власти непрерывно принимали меры для защиты страны в сотрудничестве с французскими властями и французской армией в Индокитае. Однако по мере того, как развивались военные события, французские власти в Индокитае стали проявлять всё большую и большую благожелательность к намерениям наших врагов и пытались установить тайную связь с последними.

Таким образом, они не стремились больше проявлять усилия для обеспечения защиты страны от нападения англо-американцев.

Понимая ошибочность такого поведения, представители Японии не раз против этого протестовали, но каждый раз безрезультатно. Наконец, они обратили внимание французских властей на то, что:

1. При настоящих обстоятельствах японская армия вынуждена защищать Индокитай одними своими силами против врагов, которые сейчас находятся уже в непосредственной близости страны.
2. В целях обеспечения защиты Индокитая японская армия желает изъять из состава французской администрации враждебные Японии элементы и оказать необходимую помощь местным властям, одушевленным желанием сотрудничать с Японией для достижения вышеуказанной цели.
3. Это решение продиктовано неоспоримыми, с военной точки зрения, намерениями.
4. Японское правительство заявляет, что оно не только не имеет никаких территориальных притязаний в отношении Индокитая, но и не пожалеет усилий, чтобы оказать помощь народам Индокитая, которые желают защищаться против врагов "стран Восточной Азии".
5. Японское правительство определенно заявляет, что оно никогда не перестанет сообразовывать свои действия с Декларацией о создании "Великой Восточной Азии", опираясь всецело на стремление к независимости народов Индокитая, столь долго, вплоть до сегодняшнего дня, находящихся под гнетом".

Рядом было заявление главнокомандующего японской армии следующего содержания: "1. Решения, принятые недавно японской армией, совершенно идентичны с теми, которые ясно изложены в официальном сообщении японского правительства, как вытекающие единственно из отсутствия искренности французских властей в Индокитае при выполнении соглашения о совместной защите страны. 2. Японская армия при данном военном положении не требует сотрудничества населения Индокитая. В соответствии с нашими действиями по обеспечению безопасности населения и восстановлению общественного порядка — силы для защиты Индокитая будут быстро увеличены. 3. Само собою разумеется, что японская армия не имеет никаких наме-

рений нарушать права Автономного правительства, которое оно почтительно поддерживает своими силами так же, как и его приказы и распоряжения его административных органов, относящиеся к личности тех чиновников, которые пожелают сотрудничать с армией. Что же касается населения, в особенности той части его, которая сотрудничает с администрацией, то его жизнь, имущество так же, как права и интересы, ... будут защищены. Население, таким образом, может питать полное доверие к японской армии и посвятить себя работе по воссозданию "нового Индокитая" вместе с чиновниками и членами Высшего совета.

4. Японская армия не пожалеет усилий для осуществления пламенного желания независимости, столь дорогой всем народам Индокитая. В то же время японская армия заявляет, что она решила выполнить в точности долг, выпавший на ее долю, защиты Индокитая и сотрудничества с упомянутыми выше народами и помощи их искреннему национальному движению в соответствии с принципами, изложенными в декларациях "Великой Восточной Азии".

Когда я прочитал это, мне стало понятно, почему японские войска атаквали французские гарнизоны в Индокитае, разрушили их и сгруппировали в цитадели как пленных. Под протекторатом японской армии Индокитай стал независимым. Его возглавил некто Хо Ши Мин. Ставка его была в Ханое, где он жил. По распоряжению японского командования нам, пленным офицерам, стали выплачивать жалованье по рангам японских офицеров. В лагере был открыт кооператив, где можно было купить съестные продукты и табак. Заведовали им наши офицеры. Жалованье было очень невелико, но оно пришлось к стати.

Однажды до нас дошли сведения, что Германия капитулировала. Это отразилось на нашем положении. Спешно на грузовых машинах на работу в джунгли вывезли и офицеров, до ранга капитанов включительно. Где-то в лесу, под дождем, нас высадили. На утро мы стали строить себе жилища из бамбука. В лесу находился небольшой гарнизон японцев. Под их руководством рубили деревья, возводили наблюдательные вышки. Подъем — в пять утра, еще темно. Питание скудное. Частые дожди. Слабая медицинская помощь. Это были репрессивные

меры после капитуляции Германии. Пять тысяч безоружных военнопленных не могли ведь захватить власть в Ханое. Генерал-губернатор Индокитая, генерал Мордан, с пятью генералами в высших чинах содержались под охраной где-то в другом месте, изолированно.

Так мы жили в жуткой обстановке в джунглях под непрерывным дождем. И вдруг наступил солнечный день. В этот день нас на работы не послали. Больше того, японские солдаты принесли на просеку из зарослей наши примитивные инструменты. На следующий день нас всех погрузили на десяток грузовиков, накинули на всех паруса-брезенты и ночью, под охраной японских солдат, доставили в Ханой, в цитадель. Когда с нашего грузовика сняли брезент, встречавший его начальник лагеря полковник Жайе весело и громко крикнул: "Армистис, камрад!" В ответ — восторженное "Ура!" Это произошло 21-го августа 1945 года после американской бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Мы свободны. В широком дворе цитадели веселые толпы офицеров и солдат. Взводами широким шагом мы спешим на кухню, где для всех приготовлен обильный и вкусный ужин.

Узнали: вследствие капитуляции Японии из Чунцина, из ставки Чан Кай-ши, в Ханой прибыла небольшая американская эскадрилья под начальством полковника Стефана Д. Нордлингера, который отдал приказ японскому командованию — немедленно вернуть в Ханой всех офицеров и солдат, вывезенных на работы в джунгли. В связи с тем что в провинции местные жители убили нескольких французов и их семьи, приказано было доставить нас под японской охраной. Поэтому все грузовики были покрыты парусами — надо было скрыть "груз" от жителей и военных отрядов.

Скоро из южного Китая, из ставки Чан Кай-ши в Чунцине, по железной дороге прибыла в Ханой 48-я китайская армия. Японские части были мирно разоружены и отправлены на родину. Китайская армия, войдя в Ханой, взяла город под свою охрану, став в подчинение полковнику Нордлингеру, начальнику американской эскадрильи.

Из Парижа прилетели французский маршал Жуан и генерал М. де Бруассиа. Последний был назначен начальником гарни-

зона в Ханое. Гарнизон оставался в казармах цитадели, безоружным. Разрешены были отпуска в город. Из-за враждебного отношения населения к французам в город отпускали группами по одной улице, ведущей к центру. Опасались нападений. Всем офицерам, сержантам и солдатам были выданы личные карточки на четырех языках — английском, французском, аннамитском и китайском. Карточки были подписаны 9-го октября 1945 года американским полковником Стефаном Нордлингером и французским генералом М. де Бруассиа. В городе разрешалось быть с 7-ми часов утра до 6-ти вечера. Безоружный французский гарнизон Ханоя, столицы всего Индокитае, находился словно в осаде. На окраинах убивали попавших туда солдат. Власть во всем Индокитае перешла к местному населению под руководством Хо Ши Мина.

К весне 1946 года из Франции прибыла бронированная дивизия прославленного генерала Леклерка. Французское население Ханоя восторженно встретило эту дивизию. Броневики, танки, запыленные загорелые настоящие мужественные и бодрые французские солдаты. Всегда веселые француженки выбегали из толпы, останавливали машины, обнимали своих родных солдат, приносили им прохладительные напитки.

Стоя в толпе, мы с женой и тринадцатилетним сыном радовались участию в этом народном французском празднестве освобождения. Приятно было видеть признанного героя Франции генерала Леклерка и из его рук получить потом боевую награду "Круа де герр" 2-й степени (военный крест).

С прибытием дивизии генерала Леклерка началась эвакуация морем во Францию старых контингентов армии с их семьями. По закону, в легионе иностранцы — офицеры и легионеры — считаются "селибатэр", то есть "холостяками", бессемейными. Если у офицера легиона есть семья, его всё равно зачислят как "селибатэр", и его семья не имеет права ни на квартиру, ни на передвижение с мужем по месту его службы; если муж убит в бою, семья не имеет права на вознаграждение. И в данном случае переезд жены и сына из Индокитаея во Францию я должен был оплатить сам. Возмущенный таким неожиданным для меня обстоятельством я подал рапорт на имя генерала Леклерка как лейтенант Иностранного легиона "дюре де герр",

перечислив, кем я был в Российской Императорской армии с 1913 года, и как участник Первой мировой войны 1914-1917 гг., которую закончил в чине полковника в должности начальника одной из кубанских казачьих дивизий. Сам испытал "потерю отечества", генерал Леклерк понял мои чувства. Я получил от него такой ответ:

"Юржан. Титр экспесионель" (Спешно. Исключительный случай). Жена и тринадцатилетний сын лейтенанта Елисеева перевезятся за государственный счет из Индокитаея во Францию. Генерал Леклерк, 24 мая 1946 г."

Из Сайгона на океанском пароходе "Иль де Франс" в конце октября в Тулон прибыла первая группа военнослужащих с семьями — всего свыше семи тысяч человек. Из Тулона все разъехались по своим городам. Я с семьей выехал экспрессом в вагоне второго класса в Париж, тоже на государственный счет. Всем был дан продолжительный отпуск — на четыре месяца — с сохранением содержания.

В легионе я болел. В Париже началось лечение. Четырехмесячный отпуск продлили еще на два месяца. 5-го апреля 1947 года отпуск кончался, меня демобилизовали; я снял мундир Иностранного легиона с нарядным красным кепи, расшитым золотыми галунами. С мая, в летний сезон, я был опять с казаками, джигитовал в Голландии и Швейцарии.

Как я попал в легион? После джигитовки в Европе наша группа кубанских джигитов подписала контракт с цирком, работавшим в Индии. В январе 1934 года мы были там. Непрерывно на пароходах пересекали моря и океаны — цирк работал в колониальных странах (Индии, Бирме, на Малайском полуострове, в Сингапуре, Индокитае, в королевстве Камбоджа, Сиаме, Гонконге, Шанхае, на Филиппинских островах, Яве).

Начавшаяся в сентябре 1939 года война в Европе застала нас на Суматре. Германия атаковала Францию. Скоро был занят Париж, из которого я выехал на джигитовку. Возвращение во Францию с Нансеновским паспортом стало затруднительным. Крестная мать нашего сына Георгия, француженка, была замужем за главным инспектором таможен в Индокитае — это было высокое положение. Он написал мне, что "по декрету французского правительства от июня 1939 года, в случае войны

Франции с соседними державами все офицеры Союзных армий 1-й мировой войны 1914-1918гг. имеют право поступить во французскую армию одним чином ниже, но не выше чина капитана, и только на время войны". Он же предложил мне подать об этом заявление в Сайгон, что я и сделал. Скоро пришла виза на всю семью с билетами на пароход, и мы поехали в Сайгон, где до того три раза наши казаки выступали в джигитовке.

Последовало освидетельствование состояния здоровья для определения пригодности к военной службе и экзамен по французскому языку (который я знал плохо). "Досье" (бумаги) о результатах послали в Париж. Но до Военного министерства оно не дошло. Париж пал.

Японцы вошли в Индокитай, как описано в начале этого очерка. В колониальные войска были мобилизованы и французы и все иностранцы. Меня вновь вызвали для "экзаменов". Чин полковника давал мне право на чин капитана французской армии. Как капитан я должен был получить в командование роту легионеров в Пятом пехотном полку, квартировавшем на севере Индокитая, в провинции Тонкин. Но я был кавалерийским офицером, следовательно не знал пехотного строя и к тому же недостаточно владел французским языком. Мне дали чин лейтенанта и вызвали в Ханой (где мы джигитовали в 1935 году). Так в силу событий жестокой 2-й Мировой войны я стал лейтенантом Иностранного легиона французской армии и был свидетелем трагических событий конца колонизации Индокитая.

Полковник Ф.И. Елисеев

НЕ ГЛУБОКО, НО ПРАВДИВО

(О книге Душко Додера "Югославы")

За всё мое трехмесячное пребывание в США чуть ли не самое большое удовольствие доставила мне книга о Югославии корреспондента "Вашингтон Пост" Додера. Дело в том, что с самого моего приезда меня не переставала удивлять неосведомленность, а порой и сознательное умолчание, о происходящем в Югославии, в этой небольшой, но независимой коммунистической стране. Если такие статьи в американских газетах, как статья Эрика Бурна "Югославы гордятся своей свободой" в "Кришчен Сайенс Монитор" от 25-го июля, если постоянное повторение выдумки о "всеобщей амнистии", якобы имевшей место в прошлом году, если недоуменные вопросы такого рода, как "а разве в Югославии есть политические заключенные?", могли вызвать лишь легкое раздражение и горькую усмешку, то деятельность Комиссии Конгресса по надзору за выполнением Хельсинкских соглашений меня озадачила и в то же время показала всю глубину и серьезность вопроса об отношении демократического мира к самой либеральной, но всё же коммунистической стране. Оказывается, Комиссия Конгресса регулярно печатает сборники документов о нарушении прав человека во всех коммунистических и некоммунистических странах Европы, за исключением двух стран — Албании и Югославии. Относительно Албании никаких недоумений не возникает — просто Албания не подписала Хельсинкских соглашений. Исключение же Югославии из числа стран, в которых нарушаются права человека, — на первый взгляд, загадочно и необъяснимо.

Вместе с тем всюду чувствуется большой интерес к будущему Югославии. Почти все американцы, с которыми я встречаюсь, мне ежедневно задают вопрос: "Что произойдет после ухода Тито?" Вот эта смесь верного осознания того, насколько значительна судьба Югославии для будущего Европы и всего мира и нежелания видеть правду о югославской версии коммунизма, производила на меня удручающее впечатление до прочтения книги Душко Додера "Югославы". Эта книга, хотя и не полностью, но всё же заполняет пробелы в розовой картине о "либеральном коммунизме", созданной западными средствами информации. И появилась книга в самое нужное время.

Впервые о книге Додера я услышал от Джиласа весной этого года; автор прислал ему часть рукописи. Вскоре о еще не напечатанной книге в кругу белградской интеллигенции начались разговоры. И немудрено: в рукописи описывались не исторические события давних лет, не красота югославского пейзажа, а современная неприкрашенная, реальная югославская действительность. Помнится, что всех нас больше всего поразили откуда-то раздобытые Додером данные о том, что генеральный секретарь югославской компартии Стане Доланц (Тито — председатель партии и государства) в молодости, во время Второй мировой войны, был членом нацистской молодежной организации "Гитлерюгенд". Сам по себе этот факт, конечно, никакого особенного значения не имеет — Доланц по национальности словенец, а Словения с 1941 по 1945 год была частью гитлеровского райха, да и нынешний партийный секретарь в те времена был совсем еще мальчишкой. Однако мы настолько привыкли к постоянной лжи и мифотворчеству, когда дело идет об истории компартии и ее вождей, что и незначительная крупица правды производит эффект взрывчатки.

И такого взрывчатого материала немало в этой интересно, легко и живо написанной книге, впервые рисующей ряд портретов партийных боссов, интеллигентов, диссидентов и рядовых граждан страны якобы самоуправленческого социализма и "неприсоединенности". В этой книге западный читатель впервые познакомится с такими выдающимися деятелями свободолобивой интеллигенции, как адвокат Йован Барович, смело и ловко (хотя, конечно, безрезультатно)

защищавший сотни обвиняемых на политических процессах последнего десятилетия; писатель и поэт Матия Бечкович; философ Люба Тадич. Я, проживший всю свою жизнь в Югославии и лично знакомый почти со всеми описываемыми Додером людьми, могу заверить читателя, что портреты очень верны и что в картине современной югославской жизни нет преувеличений.

Короткими штрихами, массой анекдотов замечательно метко обрисована югославская диктатура, на первый и поверхностный взгляд так разительно отличающаяся от советской. Читатель из этой книги узнает и о боязни контактов с западными журналистами, и о перлюстрировании писем, и о жизни югославского вождя, с пышностью которой вряд ли могли бы конкурировать коронованные особы Европы. Как много говорит, например, коротенький рассказ Додера о том, что высокопоставленный руководитель, извиняясь перед ним за то, что милиционер его избил, сказал: "Знаете, он думал, что вы югослав". Или рассказ о том, как президент Тито, козыряя перед английской леди, среди зимы будил медведя в своем собственном зоологическом саду.

Описывая сравнительно высокий жизненный уровень югославов, Додер не забывает подчеркнуть, что это заслуга, в первую очередь, миллиона югославских рабочих, проживающих в Западной Европе и присылающих в страну свои заработки, да выражающейся в миллиардах долларов безвозмездной американской помощи, полученной Тито после разрыва с Москвой в 1948 году. Об этом часто забывают почитатели югославской "модели".

Такую книгу мог написать только человек, тесно связанный с югославской культурой и историей, свободно говорящий по-сербо-хорватски и поэтому всё понимающий с полуслова да к тому же имеющий некоторый личный опыт жизни в коммунистической стране. И не удивляет тот факт, что автор книги — бывший югослав, покинувший страну в 1952 году. Очевидно, что западные журналисты, не порвавшие всех связей со своей бывшей родиной, являются самыми неприятными свидетелями и наблюдателями для коммунистических стран.

И всё же, несмотря на большие достоинства, чрезвычайно

характерны и, по-моему, не менее знаменательны — умолчания и недостатки этой книги, потому что именно в них сказалось двусмысленное отношение демократического мира к югославскому коммунизму. Вот об этом открыто говорить я и считаю в настоящее время самым важным, самым необходимым делом.

Еще раз подчеркну: всё то важное, о чем *не говорит* эта книга, наглядно демонстрирует идейную и духовную двусмысленность Запада, а отнюдь не является неудачей или виной автора. Додер, несомненно, увидел очень многое, ускользающее от глаз рядового американского корреспондента и в то же время, осмысливая то, что он увидел, он не отходит от ходячих штампов и уже десятилетиями преобладающей на Западе "безыдейной идеологии". Джилас, как и большинство бывших коммунистов, под идеологией подразумевает только тоталитарную идеологию и отсутствие ясной идейной установки считает достоинством. Он за это даже хвалит Додера. Тем не менее, перечень и анализ того, о чем Додер не пишет и о чем Запад пока не хочет знать, наглядно показывает совершенно определенную идейную установку, даже идеологию, по существу никогда открыто не выраженную.

Основные пункты этой идеологии таковы: ужасным является не коммунизм как таковой, а именно коммунизм русский, благодаря вековым традициям несвободы, всё же антисоветские коммунистические движения терпимы; многонациональную Югославию как единое государство поддерживает только однопартийная монополия партии Тито, и с ликвидацией этой монополии придет конец и Югославии; на репрессии комдиктатуры в Югославии можно смотреть сквозь пальцы, так как этим путем укрепляется страна, которой угрожают Советский Союз и страны Варшавского договора; Тито был союзником во время войны, а теперь он не то полу- не то четвертьсоюзник, и открыто писать о его грехах, относящихся к дням и месяцам прихода к власти в 1945 году — неприлично; и наконец, будущее Югославии после Тито зависит больше от географического положения страны, исторических и национальных традиций, чем от возможного изживания и преодоления коммунизма, являющегося той же болезнью, которой болеют разные народы.

Так выглядят основные положения "безыдейной идеологии" Запада в применении к Югославии, и именно эта идеология (я не боюсь употребить такое скомпрометированное слово) повинна в том, что демократический мир нередко ведет борьбу не против болезни, а против больного и что разница в национальных чертах мешает увидеть, что болезнь — одна и та же. В результате из года в год всё больше стран и народов подпадает под тоталитарную диктатуру, и так будет продолжаться до тех пор, пока у демократического мира не будет целостной интернациональной идеологии, которая даст возможность вести борьбу с болезнью, где бы она ни возникала. В наше время, время мучительного создания единого мирового общества, близорукой и губительной является политика дипломатических и военных союзов разных стран и народов и пресловутого равновесия сил времен Меттерниха.

Именно пример Югославии и книга о ней Душко Додера ярко показывают основной порок современной нам духовности демократического мира.

Не пишет Додер ничего о весне 1945 года, когда партизанские войска расстреливали десятки тысяч захваченных в плен противников в гражданской войне или заставляли идти в бессмысленные и заранее обреченные на провал атаки на застрявшие в области Срем немецкие укрепленные линии. Ни слова нельзя найти в книге Додера о страшнейших концлагерях на островах в Адриатическом море, существовавших с 1948 по 1956 год. Забывает Додер и о студенческих волнениях в Белграде в 1968 году, по существу явившихся первым открытым массовым движением сопротивления со времени окончания войны, так же как и о попытке группы молодых интеллектуалов создать независимый журнал в 1966 году после чистки в органах безопасности.

Думается, что Додеру, как и всему Западу, именно присущая, но открыто не высказываемая *идеология* просто помешала многое увидеть и упомянуть в книге о Югославии, так как умолчанные факты чересчур открыто свидетельствовали бы о том, что, по существу, никакой разницы между коммунистическими диктатурами нет и что более либеральный югославский вариант является результатом отнюдь не национальных

традиций или личных качеств партийных вождей, а только вынужденным и единственно возможным средством *поддержания диктатуры* в обстоятельствах, сложившихся после столкновения со Сталиным. Кстати, столкновение это вызвано было не идеологическими причинами, не стремлением к национальной независимости (в многонациональной стране коммунистическая партия была именно интернационалистической, и называть Тито родоначальником "национального коммунизма" совершенно бессмысленно!), а только борьбой за власть. Красочно свидетельствует об этом тот факт, что волна насильственной коллективизации в Югославии началась в 1949 году, через год после размолвки со Сталиным.

Особенно знаменательно, что в книге только мельком говорится о 1948 годе, хотя и подчеркнуто его общемировое значение как первого удара по единству сталинской империи. Ведь по теории, которой придерживается Додер, откол от советской империи должен был бы означать начало более свободного периода в истории коммунистической Югославии. Однако — ничуть не бывало. Годы с 1948 по 1953 в истории титовской Югославии можно сравнить лишь с тридцатыми годами в СССР. В эти годы Югославию не только захлестнула волна насильственной коллективизации, но и страшнейшие чистки — в концлагеря заключали десятки тысяч так называемых "сталинистов", что, по существу, было явлением, аналогичным борьбе с внутрипартийной оппозицией в СССР, попавшей в сталинские лагеря во времена "ежовщины". Настоящая либерализация началась на десятилетие позже, и она была вызвана не идеологическими соображениями или желанием вождей югославской партии экспериментировать; либерализация была единственной возможностью *сохранения* монопольной власти в новых исторических условиях, сложившихся в мире в начале шестидесятых годов.

Так в интересах захвата власти югославские коммунисты являлись верными союзниками Сталина в 1945 году, в интересах сохранения монополии власти они выступили против Сталина в 1948 году, в интересах поддержания партийной монополии они начали строить "самоуправленческий социализм" и открыли

границы югославским рабочим для работы в капиталистических странах. По тем же причинам, т.е. в интересах сохранения монополии власти, югославская компартия в один прекрасный день опять может стать верным союзником советских (или — и это уже происходит — китайских) коммунистов, может ликвидировать сравнительный либерализм в стране и начать некий "новый эксперимент".

Вот поэтому совершенно неверно утверждать, что югославские коммунисты более гуманны, либеральны и настроены более прагматически, чем советские коммунисты, как это делает, к сожалению, и Додер в своей книге. Хотя это, конечно, лучше, чем обходить молчанием происходящее в Югославии, как поступает Комиссия Конгресса по наблюдению за выполнением Хельсинкских соглашений. После смерти Мао Цзе-дуна Югославия и Северная Корея остались единственными странами с максимально выраженным "культутом личности" почти классического образца — сталинского. Это, конечно, не значит, что в Югославии такая же жесткая диктатура, как и в Корее, но однопартийная модель всё же одна и та же. На все указания, что Тито не ликвидировал физически своих соперников, как это сделал Сталин, что цензура в Югославии не настолько непроницаема, как в СССР, и что границы Югославии открыты почти для всех граждан — всегда можно ответить: когда мог, и Тито ликвидировал; Джиласа спасло только мировое общественное мнение, когда Тито не мог уже не считаться с ним. Что касается внутривластной информации, то югославская цензура так же непроницаема, как и советская, а в некотором смысле даже более непроницаема. Даже Запад пока не пишет всей правды о Югославии. Границы были открыты не из свободолюбия, к открытию их привела огромная армия безработных, появившихся в результате введения свободного рынка, в то время когда невозможно было сохранить власть, не зависящую от советского блока, и в то же время иметь централизованную "административную" экономику советского образца, которая существовала в стране до середины пятидесятых годов. Подтверждение всему этому внимательный читатель найдет в книге Душко Додера.

Когда в начале прошлого года Джилас публично заявил, что

в Югославии процент политических заключенных выше, чем в Советском Союзе, — для людей, знающих положение в Югославии только из западной печати, это явилось полной неожиданностью. И тем не менее об этом вскоре забыли — после того, как в ноябре прошлого года из тюрем досрочно были освобождены несколько самых известных заключенных, а двумстам другим политзаключенным были несколько сокращены сроки. Это тоже результат той же идеологии, которой Додер придерживается в своей книге, утверждая, что единственной силой, связывающей воедино страну, являются партия Тито и армия. А так как существование единой и независимой Югославии в интересах Запада, то и на репрессии можно и должно смотреть сквозь пальцы, а демократизация даже опасна, так как может привести к развалу страны.

Во-первых, неверно, что единство страны зависит от партийной монополии. Наоборот, победа Тито в гражданской войне, во время Второй мировой войны, явилась результатом интернациональной и югославской политики коммунистической партии; в такой многонациональной и этнически чрезвычайно смешанной стране, как Югославия, разгул многих национализмов привел бы к катастрофическим кровавым последствиям. Несмотря на то что все вместе взятые военные формации националистических движений намного превышали силы титовских партизан, они, не имея никакой наднациональной идеологической платформы и часто воюя друг с другом, лишь открыли дорогу победе Тито. В настоящее время партийная монополия ничего так не боится, как объединения диссидентов разных национальностей, этому она всеми силами препятствует.

Во-вторых, придерживаться мнения, что отсутствие демократии укрепляет страну, так же нелепо, как и верить тому, что сталинские чистки укрепили Советский Союз и Красную армию перед столкновением с Гитлером. Тогда, после этих чисток, пятой колонны якобы в России не осталось. Однако можно сказать, что почти весь народ стал пятой колонной; об этом свидетельствует численность армии Власова. Точно в таком же смысле Югославию, по отношению к Советскому Союзу, "укрепляют" аресты и суды над многочисленными диссидентами.

Хотя Додер и делает неверный вывод, но его книга доказывает именно это.

Так же неверно, что в Югославии аресты часто происходят под давлением Советского Союза, якобы, чтобы ему угодить. Когда дело идет о просоветски настроенных людях, югославские власти отнюдь не стараются угодить Кремлю, и жестоко расправляются с такими одиночками и группами. Именно обо мне Додер пишет, что меня арестовали якобы по требованию Москвы. Это неверно. Только в первый раз, в 1965 году, меня арестовали, лишили службы в Университете и перестали печатать в югославской прессе из-за моей книги "Лето московское", кстати во многом схожей с книгой Додера "Югославы". Однако тогда я отсидел только сорок дней в предварительном заключении и осужден был только условно. Первый же мой тюремный срок, с 1966 по 1970 год, и второй, с 1974 по 1977 год, — никак не были связаны с каким-либо давлением Кремля. В первый раз меня осудили формально за статьи о Югославии в западной прессе, в самом же деле — за попытку организовать в 1966 году независимый социал-демократический журнал. Во второй раз меня судили за серию статей в западной прессе о резком зажиме в Югославии после ликвидации либеральных партийных руководств в Хорватии и Сербии. Советский Союз в этих статьях не упоминался.

По тем же внутренне югославским причинам с момента появления "Архипелага ГУЛАГ" в Югославии не печатали Солженицына. В то время как критика Сталина в Югославии началась уже в 1949 году, Ленин и Октябрьский переворот всё еще являются неприкосновенными мифами, идеологически оправдывающими диктатуру югославской компартии. Однако и в этом случае идеология мешает Додеру и Западу увидеть правду, что должно очень нравиться югославским коммунистам, так как обеляет их в глазах общественного мнения. Вот потому на Западе так много говорят и пишут о советских концлагерях, ни словом не упоминая о югославских. Можно думать, что так будет до своеобразного "двадцатого съезда" югославской компартии, конечно, если какие-нибудь непредвиденные события этому нормальному окончанию "культа" не воспрепятствуют.

Дело в том, что, несмотря на междоусобицу в собственных

рядах, все коммунистические движения имеют интернациональную и общемировую идеологию, и в момент ухода Тито от власти, все они приложат усилия к тому, чтобы компартия Югославии не потеряла монополию, какой бы "ревизионистской" или "либеральной" она ни была. Вопрос будущего Югославии отнюдь не является вопросом, касающимся лишь народов Югославии и межнациональной напряженности среди них. Демократизация страны и ликвидация партийной монополии означали бы совершенно новый и до сих пор в истории невиданный шаг в будущее, который во многом мог бы определить судьбы не только Европы, но и всего мира.

Додер оканчивает свою книгу мнением, что будущее Югославии будет зависеть от того, сколько свободы дадут гражданам наследники Тито. Это вытекает из неверной основной концепции автора. С тех пор как появилась первая коммунистическая партийная диктатура в России в 1917 году, никогда ни малейшей свободы не было гражданам добровольно дано. Это всегда являлось лишь временным вынужденным отступлением для сохранения комдиктатуры. Именно это невольно показывает автор книги "Югославы". Главный вопрос только в том, насколько югославы позволят отнять у себя свободу, даже такую куцую, как нынешняя, и насколько демократический мир поддержит антитоталитарные силы в момент будущего кризиса и возможной демократизации страны.

А для того чтобы это произошло, необходимо отбросить устаревшую и близорукую "безыдейную идеологию". Книга Душко Додера способствует ясному взгляду на "самую либеральную" коммунистическую страну, хотя от этой "безыдейной идеологии" сама страдает.

Михаил Михайлов

Н. ХРУЩЕВ НА ПЕНСИИ

В 1976 г. издательство Колумбийского университета опубликовало на английском языке книгу Роя Медведева в соавторстве со мной "Хрущев. Годы у власти". Русское издание было опубликовано ограниченным тиражом, просто как "зерокс", копия с машинописной рукописи. Поскольку книга эта переводилась и на другие языки, то Рой Медведев подготовил небольшую дополнительную главу о жизни Хрущева на пенсии. Однако этот материал я получил слишком поздно и не мог включить его ни в одно из изданий нашей книги. Но он и не подходил полностью к выбранному издательством названию книги. Недавно эту главу удалось дополнить рядом интересных новых деталей.

При различии отношения людей, и в России и в эмиграции, к периоду правления Хрущева связанное с его именем десятилетие в жизни страны было насыщено многими событиями, оказавшими влияние и на международную обстановку в настоящее время. Хрущев, естественно, может привлекать внимание историков. Факты из жизни Хрущева после его смещения никогда не освещались, хотя сам по себе "феномен" жизни "бывшего" диктатора на пенсии является интересным для исследования.

В связи с этим я решил предложить "Новому Журналу" публикацию настоящего очерка.

Жорес А. Медведев

2-го октября 1964 года, вскоре после встречи с Сукарно, Н.С. Хрущев вылетел на юг на отдых, который он проводил в своей недавно построенной даче-резиденции недалеко от Сочи. Это был настоящий дворец, зимние бассейны здесь были облицованы мрамором, который привозили из Италии. Территория

Примечание редакции. Мы не разделяем политических взглядов братьев Жореса и Роя Медведевых. Печатаем статью Роя Медведева как ценный документ.

дачи на живописном полуострове Пицунда занимала не только часть прекрасного черноморского пляжа, но и большой участок реликтового соснового леса. Высокий бетонный забор, протяженностью почти в два километра, скрывал эту самую дорогостоящую из всех государственных дач от нескромных взглядов рядовых отдыхающих.

Хрущев, однако, совсем не чувствовал себя больным или уставшим. Он был полон энергии и жажды деятельности. Еще по дороге к Сочи он посетил несколько колхозов и совхозов, провел совещание с птицеводами Крыма, беседовал с секретарями обкомов и райкомов на Кубани, внимательно следил за подготовкой полета в космос корабля "Восход" с тремя космонавтами на борту. Хрущев продолжал и на юге принимать многих прибывших в СССР государственных деятелей Запада и Востока, его посетили, в частности, парламентские делегации Японии и Пакистана. На этих встречах присутствовал и председатель Президиума Верховного Совета А.И. Микоян, который также отдыхал в эти дни недалеко от Сочи. Особенно напряженным был день 12 октября. Впервые в истории три космонавта — В. Комаров, К. Феоктистов и Б. Егоров в одном космическом корабле поднялись над землей. Хрущеву непрерывно звонили руководители полета и сообщали о делах на космодроме. Когда космический корабль совершал третий виток, Хрущев и Микоян связались с космонавтами по радиотелефону и поздравили их с успехом. В радостном возбуждении Хрущев не заметил, что все другие телефоны в его резиденции перестали работать и всякая связь его с внешним миром была прервана. В Кремле в этот день уже началось расширенное заседание Президиума ЦК КПСС, на котором Сулов и Шелепин поставили вопрос о немедленном смещении Хрущева со всех его постов.

Вечером 12-го октября Хрущев принял на своей даче французского министра Г. Палевского. Франция готовилась к президентским выборам, и всех занимал вопрос — выдвинет ли де Голль свою кандидатуру на новый срок. Хрущев также задал этот вопрос французскому министру, которого он считал близким другом де Голля. Палевский ответил уклончиво, но Хрущев перебил его и выразил твердую уверенность, что де Голль обязательно выставит свою кандидатуру. "Настоящий

политический деятель, — сказал Хрущев, — всегда борется до конца за свою власть”.

Хрущев пригласил Палевского посетить его утром 13-го октября. Однако на следующий день эта встреча была неожиданно отменена без какого-либо объяснения. Ничего не могли понять вначале и три советских космонавта, приземлившиеся утром 13 октября в казахской степи. Они позвонили Хрущеву, но к телефону никто не подходил. Руководители полета были в растерянности. Долгое время они не могли дозвониться и в Кремль. Все правительственные телефоны в Москве были отключены. Лишь через несколько часов космонавтов подозвали к телефону. Их торопливо поздравил с успешным окончанием полета Л.И.Брежнев. На вопрос о Хрущеве Брежнев сначала ничего не ответил, но затем, помолчав, ответил, что ”Хрущев в воздухе”. Это, впрочем, было правдой. Как раз в эти самые минуты, после грубых и резких препирательств с Брежневым и Малиновским, Хрущев вылетел в Москву для участия в заседании Президиума и Пленума ЦК, которые впервые за последние десять лет были созваны без его ведома и согласия.

Мы не будем здесь писать о том, как проходили заседания Президиума ЦК. Кремль был строго изолирован, и только А. Микоян на короткое время выехал на правительственный аэродром, чтобы встретить прибывшего в Москву президента Кубы О. Дортикоса. Однако уже 14 октября многие стали догадываться о том, что происходят какие-то важные события. Так, например, рано утром 14 октября были остановлены все типографии Советского Союза. Тысячи цензоров и редакторов внимательно просматривали подготовленные к выпуску газеты, журналы и книги, вычеркивая из рукописей и версток любое упоминание о ”великом ленинце” и ”борце за мир” Н.С. Хрущеве. Десятки тысяч тонн уже отпечатанных книг и журналов были задержаны на складах и вскоре отправлены в макулатуру. Уже вечером 14-го октября и утром 15-го все московские газеты вышли в свет без единого упоминания о Хрущеве, имя которого еще за день до этого десятки раз встречалось почти в каждом номере любой советской газеты.

Причина этого молчания стала понятной только к вечеру 15-го октября, когда редакции всех газет получили краткое офици-

альное извещение о состоявшемся в Кремле Пленуме ЦК. В этом извещении говорилось, что Пленум удовлетворил просьбу Н.С. Хрущева об освобождении его от обязанностей Первого секретаря ЦК, члена Президиума ЦК КПСС и Председателя Совета министров СССР "в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья". Так внезапно и для советских людей и для политических наблюдателей всего мира был отправлен на пенсию самый могущественный из советских лидеров, который к осени 1964 года располагал такой же неограниченной властью, какая была только у Сталина.

На заседании Президиума ЦК Хрущев яростно и грубо боролся против всех своих обвинителей. В конце концов и он знал достаточно много о каждом из них. Однако на Пленуме ЦК Хрущев хранил молчание, не отвечая ни на доклад Суслова, ни на многочисленные и враждебные реплики из зала. Сразу же после Пленума Хрущев уехал на свою подмосковную дачу-резиденцию, где собрались почти все его ближайшие родственники.

Еще в 1953 году, обосновавшись в Москве, Хрущев поселился в большом и удобном доме в Усово, который был когда-то помещичьей усадьбой. Ему, однако, не нравился этот дом. Сначала он распорядился убрать с потолка превосходную лепку, а после смещения Молотова Хрущев переехал на дачу, которая прежде принадлежала семье Молотова — это был большой, но крайне безвкусно спроектированный дом. В Москве Хрущев также имел небольшой особняк недалеко от Метростроевской улицы. Однако затем он занял вместе с семьей один из особняков в районе Мичуринского проспекта, рядом с так называемым Домом приемов. Это был целый квартал правительственных особняков, окруженный высокой стеной, который москвичи, жившие в соседних кварталах, называли иронически "колхозом" "Путь к коммунизму".

В первые недели своей отставки Хрущев находился в состоянии нервного шока. Несмотря на свои 70 лет, Н. Хрущев был человеком громадной энергии и железного здоровья. И никогда он так много не работал, как в 1953-1964 гг. Его рабочий день в эти годы, как правило, продолжался по 14-16 часов в сутки. Он побывал почти во всех странах мира, несколько раз он совершил поездки по всем районам Советского Союза. Он вмеши-

вался решительно во все, занимаясь не только вопросами внешней политики, промышленности и сельского хозяйства, но и проблемами литературы, искусства, науки, военного дела, строительства, партийными делами, проблемами народного образования, космическими полетами, торговыми делами и вопросами государственной безопасности. Ему все хотелось увидеть, он был полон проектов, и не проходило почти ни одной недели, чтобы Хрущев не предпринял какой-нибудь очередной реформы или перестройки. Ежедневно он встречался с десятками людей. Неудачи этих поспешных и непродуманных реформ раздражали Хрущева. Он постепенно становился все более резким и грубым, возражения вызывали у него порой вспышки необузданного гнева. Ощущение безграничной власти все больше и больше мешало ему понимать реальное положение вещей и принимать правильные решения. И вдруг, как всадник, или лучше сказать, как танк, несущийся вперед на полном ходу, он был остановлен и выброшен из политической жизни своими же еще столь недавно такими послушными помощниками и подчиненными.

Хрущев был в растерянности и не скрывал этого. Недавний всемогущий диктатор часами сидел неподвижно в кресле. Он не мог сдержать слез. Когда в одной из московских школ, где учился внук Хрущева, директор спросил из любопытства: "Что делает сейчас Никита Сергеевич?", мальчик ответил: "Дедушка все время плачет".

Однако Хрущев был слишком сильной личностью, чтобы долго пребывать в состоянии бездействия. Постепенно он стал приходить в себя. Он начал читать газеты и расспрашивать своих детей и внуков о переменах, последовавших за его отставкой. Большую часть этих перемен он воспринимал болезненно и враждебно. Как известно, уже в ноябре 1964 года Пленум ЦК отменил одну из наиболее нелепых реформ Хрущева, разделившего почти все обкомы в стране на сельскохозяйственные и промышленные и разрушившего сельские райкомы — важнейшее звено партийного руководства. Хрущев старался доказать хотя бы своим близким, что именно он был прав. Однако к падению клики Лысенко Хрущев отнесся гораздо более спокойно. Впрочем, тут он не мог рассчитывать даже на сочувствие своей семьи. Дочь Хрущева Рада, которая работала уже

давно заместителем главного редактора популярного журнала "Наука и жизнь", несколько раз пыталась еще в конце 50-х годов изменить отношение своего отца и к классической генетике и к Лысенко. Однако Хрушев, который очень любил свою дочь и уважал ее за знания, был непреклонен. Когда в журнале "Наука и жизнь" появилась однажды статья, критикующая некоторые из нелепых догм лысенковщины, Хрушев был разгневан. Он грубо обругал Раду и едва не выгнал ее из дома. Лысенко обладал каким-то гипнотическим влиянием на Хрушева и оставался для него непререкаемым авторитетом. Хрушев принимал его в любое время, возил к нему в Горки Ленинские всех членов Президиума и выполнял любую его просьбу. И только теперь, после отставки, наступило прозрение, хотя Хрушев и избегал говорить о Лысенко и скрывал свою досаду.

В первые месяцы никто, кроме родных, не посещал Хрушева. Его падение было встречено в стране с удивительным спокойствием и даже, можно сказать, с некоторым облегчением. Все устали от бесконечных перестроек. Однако на Западе во многих странах и в некоторых коммунистических партиях Хрушев продолжал оставаться популярной фигурой. Некоторые из государственных деятелей и лидеров компартий, приезжая в Москву, выражали желание встретиться с Никитой Сергеевичем. Им говорили обычно, что он болен, но этот ответ нельзя было повторять бесконечно. Надо было как-то решить вопрос о постоянном статуте для отставного премьера. Этот вопрос был обсужден на одном из заседаний Президиума ЦК. Было решено передать Хрушеву и его семье одну из "дальних" дач, ранее принадлежавших Сталину. Ему была установлена персональная пенсия в 1200 рублей и ряд льгот по обслуживанию, а также постоянная охрана. Л. Брежнев позвонил Хрушеву и попросил его приехать в ЦК КПСС, чтобы обсудить с ним лично вопросы по его "бытовому устройству". Однако Хрушев все еще находился в состоянии чрезмерного возбуждения и не хотел говорить ни с кем из новых руководителей. Поэтому он вообще отказался приехать в Москву. В результате предварительное решение об устройстве Хрушева было отменено. В самом начале 1965 года Хрушеву предложили освободить особняк Молотова. Недалеко от поселка Петрово-Дальнее (москвичи приезжают в этот дачный район

автобусом от метро "Сокол") Хрущеву была отведена более скромная дача, которую когда-то построил для своей семьи И. Акулов, видный деятель партии, друг М.И. Калинина, долгое время занимавший пост Генерального прокурора СССР. Акулов был расстрелян в годы сталинских репрессий, и его дача с тех пор сменила нескольких хозяев. Теперь ее занял Н.С. Хрущев. Эта дача намного уступала всем прежним резиденциям Хрущева. Но у нее было и важное для Никиты Сергеевича достоинство — большой земельный участок.

Весь дачный поселок в Петрово-Дальнем был окружен высоким забором, однако в проходной дежурили обычно пожилые вахтерши, миновать которых не составляло большого труда. Поэтому новое жилище Хрущева окружили еще одним высоким забором. Для охраны экс-премьера было выделено небольшое подразделение войск МВД-КГБ. Несколько человек непрерывно охраняло и дом Хрущева, а также сопровождало его во время прогулок. Однако эти люди не вмешивались в жизнь Хрущева. Это была для них довольно скучная работа. Хрущеву была определена персональная пенсия в 400 рублей в месяц, что было не так уж много, учитывая его недавнее положение в государстве. Примерно столько же получает директор среднего предприятия или заведующий лабораторией в научном институте. За Хрущевым было сохранено право пользоваться медицинскими услугами Кремлевской больницы и специальным пайком. Кроме дачи Н. С. Хрущеву и его супруге Нине Петровне была выделена квартира в Москве. Любитель многочасовых пеших прогулок Хрущев просил, чтобы ему дали квартиру в новых домах на Ленинских горах. Однако ему предоставили квартиру в одном из районов старой Москвы, недалеко от Арбата — в Староконюшенном переулке. Хрущев не любил этой квартиры. Он иногда приезжал по делам в Москву, но за несколько лет ни одного раза не остался ночевать в своей городской квартире.

Хрущев никогда уже не думал о возвращении к власти. Однако он продолжал сожалеть об утраченной власти, негодуя против своих недавних помощников, многие из которых были выдвинуты на руководящие посты только благодаря Хрущеву. Возмущаясь Шелепиным, Хрущев очень сожалел теперь о том, что он сам удалил в Казахстан прежнего председателя КГБ гене-

рала И. Серова. Конечно, этот человек был запятнан участием во многих преступных делах сталинской эпохи. Именно Серов руководил, например, выселением многих народностей Северного Кавказа. Немало ценностей он вывез лично для себя и из побежденной Германии в 1945 году. Но кто не был в той или иной степени запятнан во всех этих преступлениях? Разве сам Хрущев не участвовал в репрессиях на Украине и в Москве? Разве безгрешны были Суслов или Микоян? Но ведь Серов был бесконечно предан лично Хрущеву и готов был выполнить любой его приказ. Разве не Серов с Жуковым спасли Хрущева и обеспечили ему власть в тревожные дни июньского Пленума ЦК в 1957 году? При Серове власть Хрущева была бы незыблема. Но он послушался других членов Президиума ЦК и заменил Серова комсомольским лидером А. Шелепиным, который, как оказалось, сам мечтал занять место Хрущева.

Сожалел Хрущев и о многих других своих действиях или своем бездействии, очень многое представлялось ему уже совсем в ином свете. Он сожалел, например, что не довел до конца дело партийных реабилитаций. Конечно, Хрущев и не вспоминал о таких далеких делах, как судебные процессы 1928-1931 гг. Но о процессах 1936-1938 гг. он думал очень часто. Как и многие молодые коммунисты, в конце 20-х годов он очень любил Н.И. Бухарина, уважал А. Рыкова. Специальная комиссия при ЦК КПСС уже давно доложила Хрущеву о том, как проводились при Сталине все эти процессы, как принуждениями, угрозами и пытками вырывали у подсудимых их нелепые и чудовищные "признания". И Хрущев был уже готов реабилитировать всех почти обвиняемых, несмотря на возражения некоторых членов партийного руководства. Но в Москву срочно приехали тогда Морис Торез и Гарри Поллит. Они настойчиво просили Хрущева повременить с этим делом. "После Венгрии и XX-го съезда, — сказал Торез, — наша партия потеряла почти половину своих членов. И если будут реабилитированы Бухарин и Зиновьев, то партия потеряет и половину из тех, кто остался". Конечно, Торез боялся не столько за партию, сколько за свое положение в этой партии. Но Хрущев послушался Тореза и его единомышленников и отправил в архив подробные выводы специальной комиссии ЦК.

Сожалел Хрущев и о тех громких идеологических кампаниях 1962-1963 гг., которые были направлены в основном против большой группы художников и скульпторов и которые очень повредили репутации Хрущева и среди советской интеллигенции, и за границей. Сам Хрущев вообще мало что понимал в изобразительном искусстве, да и не интересовался ни живописью, ни скульптурой. Никогда в жизни он не бывал даже в Третьяковской галерее, не говоря уже о Русском музее в Ленинграде или о музее им. Пушкина в Москве. Не ходил он по музеям и во время своих зарубежных поездок. Конечно, Хрущев знал несколько самых известных картин вроде картины Репина "Иван Грозный убивает своего сына", но только по репродукциям. Теперь Хрущев обвинял во всем Леонида Ильичева, своего главного "идеолога" в начале 60-х годов. Это он уговорил Хрущева посетить Манеж во время выставки художников. Это он настраивал его против группы молодых художников. "Ему (Ильичеву), — говорил Хрущев, — нужен был пропуск в Президиум ЦК". Эти мысли так волновали Хрущева, что он попросил своих родных пригласить к себе на дачу некоторых художников, которых он столь грубо распекал в Манеже и на последующих громких совещаниях в ЦК. Хрущев был очень тронут, когда Эрнст Неизвестный прислал ему в подарок книгу Достоевского "Преступление и наказание" со своими оригинальными иллюстрациями. И неслучайно сын Хрущева Сергей, талантливый инженер-конструктор, подружившийся с Неизвестным, попросил именно этого выдающегося скульптора создать памятник на могиле отца.

Первые два года жизни в отставке были для Хрущева наиболее трудными. Но позднее он привык к своему положению пенсионера и становился все более и более общительным. Он стал чаще ездить в Москву. Иногда прогуливался по ее улицам вместе с женой (конечно, в сопровождении охраны). Хрущев стал посещать театры и некоторые концерты. Так, он с интересом посмотрел пьесу М. Шатрова "Большевики" в театре "Современник", эта пьеса пользовалась в конце 60-х годов большим успехом. Пьеса понравилась Хрущеву, и он выразил желание побеседовать с ее автором и режиссером театра Ефремовым. Беседа состоялась в кабинете режиссера. Хрущев сделал только

одно замечание — заседание Совнаркома в пьесе происходит без участия таких лиц, как Каменев и Бухарин. "Мы хотели их реабилитировать, — сказал Хрущев, — да вот Торез помешал". Жена Хрущева Нина Петровна, в прошлом преподаватель политической экономии, отличавшаяся не в пример своему супругу чрезмерной ортодоксальностью, стала настойчиво упрямить мужа вернуться домой.

Располагая теперь большим досугом, Хрущев стал много читать. У него была громадная личная библиотека, ведь он получал в прошлом почти все выходявшие в стране книги. Однако в годы власти ему было некогда читать. Он иногда жаловался при встречах с писателями, что ему приходится читать только докладные записки своих министров и заместителей, да послания глав других стран. Да и эти документы ему читали обычно помощники, выделяя самое главное. Теперь он читал сам. Иногда Хрущев смотрел телевизор. Неожиданно для родных он стал слушать иностранные радиопередачи на русском языке. Почти каждый вечер он слушал и "Голос Америки", и "Би-Би-Си", и "Немецкую волну". Из этих именно передач он узнавал о многих событиях как в стране, так и за границей и комментировал их в беседах с родными. Самое искреннее негодование вызвали у него попытки реабилитировать Сталина. Хрущев неодобрительно отозвался о судебном процессе над Синявским и Даниэлем и, напротив, с симпатией следил за первыми проявлениями движения диссидентов, которое на ранней стадии развивалось главным образом в русле протеста против частичной реабилитации Сталина, предпринятой еще перед XXIII съездом КПСС. Об академике Сахарове Хрущев говорил с симпатией, нередко вспоминая свои встречи с ним и сожалея о резком конфликте 1964 года, который был связан тогда с вопросом о Лысенко. Иным было отношение Хрущева к Солженицыну. Только теперь Хрущев прочитал рукопись романа "В круге первом". Роман не понравился Хрущеву, и он сказал, что никогда не позволил бы его напечатать. Здесь была граница, за которую Хрущев не способен был перейти. Он стал более терпимым, но он и теперь отнюдь не превратился в сторонника плюрализма в политической или культурной жизни. Однако он и теперь не жалел о том, что помог несколько лет назад публи-

кации повести "Один день Ивана Денисовича". "Может быть, я ненормальный, может быть, все мы ненормальные, — говорил Хрушев. — Но ведь Твардовский не был ненормальным. А он не раз говорил мне, что эта повесть великое произведение и что Солженицын великий писатель". Вообще Хрушев нередко и с большим уважением говорил о Твардовском, просматривал все номера "Нового мира", читал там повести и романы Ф. Абрамова, В. Тендрякова, Ч. Айтматова, Б. Можаяева. Хрушев любил поэзию Твардовского — она была ему понятна. Пастернака же он никак не мог понять и принять. Он очень сожалел, о том, что против Пастернака была поднята в 1959-1960 годах ожесточенная политическая кампания. И все же, перелистывая иногда стихи Пастернака, Хрушев всегда бросал чтение, такая поэзия была ему чужда.

Узнав от родных о бегстве на Запад дочери Сталина Светланы, Хрушев не поверил этому. Он давно знал Светлану Аллилуеву, часто встречался с ней. Для Хрущева было очень важно, что в отличие от сына Сталина, Василия, Светлана публично поддержала решения XX и XXII съездов партии и даже сама выступала по этому поводу на одном из партийных собраний. "Она не могла бежать из СССР, — говорил Хрушев. — Вы не знаете, насколько она была преданной коммунизму. Здесь какая-то провокация". Хрушев очень волновался и был даже груб и резок. Однако, услышав на следующий день по "Голосу Америки" подробности бегства Аллилуевой, Хрушев был глубоко уязвлен и потрясен. Он несколько дней не мог разговаривать со своими близкими. Для него это была большая личная драма, и он даже позднее не хотел говорить об Аллилуевой.

Крайне неодобрительно отозвался Хрушев об интервенции советских войск в Чехословакию. "Можно было сделать как-то иначе, — говорил он. — Это очень большая ошибка". Когда Хрущеву в этой связи напомнили о Венгрии, то он, раздражаясь, начал подробно доказывать, что в Венгрии все было совсем иначе, что Венгрия была военным противником СССР в годы войны и там уже ранее стояли советские войска. "К тому же, — добавлял Хрушев, — в Венгрии действительно хотели устранить от власти коммунистов, а в Чехословакии коммунисты прочно

держали власть в своих руках". Вопрос о том, что и мандат коммунистической партии на управление страной должен обновляться по воле народа, не вставал перед Хрущевым. Хрущев очень гордился Яношем Кадаром, часто хвалил его, напоминая, что именно он, Хрущев, одобрил выдвижение Кадара. Надо сказать, что и Янош Кадар был единственным из руководителей коммунистических стран, кто регулярно вспоминал о Хрущеве и присылал ему поздравления в дни всех советских праздников. С большим беспокойством следил Хрущев за военными столкновениями на советско-китайской границе в 1969-1970 гг. Он не доверял китайским руководителям и с неприязнью говорил о них. Хрущев одобрял первые шаги в сторону разрядки, которые были предприняты в 1969-1970 гг. В прошлом внешняя политика Хрущева была не очень последовательна, но он, конечно, был самым искренним сторонником мира, хотя в свое время именно он приказал установить ракеты на Кубе и воздвигнуть Берлинскую стену.

Со временем Хрущева снова стала обуревать жажда деятельности. Неожиданно для родных он увлекся фотографированием. Обеспечив себя всеми фотопринадлежностями, Хрущев сумел достигнуть настоящего мастерства в фотографии. Правда, он был очень ограничен в выборе объектов для своих фотографий. Главным объектом их стала сама природа, он мастерски снимал снежное поле, ветку дерева, цветы, птиц.

Однако главным увлечением Хрущева и теперь было возделывание земли — сад и огород. С ранней весны и до поздней осени большую часть своего теперь уже большого досуга он проводил в заботах о своем небольшом хозяйстве. Он выписывал и доставал множество семян различных овощей и продолжал попытки по выращиванию в Подмоскovie различных культур из более южных районов. Конечно, были в его огороде различные виды кукурузы. Гордостью Никиты Сергеевича стали и помидоры, в 1967 году он сумел вырастить около 200 кустов помидоров какого-то особого сорта с плодами до килограмма весом. Хрущев не ленился вставать еще до восхода солнца — в 4 часа утра, чтобы полить эти чудо-помидоры. Большую часть их он не успел убрать, неожиданно ранние заморозки погубили урожай. Старик тяжело переживал это стихийное бедствие. Хрущев и

теперь продолжал экспериментировать. Так, например, он очень увлекся гидропоникой, т. е. выращиванием овощей не на грядках, без земли. Заказав для себя трубы нужного диаметра, Хрушев — в прошлом слесарь завода Боссе в Донбассе (ныне завод им. 15-летия ЛКСМ) — несмотря на свой "преклонный возраст и ухудшение здоровья", сам гнул эти трубы и высверливал в них отверстия. Старательно приготавливая необходимые растворы и смеси, Хрушев пытался, часто не без успеха, получить урожай из посаженной в трубы рассады. Он с уверенностью говорил своим родным, что именно гидропонике принадлежит большое будущее, что она — завтрашний день сельского хозяйства. Однако вскоре он лично убедился, что каждый огурец или помидор, выращенный в металлической трубе, обходится в десятки раз дороже. И на следующую весну родные уже не увидели на огороде знакомых труб. Простые грядки оказались все же привычней и лучше. Хрушев понял, что гидропоника это, пожалуй, не завтрашний, а послезавтрашний день сельского хозяйства. Но он избегал говорить об этом. Родные, однако, шутили между собой, что очень хорошо, что увлечение гидропоникой пришло к Никите Сергеевичу в конце 60-х годов, а не на 10 лет раньше.

В первые годы Хрушев очень страдал от одиночества, его навещали в Петрово-Дальнем только ближайшие родственники. Постепенно круг людей, с которыми встречался Хрушев, стал расширяться. Два раза навестил Хрушева советский поэт Евгений Евтушенко. Еще в 1961-1963 гг. у Хрушева было несколько резких столкновений с Евтушенко. Однако Никита Сергеевич был по своей натуре отходчивым человеком, и он охотно и подолгу беседовал со своим гостем. Несколько часов провел у Хрушева и драматург Шатров. Хрушев говорил ему, в частности, и о своем желании написать мемуары. Шатров был удивлен, с одной стороны, простотой и здравым смыслом Хрушева, а с другой стороны, незнанием некоторых самых элементарных фактов нашей истории и общественной жизни. Скучая Хрушев нередко заводил долгие беседы с работниками своей охраны. Он рассказывал им главным образом о трагических событиях сталинских времен. Его слушали охотно. Позднее Никита Сергеевич стал совершать прогулки по

окрестностям. В соседнем поселке был дом отдыха, и Хрущев часто заходил на его территорию. Его сразу же окружали отдыхающие, и их беседы затягивались порой на несколько часов. Со сменой состава отдыхающих менялась и аудитория. Так что директор дома отдыха мог бы занести беседы с Хрущевым в список регулярно проводимых мероприятий. Собеседники не стеснялись задавать Хрущеву и довольно острые вопросы. Но он не обижался. К тому же Хрущев был всегда довольно опытным полемистом и умел отвечать на любые вопросы.

Конечно, родные Хрущева нередко приезжали на дачу в Петрово-Дальнее со своими знакомыми, и Никита Сергеевич был рад поговорить с ними. Посетил Хрущева однажды и популярный советский артист Владимир Высоцкий. Никто из партийных государственных деятелей за все годы отставки Хрущева не решился приехать к нему.

Кроме соседнего дома отдыха, Хрущев во время своих довольно дальних прогулок заходил и на поля близлежащих колхозов и совхозов. Однажды он заметил крайне небрежно и плохо возделанное поле. Он попросил колхозников позвать бригадира. Тот вскоре пришел вместе с председателем артели. Хрущев довольно резко, но справедливо стал их ругать за недобросовестность и плохую агротехнику. Руководители колхоза сначала немного растерялись. Однако затем, видимо, задетый не столько резкостью, сколько справедливостью критики председателя колхоза грубо ответил Хрущеву, что он, дескать, уже не глава правительства и нечего ему вмешиваться не в свое дело. "Мы сами знаем, что нам делать". Хрущев потом долго переживал этот эпизод как большую неприятность. Однако в целом отношения Хрущева с колхозниками и рабочими соседних деревень были хорошими. Он часто встречался с ними у протекавшей рядом реки и подолгу разговаривал на разные темы. Однажды в соседнее село приехали колхозники из другой области. Узнав, что рядом на даче живет Хрущев, они подошли к забору. Сделав что-то вроде подставки, они заглянули через высокую ограду и увидели самого Хрущёва. "Не забирают ли тебя здесь, Никита?" — спросил один из приезжих стариков. "Нет, нет", — ответил Никита Сергеевич.

Во время выборов в Верховный Совет или в местные советы

Хрушев приезжал в Москву. Он всегда принимал участие в голосовании по месту своей постоянной прописки. Участок, где Хрушев был зарегистрирован как избиратель, был известен иностранным корреспондентам, и, конечно, многие приезжали сюда в день выборов, чтобы задать экс-премьеру несколько вопросов. Однако он был предельно осторожен в своих ответах и никогда не выступал здесь с критикой тех людей, которые сменили его у кормила власти. Хрушев избегал этой темы и в беседах со своими немногими посетителями, он воздержался от этого и в своих мемуарах.

Некоторые из представителей московской интеллигенции иногда звонили Хрушеву, чтобы поздравить его с каким-либо праздником или сообщить ему о каком-либо событии. Это проявление внимания всегда радовало Хрушева. Нередко звонил Хрушеву Петр Якир, семья которого после реабилитации поддерживала дружеские отношения с семьей Хрушева. Хрушев сначала живо откликнулся на сообщения Якира — главным образом о попытках реабилитации Сталина. Однако затем частые звонки Якира стали вызывать у Хрушева недоумение и раздражение. "Чего он добивается, — сказал как-то Хрушев. — Если он провокатор, то он ничего не получит от наших бесед. Я и так везде говорю всегда то, что думаю". Очень рад был, однако, Хрушев неожиданному звонку Лена Вячеславовича Карпинского — в прошлом секретаря ЦК ВЛКСМ и одного из редакторов газеты "Правда", сына старого большевика В. Карпинского, дружившего с Лениным. Это было в апреле 1969 года, когда Хрушеву исполнилось 75 лет. Карпинский зашел в редакцию газеты "Известия" к своим друзьям. Стали вспоминать о временах Хрушева, когда газета "Известия", возглавляемая зятем Хрушева Аджубеем, стала самой интересной нашей газетой. "Давайте позвоним Хрушеву, предложил Карпинский. — У меня есть его домашний телефон". К телефону подошел сам Никита Сергеевич. Лен представился ему, сказал, что их когда-то знакомил бывший главный редактор "Правды" Сатюков. "Мы воспитаны XX и XXII съездами партии, — сказал Карпинский. — и мы всегда будем ценить вашу роль в разоблачении Сталина и в реабилитации его жертв. Я уверен, что именно эти события в конечном счете будут определять значение нашей

эпохи и вашей деятельности. И мы все тут собравшиеся желаем вам в день вашего рождения хорошего здоровья и долгих лет жизни". Хрущев был обрадован и даже растроган. Он сказал, что он не помнит самого Лена Карпинского, но хорошо знал и часто слушал его отца. "Мне особенно приятно узнать то, что вы сказали, от людей молодого поколения. И я желаю вам успеха". Нельзя не сказать и о том, что 75-летие Хрущева было довольно широко отмечено за пределами нашей страны. Многие из виднейших государственных деятелей прислали ему поздравительные телеграммы. Хрущева поздравили с днем рождения и де Голль и английская королева. Как обычно, теплая телеграмма пришла и от Яноша Кадара.

С годами Хрущев стал гораздо более критически относиться и к себе и к своей деятельности. Он должен был признать и перед самим собой и перед близкими многие из прошлых ошибок. Конечно, и здесь была своя граница. На многие упреки он отвечал твердо, что так должен был поступить коммунист, и что он умрет как коммунист. Представление же о том — каким должен быть настоящий коммунист, сложилось у него еще в 20-е годы. Однако некоторые из упреков Хрущев воспринимал крайне болезненно. Так, он всегда очень нервничал, когда слышал или читал, что он, Хрущев, является антисемитом. Он пытался доказать, что он никогда не был антисемитом, ссылаясь на дружбу с некоторыми из евреев, работавших в его администрации. Он говорил при этом, что, может быть, многие из руководящих работников ЦК, воспитанные еще при Сталине, своими самовольными действиями вредили и его, Хрущева, репутации. Конечно, как и во многом другом, Хрущев невольно приукрашивал свою деятельность. Нельзя не отметить, однако, что именно Хрущев решительно устранил в годы своей власти многие из преступлений сталинской национальной политики.

60-е годы можно было бы назвать в истории нашей страны десятилетием мемуаров. Почти все военные и государственные деятели, оказавшиеся не у дел и даже остававшиеся еще в своих кабинетах, писали мемуары. Работали над своими мемуарами и видные деятели сталинской эпохи — Молотов, Каганович, Поскребышев, Зверев. Желание оставить своим современникам и потомкам и свои мемуары все сильнее охватывало и Никиту

Сергеевича. Он никогда не любил писать что-либо своей рукой. Даже в резолюциях, которые Хрущев писал в свое время на важных государственных документах, можно было найти немало орфографических ошибок. Однако Хрущев был достаточно опытным оратором и собеседником. Он не принадлежал к числу тех деятелей, которые не могут произнести даже небольшой речи без бумажки и без помощи целого штата составителей речей. Хрущев обратился с просьбой в ЦК выделить для него машинистку-стенографистку. Эта просьба была рассмотрена и решительно отклонена. Однако Хрущев был не из тех людей, которые отступают в подобных обстоятельствах. Пока еще не пришло время, чтобы рассказать о том, каким образом создавалась книга мемуаров Хрущева. Однако выход в свет первого тома этих мемуаров был не только западной сенсацией, но и неожиданностью для советского Политбюро. Это было неожиданностью и для самого Хрущева.

Разбору этого важного документа следовало бы, конечно, посвятить большой специальный очерк. Как известно, книга Хрущева была немедленно объявлена в нашей печати фальшивкой. Однако впервые с 1964 года советские люди увидели в печати упоминание о Хрущеве. Хрущев был вызван в ЦК КПСС, и он был вынужден подчиниться. Его пригласил к себе председатель Комитета партийного контроля и член Политбюро Арвид Пельше. Разговор был довольно резким. Хрущев здесь же написал краткое заявление, которое на следующий день было опубликовано в газетах. Никита Сергеевич решительно отрицал, что он передавал какому-либо издательству свои мемуары и осуждал их публикацию. Однако в заявлении Хрущева не отрицался сам факт существования таких мемуаров. Хрущев отказался выполнить требование Пельше и назвать свои мемуары "фальшивкой". Пельше был самым старым по возрасту членом Политбюро. Своим выдвижением в партийной иерархии он был обязан в большей мере М. Суслову, чем Хрущеву; еще в 1941 году Пельше стал секретарем ЦК Латвии. Никита Сергеевич был настроен разговором с Пельше, и очевидцы рассказывали мне, что Хрущев вышел из кабинета Пельше, держась за грудь. Однако подлинный гнев вызвал у Хрущева разговор с секретарем ЦК и

членом Политбюро Андреем Кириленко. В прошлом секретарь одного из обкомов партии на Украине, Кириленко был обязан своим выдвижением именно Хрущеву. Еще в 1938 г., когда Хрущев стал руководителем ЦК КП Украины и стал быстро выдвигать новых людей на партийную работу, 30-летний инженер Кириленко, только недавно окончивший институт и работавший рядовым инженером, был привлечен к ответственной партийной работе. Он сблизился тогда и с Брежневым, особенно во время совместной работы в Запорожском обкоме, однако влияние Брежнева было тогда еще не слишком значительным. Когда Хрущев, разгневанный делами в Свердловской области при первой большой поездке по стране, настоял на замене руководства Свердловского обкома партии, то он рекомендовал Кириленко в качестве первого секретаря Свердловского обкома. По предложению Хрущева, Кириленко был вскоре избран и в члены Президиума ЦК КПСС. И вот теперь именно Кириленко обрушился на Хрущева с особенно грубой бранью. Правда, и Хрущев не остался в долгу. "Вы еще слишком хорошо живете", — сказал Кириленко. "Ну, что ж, — ответил Хрущев, — вы можете отобрать у меня и дачу, и пенсию. Я могу и пойти по стране с протянутой рукой. И мне-то ведь подадут. А вот тебе не подадут, если ты пойдешь тоже когда-нибудь с протянутой рукой".

Через день после этой встречи у Хрущева произошел первый инфаркт, и он на несколько месяцев попал в больницу. Он вышел из больницы осенью 1970 года, однако здоровье его было подорвано и вскоре он снова должен был лечь в больницу. Хрущев сам стал понимать, что близок конец. Днем 11-го сентября Н. С. Хрущев скончался.

Первые слухи о неожиданной смерти Хрущева стали распространяться еще в те годы, когда он находился у власти — в зените своей популярности и могущества. Однажды сообщение о смерти Хрущева было даже опубликовано в зарубежной печати. На следующий день Хрущев пригласил к себе иностранных корреспондентов и шутя сказал: "Когда я умру, я сам сообщу об этом на пресс-конференции". Однако даже жена и дети Хрущева не смогли сразу сообщить друзьям о его кончине. Иностранные корреспонденты узнали об этом от Виктора Луи, человека,

который пользуется репутацией наиболее близкого к властям журналиста, нередко выполняющего или весьма "деликатные" или весьма сомнительные поручения. Однако советские люди ничего не узнали о смерти Хрущева ни вечером 11 сентября, ни в течение всего дня 12 сентября. Лишь утром 13 сентября 1971 года в день похорон в "Правде" появилось краткое сообщение о смерти на 78 году жизни "бывшего Первого секретаря ЦК КПСС, персонального пенсионера Н.С. Хрущева". О месте и времени похорон Хрущева ничего не сообщалось.

Как известно, похороны Хрущева состоялись 13-го сентября 1971 года на Новодевичьем кладбище в присутствии его ближайших родственников и небольшого круга друзей. На могилу Хрущева был возложен венок от Совета министров СССР. Однако никто из руководителей партии или правительства не присутствовал на этих торопливых похоронах. Весь район вокруг Новодевичьего кладбища был оцеплен, и никого не пропускали в этот день на кладбище. Исключение было сделано только для нескольких дипломатов и иностранных корреспондентов.

Рой Медведев

НЕУДАЧНОЕ СОВПАДЕНИЕ

ДВЕ СТАТЬИ

Имя о. Димитрия Дудко хорошо известно русским эмигрантам. В последние годы оно часто появлялось в зарубежной печати. Например, в первую книгу журнала "Русское Возрождение" включена его статья, озаглавленная "Преодоление соблазна". Во второй книге того же журнала не только статья "О чем проповедовать", но и запись состоявшейся в Москве 2-го августа 1977 года его беседы с корреспондентом "Нью Йорк Таймс" К. Верном и проф. А.Р. Небольсиным. Статья о проповеди заслуживает особого внимания потому, что автор проявил в ней мужество, совершенно необыкновенное для человека, живущего в стране, поработанной коммунистами. Назвав "клеветническими измышлениями" то, что о нем написала московская "Литературная газета", автор статьи рассказал, что он "вдруг обратился к светлой, безбоязненной памяти замученных русских крестьян и дворян" и "во главу их поставил расстрелянного русского Царя со всей Его семьей и прислугой, назвав Его величайшим святым земли Русской". Этой оценке монарха, убитого большевиками, он посвятил дальнейшую часть статьи.

Во время той же встречи с американским журналистом ему был задан вопрос об отношении к художнику И.С. Глазунову. Можно предположить, что он был вызван изданной в 1974 году в Вашингтоне журналом "Ридерс Дайджест" книгой Дж. Баррона "КГБ". На ее 104-й странице сказано: "Илья Сергеевич Глазунов появился на московской художественной сцене в половине 1950-х годов как художник, картины которого отчасти напоминали древнюю русскую иконопись. Они достаточно отличались от шаблона, чтобы создать Глазунову популярность в среде молодой интеллигенции, увидевшей в новшестве доказательство честности и смелости. Как это ни странно, ему была предо-

ставлена необыкновенно просторная квартира, в которой собирались поэты, писатели и артисты. Еще необычнее было то, что позже Глазунову было разрешено показать свои картины за границей, но не открыто в Советском Союзе, а также встречаться с иностранными дипломатами и, особенно, с их женами. Не удивительно, однако, что все эти привилегии были наградой за информацию о советских интеллигентах и иностранцах...».

На заданный ему вопрос о Д. Дудко ответил так:

”С Глазуновым я как-то виделся на каком-то духовном концерте. Мне он показался приветливым и добросердечным. Очень куда-то торопящимся и, может быть, суетливым. До этого я слышал о нем много такого, что его рисовало не с этой стороны. Прежде всего, я, как священник, должен закрыть глаза и уши на порочащее человека. Я видел его картины. Видимо, профессиональную оценку может дать специалист, а я скажу, как мне показалось. Очень много картин на русскую тему, попытка показать страдания русского народа. Мне кажется, все написано с любовью и даже с дерзновением. Показать благословляющую руку преподобного Сергия, когда стараются убрать все активно вмещающееся в жизнь, по-моему, — дерзновение.

Последняя картина, из-за которой начался весь шум вокруг Глазунова — это уже картина, выходящая за всякие рамки. Около этой картины можно думать, размышлять и, может быть, чему-то научиться, хотя бы тому, как все происходящее в мире рассмотреть с христианских позиций. Не знаю, были ли такие намерения у художника, но я это увидел в картине. Сейчас художник вышел на мировую, как говорится, арену и есть опасность расторгнуть его самобытные качества и неправильно истолковать. От всей души я желаю художнику мужества и силы для отстаивания своих самобытных позиций и поменьше обращать внимание на шум и клевету. Хотелось бы с ним познакомиться ближе, но боюсь как бы я ему своим знакомством не принес лишних тревог. Во всяком случае, я приветствую в художнике его самобытность и желание приобщиться к духовной жизни народа — я имею в виду религию. Нужно знать свои истоки, чтобы устоять в разгороженном мире, где опасность на каждом шагу”.

Упомянутое о Д. Дудко произведение Глазунова, ”выходя-

шее за всякие рамки”, было воспроизведено в декабре 1977 года вашингтонским журналом “Смитсоиан”, как одна из иллюстраций к статье Ф. Старра, озаглавленной “Советский художник вызывает вопрос”. Названная “Тайной двадцатого века”, эта картина почти вся написана багровой, огненной краской. Одно из немногих исключений — некто в белом одеянии и золотом венчике вокруг головы, обрамленный овальным, розоватым облаком и парящий над заполняющей нижнюю часть картины многолюдной, красной толпой. В нем можно было бы увидеть изображение Христа, не будь у него слева от пояса одно, опускающееся вниз белое крыло.

В нижнем левом углу художник изобразил себя великаном по сравнению с толпой. Рядом с ним император Николай Александрович в парадном мундире держит на вытянутых вперед руках не то своего сына, не то его бездыханный труп. Несколько дальше над толпой возвышается Ленин, похожий не столько на себя, сколько на сооруженные ему в порабощенной коммунистами России однообразные памятники. Почти рядом, в гробу лежит покрытый обильной красной материей Сталин. В многолюдной толпе, заполняющей всю нижнюю часть полотна, можно узнать Мао, убитого президента Кеннеди, высунувшего язык Эйнштейна, Хемингвея, Пикассо, Троцкого, Гитлера, Черчилля и Рузвельта. Справа, слегка возвышаясь над толпой и повернувшись полуоборотом к зрителю, стоит нагая женщина — розовая и голубая. В крайнем, правом углу над небольшим островом поднимается грандиозное облако атомного взрыва. Две другие картины, воспроизведенные вашингтонским журналом, показывают труп убитого в Угличе царевича Димитрия и красивого юношу в одеянии, похожем на золотую церковную ризу. Справа, крылатый ангел держит над его головой царский венец, а слева, из огненной тучи, к нему тянется темная рука, вооруженная кинжалом. Все это должно изображать казненного его отцом царевича Алексея.

Обе эти картины напоминают, отчасти, великолепные иллюстрации И. Билибина к русским сказкам с той только разницей, что подражающее ему творчество Глазунова грубее и примитивнее. На эти свойства обратил внимание такой знаток русской живописи, как Е. Е. Климов, написавший для “Нового Журнала”

(№131, июнь 1978 г.) отзыв об изданной в Москве в 1973 году книге — Ф. М. Достоевский "Белые ночи" с рисунками Глазунова.

"При знакомстве с этой книгой, — сказано в рецензии, — естественно вспоминаются прекрасные иллюстрации к "Белым ночам" М. Добужинского, исключительно тонкие и проникновенные, овеянные духом Петербурга и так отвечающие тексту Достоевского. Сравнение рисунков Глазунова с рисунками Добужинского явно не в пользу Глазунова. В его рисунках нет подлинного знания и чувства Петербурга 1840-х годов. Нарочитая небрежность рисунков, выдаваемая за свободу исполнения, есть, собственно, подделка под свободу, совершенно не убеждающая и фальшивая. Рисунки Глазунова скучны и, что самое главное, они дурного вкуса, никакого очарования "белых ночей" Петербурга не передающие. Видны не только погрешности в изображении отдельных моментов быта, но и небрежное отношение к самому тексту. Одно время советская критика выдвигала Глазунова, как одного из ведущих художников. Он не плохой рисовальщик, прошедший академическую школу, но, судя по его иллюстрациям к произведениям гр. А.К. Толстого, он лишен и чувства исторической эпохи и выдержанности стиля".

Нет ничего удивительного в том, что о. Д.Дудко мог этого не заметить в картинах Глазунова, посвященных до-петровской России. Он мог — как это сделали некоторые русские эмигранты — увидеть в них доказательства влечения художника к древней, православной Руси. Удивительно, однако, то, что он признал возможным "размышлять" и даже "чему-то научиться" в том бьющем на дешевый успех и явно не христианском безобразии, которое художник назвал "Тайной двадцатого века".

"Русская Мысль" (№ 3218 от 24-го августа 1978 г.) опубликовала полученную ею пространную статью о.Д.Дудко о состоявшейся в Москве в июне с.г. выставке картин Глазунова. Парижская газета доступна тем, кто, находясь за рубежом, пожелает ознакомиться с этой, явно односторонней и, следовательно, не объективной статьёй. Поэтому я ограничусь короткими выдержками из восхваления Глазунова:

"Появился настоящий русский художник, не увлекающийся поветрием мод. Смелый, дерзновенный, любящий Россию,

такую, какая она есть! Не за то ли ему попадает от не понимающих России, хотящих видеть ее по-своему... Если бы он был и не такой, а слабее, и тогда ему большое спасибо от русского народа. То, что показано — это не может оставить равнодушным никого! Потому споры, ненависть, а может быть и проклятие — почему у задавленной России есть такой художник?”

Упомянув обращенный к Глазунову упрек московской "Правды" за его "христианство", о.Д. Дудко написал: "Глазунов видит дальше, чем репортер из "Правды". Выставка всеобъемлющая, всех вмещающая. Никто из современных художников не приглашал прийти священника, а он своими картинами пригласил и я пришел и чувствую себя как дома, у себя на Руси. И вдруг дерзкая мысль, дерзкая для современного человека. Братья верующие и неверующие, ведь это наша Россия, почему же мы разделяемся, не хотим жить вместе. Вот так, как это сделал Глазунов, показав всю Россию... Радостная мысль выбежала — Глазунова нужно поддерживать, это — русское явление, которое может вести”.

В "Русской Мысли" статья иллюстрирована картиной Глазунова, названной "Возвращение блудного сына". Возникает естественный вопрос — заимствовала ли газета ее из книги о художнике или получила репродукцию со статьей о. Д. Дудко? Вопрос этот нельзя считать праздным — это был бы, вероятно, первый случай получения зарубежной газетой статьи "диссидента" с сопровождающей ее готовой иллюстрацией. О самой картине доброго слова сказать, к сожалению, нельзя, несмотря на то, что автор статьи истолковал ее сумбурное содержание, как ряд символов — злорадство дьявола, обезглавление русской истории и культуры.

Статья о.Д. Дудко о Глазунове в "Русской Мысли" не была единственной статьей о нем, написанной в Москве и предложенной вниманию русских эмигрантов. В распространяемом за пределами СССР коммунистическом "Голосе Родины" (№ 24 от июня 1978 г.) появилась статья некоего М. Рискова, озаглавленная "Талант руки и сердца одаренность". Она содержит похвальный отзыв о тех иллюстрациях к "Белым ночам" Достоевского, о которых критически отозвался Е.Е. Климов. Есть в

ней странный отзыв о русской иконописи, которой — как это ни невероятно — приписана антирелигиозность.

“Были в свое время на Руси, — утверждает Рискон, — художники-иконописцы. Не помпезность одежд, не библейские сюжеты — хотя и тому, и другому отведено в их творчестве приличествующее место — интересовали, волновали лучших из них, а то, как легенды церковные превратить в рассказы о русской жизни, русских людях, судьбах России... Манера письма, штрих И. Глазунова — старые, во многом взятые у Дионисия, Ф. Грека, А. Рублева и многих других с не столь, правда, громкими именами, но это не значит архаичные. В древние, традиционные для России образы вдохнул И. Глазунов новую мысль, новый смысл, содержание”.

Умолчал о.Д. Дудко и о том, что на вызвавшей его восторженный отзыв московской выставке были показаны не только те картины Глазунова, которые можно истолковать, как “русское явление”. В статье “Голоса Родины” это сказано прямо:

“И. Глазунов, ныне заслуженный деятель искусств РСФСР, много работает. Только что в Центральном выставочном зале Москвы открылась новая экспозиция, на которой представлено около четырехсот полотен и рисунков, куда вошли вещи, созданные в Чили времен президента Сальвадора Альенде и после поездки на Байкало-Амурскую магистраль.... Не обошли выставку вниманием газеты “Известия”, “Комсомольская правда”, “Советская культура”, поместившие на своих страницах информацию о художнике, в чьих работах выступают столь привлекающие зрителя лирическая манера повествования, вера в силу добра и справедливости. Поражаешься тому, как сосуществуют в художнике громадная работоспособность, четкость мысли, глубокое проникновение в суть характера человека”.

Без должной причины советская печать никого и никогда не хвалит. Совершенно очевидно, что восхваление Глазунова преследовало пропагандные цели. Поэтому совпадение предназначенной русским эмигрантам статьи коммунистического “Голоса Родины” со статьей о. Димитрия Дудко о Глазунове производит странное впечатление.

С.Л. Войцеховский

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ И. В. МОРОЗОВА

Его жизнь была неотделима от Православной Церкви, России и Русс. Студ. Христ. Движения. Он родился в крестьянской семье русского севера, в Псковском краю, светильником для которого был Псково-Печерский монастырь. Местом претворения в сознательную жизнь всего того, что он впитал с молоком матери, стало для него Русское Крестьянское Христианское Движение. Это *Крестьянское* Движение было создано на русских окраинах Эстонии, в сороковых годах Студенческим Движением.

В уездном городке Печоры было руками крестьянской молодежи построено общежитие для талантливых крестьянских подростков из уезда, чтобы дать им возможность учиться в гимназии. С этих-то пор я и знаю Ваню Морозова (сам я тогда был совсем молодым священником), который благодаря общежитию смог кончить русскую гимназию и попасть в Богословский Институт в Париже. Кончив Институт, он весь без остатка отдается служению...

После конца немецкой оккупации Франции он был в первом ряду тех, кто восстанавливает, закрытое при немцах, Движение. Вскоре он — редактор молчавшего десять лет "Вестника РСХД". Позднее — возглавитель изд-ва ИМКА-пресс, которое около 46 - 47 года было передано Движению.

Сорок лет, то есть всю свою зрелую жизнь, этот человек отдал тому, в чем видел свой путь служения Богу и России. Это не была просто служба. Нет, это было *служение*, не смотрящее ни на день ни на ночь, ни на то, связано ли это с куском хлеба или его нужно еще добыть на стороне. Только сравнительно

недавно, когда прогремело имя Солженицына, издательство и его директор стали известны всему читающему миру. Но слава, кажется, редко приходит одна. Пришли и горести... нервное заболевание. От болезни Иван Васильевич излечился, а от горестей нет.

Дальше идут годы работы в руководимом им издательстве, но 15 мая с. г. он был отстранен от своего детища — издательства и книжного магазина. Летом он мне писал: "Всё рухнуло. Как я буду жить, чем — не знаю?! Сейчас я как смертельно подстреленный зверь ищу одиночества и только..." Он не выдержал... Будучи человеком деятельным, всю жизнь претворявшим свою веру в дело, ему нечем стало дышать. Он поддался злой силе отчаяния, тому, что теперь называется депрессия, и... задохнулся. 6-го ноября Ивана Васильевича не стало.

Пожалеем его и тех, с кем он жил и работал долгие годы, кто когда-то были его друзьями, и помолимся о них всех.

Протоиерей Александр Киселев

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Н. К. ПЕЧКОВСКИЙ

(К 10-летию со дня смерти).

В 1924 г. оперная труппа Мариинского театра (ныне Кировского) в Петербурге пополнилась новым актером Николаем Константиновичем Печковским. Театральная публика познакомилась с ним в роли Германа в опере "Пиковая дама". По отзывам критики, это был лучший Герман когда-либо виденный на этой сцене. С этого момента Печковский становится любимцем петербургской публики и вскоре приобретает всероссийскую известность.

Свою театральную карьеру Печковский начал в Москве в театре Музыкальной драмы, а затем в оперной студии Станиславского. Именно там его заинтересовал образ Германа, над которым он стал работать под руководством самого Станиславского. Обладая великолепным голосом, прекрасной сценической внешностью и драматическим талантом, он был исключительно трудоспособен, тщательно работая над каждой создаваемой им ролью. Этим и следует объяснить его успех в обширном и весьма разнообразном репертуаре.

Однако судьба этого выдающегося артиста не была к нему милостива. Уже в 1941 г. Сталин собственноручно вычеркнул его имя из списка лауреатов присужденной ему Государственным комитетом премии, узнав о том, что кандидат в 1-ю мировую войну был в чине поручика царской армии.

Во время стремительного наступления немцев на Ленинград, Печковский, живший на пригородной даче, оказался в области оккупированной немцами. Как и все другие артисты, он был взят на учет отделом пропаганды, которому были подведомственны все театральные предприятия Германии, как и занятых областей.

Мое знакомство с Н. К. началось в Гатчине, на его концерте, после

которого мы провели несколько часов в интересной беседе. Тогда же он рассказал мне, как охотятся за ним большевики: на одном из концертов к нему за кулисы пришел какой-то человек в немецкой форме, несомненно русский, и конфедесиально передал привет от сына, находящегося в Сов. Союзе. Печковскому это показалось странным, он поблагодарил, но от дальнейшей беседы под каким-то предлогом уклонился, тем более, что лицо посетителя показалось ему очень знакомым, но вспомнить, где и при каких обстоятельствах видел этого человека, он не мог. Однако тот вскоре напомнил о себе. Через некоторое время он вновь появился и предложил Печковскому устроить тайную встречу с сыном где-то вблизи линии фронта. И тут Печковский вдруг ясно представил себе посетителя в форме НКВД, именно таким, каким он видел его в театре, куда тот приходил по каким-то делам. Стало совершенно ясно, что готовилась какая-то провокация. На вопрос, согласен ли он? Печковский ответил также вопросом: "Давно ли вы сменили свою, так шедшую вам форму?" Посетитель смутился, понял, что его миссия провалилась, и больше никогда не появлялся.

Рассказывал Н.К. и о том, перед какой разнообразной аудиторией ему приходится выступать. Но, несмотря на неизменный успех, положение Печковского, впрочем как и других артистов, не было приятным. Между артистами и немецкой администрацией часто возникали "взаимонепонимания". В 1944 г. такое серьезное недоразумение произошло у Печковского, когда он из-за простуды, отказался поехать на концерт. Результатом было запрещение его дальнейших выступлений. Эта мера наказания была весьма серьезна, т. к., помимо возможности в привычной работе отвлечься от окружающей действительности, она лишала рабочего пайка, что в то время было весьма существенно.

В апреле 1944 г. в Риге скончался известный русский тенор Димитрий Смирнов. Неисповедимыми путями, в эмиграции, оказался он эстонским гражданином, часто приезжал в Эстонию, давая концерты и участвуя в оперных постановках. В Эстонии он был очень популярен и любим публикой. В связи с его кончиной решено было в Таллине дать концерт в его память. Возникла мысль пригласить Печковского, участие которого, с одной стороны, украсило бы концерт, а с другой — аннулировало запрет на его выступления. Всякими правдами, а больше неправдами, разрешение от немцев было получено. Как и предполагалось, Печковский с радостью согласился приехать. Мы договорились

о постановке нескольких сцен из "Пиковой дамы", а на другой день — концерта сборной программы. Не скрою своей личной заинтересованности в приезде Печковского — очень уж хотелось увидеть его в роли Германа.

Меня несколько удивило то, что во время нашего телефонного разговора Печковский наибольшее беспокойство выражал по поводу постановочной части, хотя я и говорил ему, что весь необходимый антураж мы сможем получить из эстонского государственного театра, где опера эта шла неоднократно. Все же он выразил желание приехать несколько раньше, чем это было предусмотрено. Впоследствии он объяснил мне свое беспокойство: "В моих гастрольных поездках по Сов. Союзу, несмотря на все заверения и обещания, я чаще всего сталкивался или с полным отсутствием самого необходимого оформления или же предлагали обстановку совершенно немыслимую по стилю и эпохе. Это и сделало меня, может быть чрезмерно осторожным. И честно вам признаюсь, не ожидал увидеть в Ревеле так хорошо налаженный театр".

За неделю до концерта не только были раскуплены все места, но и входных было продано значительно больше, чем это разрешалось полицейскими правилами. Парадный концерт состоялся в хорошо оборудованном помещении "Немецкого театра" и открылся вступительным словом, посвященным памяти Димитрия Смирнова. Проектора осветили громадный, украшенный цветами, портрет знаменитого артиста, и оркестр исполнил траурный марш Шопена, при первых аккордах которого вся публика встала. После этого были представлены отрывки из "Пиковой дамы": сцена Лизы и Германа из 2-й картины, в спальне графини, в казарме и у Зимней канавки. Партнерами Печковского были артисты эстонской оперы. Были написаны новые декорации. Оркестр вел П. Николаи — дирижер Радио оркестра Эстонии.

Печковский, возбужденный восторженным приемом публики, провел свою роль с исключительным блеском. Вызовам не было конца. На концерте присутствовала, приехавшая из Риги, вдова Димитрия Алексеевича Смирнова.

На другой день, в том же помещении, при столь же переполненном зале, состоялся второй концерт, программа которого была составлена Печковским совместно с Николаи в рамках строгой классики. Этот концерт ознаменовался маленьким инцидентом. Утром ко мне, совершенно расстроенный, пришел Николаи.

— Знаете что случилось? Печковский включил в бисовые номера "Степь да степь кругом" и "Чубчик". Как я не отговаривал его, он твердо на своем. Боже мой! Такая прекрасно составленная программа и вдруг эта псевдонародная "Степь" и уж совсем дурацкий "Чубчик". Ведь это же погубит все. Что делать?.. Действительно, выбранные Печковским песни совершенно не гармонировали с общим стилем программы. Но как быть? Перечить гастролеру было нельзя. Концерт шел под рояль, аккомпанировал Николаи и решено было, что он "забудет" ноты за кулисами. Николаи ухватился за эту мысль, как за последнюю соломинку. Но когда вечером, он, порывшись для видимости в папке, нот не нашел, Печковский, видимо разгадав подвох, сказал: "Вероятно вы оставили их за сценой, поищите, я подожду". Смушенный Николаи отправился за кулисы и вернулся с нотами. Галерка неистовствовала.

Впоследствии я понял Печковского: давая всего один концерт, он хотел удовлетворить как серьезных любителей музыки, так и галерку. Вероятно, он был прав. Во всяком случае овации всей публики это подтвердили.

Совершенно исключительно интересным для меня был рассказ Печковского о его работе со Станиславским над ролью Германа. Особенно постановка картины в казарме. На шкаф был поставлен кивер. Свет луны, в нужный момент, отражал на двери тень кивера, напоминавшую очертания человеческой фигуры. Колеблющиеся от ветра оконные занавески придавали этой тени движение, и большое воображение Германа воспринимало это как призрак графини. Мне кажется, что находку эту надо признать гениальной.

На следующий день после¹⁾ концерта Н. К. пришел ко мне проститься. Время было уже тревожное, земля начинала гореть под ногами немцев. "Не задерживайтесь здесь, уезжайте пока не поздно", — напутствовал он меня. "А вы сами-то как?" "У меня все в порядке. Немцы обещали вывезти меня, когда подойдут сроки".

Мы сердечно распрощались, в надежде когда-нибудь снова встретиться. Выйдя из комнаты, он вдруг неожиданно вернулся. "К. Е., помните мои слова: лучше уехать раньше, чем ждать до тех пор, когда будет уже поздно. Я лучше вас знаю большевиков..." Уехать из Риги Печковский не успел. В критический момент немцы забыли и свои обещания и, конечно, его самого.

Народному артисту Н. К. Печковскому, о котором до войны

писались целые трактаты, советская "Театральная энциклопедия" уделила несколько строк. В них сказано: "Печковский Н.К.... В 1923 г. солист Большого театра, в 1924 - 41 Т-ра оперы и балета им. Кирова (1939 - 41 худ. рук. филиала этого театра)... С 1958 г. П. худ. рук. оперного коллектива "Дома культуры им. Цурюпы". Энциклопедия скромно умалчивает, где же провел прославленный артист послевоенные годы, вплоть до 58-го. Разгадку мы находим в книге Н. Краснова "Незабываемое": "...Вспоминаю народного артиста Печковского, утаптывающего, рядом со мной, снег по бедра, для прохода части МВД..."

Советской властью Н. К. Печковский был осужден на 10 лет концентрационных лагерей за "измену" и "сотрудничество с немцами". По отбытии срока ему не было разрешено вернуться в свой Мариинский театр, а лишь в виде милости была дана возможность работать в клубе им. Цурюпы. В августе 1968 г. Печковский скончался. Отпевали его в Никольском соборе при большом стечении народа, пришедшего проводить своего любимого артиста в последний путь.

К. Аренский.

СМЕРТЬ И.В. МОРОЗОВА

Друзья из Парижа просят нас поместить сообщение о самоубийстве И.В. Морозова. 6-го ноября быв. директор книжного магазина "Объединенные издатели" и один из руководителей изд-ва ИМКА-пресс, а также один из редакторов "Вестника РХД" И.В. Морозов повесился в своей квартире. Первой нашла повесившегося И.В. его младшая дочь. Причиной этой трагедии было отстранение И.В., работавшего в Христианском Движении несколько десятилетий, от всех занимаемых им должностей. Этого И.В. не выдержал. Отстранил И.В., как нам пишут, его старый друг по Христианскому Движению, ответственный редактор "Вестника" Никита Струве. Похоронен И.В. на русском кладбище в St. Geneviève des Bois.

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРОФ. С.Г. ПУШКАРЕВ. "ЛЕНИН И РОССИЯ". Сборник статей. Издательство "Посев". 1978.

В сборнике "Ленин и Россия" проф. С.Г. Пушкарёв, пользуясь, в основном, "трусами" самого Ленина и его ближайших соратников, отмечает всю большевицкую ложь о нем и представляет читателю "вождя революции" таким, каким он был на самом деле и каким должен войти в историю. Сборник состоит из шести статей, ранее опубликованных в разных периодических изданиях (в том числе и в "Новом Журнале". См. №89 и 100) и введения "Идеи и политика Ленина", специально написанного для сборника.

Читателям известно умение проф. С.Т. Пушкарёва укладывать в тесные рамки журнальных статей огромный фактический материал. Надо сказать, что ясный доходчивый язык, приправленный иногда тонким юмором, делает чтение этой ценной книги захватывающим.

Во вступлении автор подчеркивает приверженность Ленина учению Маркса. В "Коммунистическом манифесте" учитель Ленина писал: "Коммунизм отвергает вечные истины, он отвергает религию и мораль, вместо того, чтобы их преобразовывать". Придя к власти, Ленин выполнил этот завет учителя; он попрали все законы — религиозные, моральные, юридические.

"Если уничтожение "буржуазной" религии и морали Ленину не удалось осуществить в полном объеме, то в области права он начисто отверг принцип законности и смело провозгласил... *произвол*", — пишет проф. Пушкарёв. Этим "моральным принципом" до сих пор пользуются и наследники Ленина. Произвол в отношении к народам управляемых ими стран и аморализм и цинизм в сношениях с другими государствами.

В основной массе российского населения — крестьянстве — Ленин видел "чрезвычайно опасного тайного врага, который опаснее многих открытых контрреволюционеров". Еще в 1905 году он писал: "Вместе с крестьянами-хозяевами против помещиков и помещичьего государства, вместе с городским пролетариатом *против* всей буржуазии и *всех* крестьян-хозяев".

Но позже, когда Ленин увидел, что власть над Россией может выпасть из его рук, он, "забыв свою аграрную программу национализации земли, принял эсеровскую программу "социализации", над которой перед тем в течение долгих лет издевался". А Сталин же выполнил "завет Ильича" — провел коллективизацию.

Заведомой ложью были уверения Ленина, произнесенные на 8-м съезде РКП(б), когда он говорил, что коммунисты никогда и не помышляли ни о каком насилии в отношении к среднему крестьянину, ни о каком вмешательстве в его хозяйственную жизнь. Так относился Ленин не только к крестьянам и "буржуям", но и ко всем другим слоям населения, включая тех членов его же партии, которые не считали его непогрешимым.

"Конечно, политика — это профессия, в которой трудно сохранить моральную чистоту, — пишет проф. Пушкарев. — Многие политические деятели давали обещания, которых потом не исполняли, или прямо обманывали народ, но не было такого разностороннего и искусного мастера политического обмана, как Ленин. Все лозунги, провозглашенные им в 1917 году, все его обещания по основным вопросам внутренней и внешней политики представляли собою преднамеренный обман — в полном согласии с его моралью..."

Вот некоторые примеры этих ложных лозунгов и обещаний. Основной лозунг (и основная ложь): *вся власть* советам рабочих и крестьянских депутатов, избранных всем трудящимся населением". Намерение: неограниченная власть ("диктатура") коммунистической партии. Лозунг: *вся земля* крестьянам; программа: "национализация" земли, то есть переход ее в собственность государства. Лозунг (в 1917 году): армия с выборными командирами и с правом солдат "проверять каждый шаг офицера и генерала". Реализация: строжайшая дисциплина в Красной армии с правом назначаемых командиров применять оружие против неповинующихся солдат. Лозунг: "всеобщий демократический мир". Намерение: организовать "революционные войны" для завоевания Европы. И так далее...

Статья "Тайный союз Ленина с Вильгельмом II в 1915-18 годах" вскрывает одну из грязнейших сторон деятельности Ленина — его предательство России в тяжелые годы войны. Немецкий Генштаб понимал, что войну на два фронта выиграть невозможно. Один из них — Восточный — надо было разложить. Для этого нужно развалить русский тыл. Ленин тоже знал, что только полный развал России может привести его к власти над страной. Цель — развал России — оказалась у них общей. Немцы дали деньги, Ленин — людей, и разрушительная машина заработала.

Проф. Пушкарев пишет: "Когда началась война, Ленин и несколько его подручных были, по недоразумению, арестованы местными австрийскими жандармами (ведь формально они были русскими подданными), однако, вследствие немедленно последовавшего вмешательства австрийских "высших сфер", все они были освобождены и переселились в Швейцарию". Там они и развернули большевицкую работу.

Февральская революция еще больше сплотила союзников. В своих воспоминаниях генерал Людендорф говорит: "*Посылая Ленина в Россию*, наше правительство принимало на себя особую ответственность. С военной точки зрения это предприятие было оправдано. Россию нужно было повалить". И Ленин повалил! Немецкий Генштаб докладывает: "Приезд Ленина в Россию успешен. Он работает совершенно так, как мы этого хотели бы".

Приток немецких денег в ленинскую кассу усиливается. Первого апреля ассигнуется 5 миллионов марок, 8 ноября (сразу после Октябрьского переворота) 2 миллиона, а 9 ноября еще 15 миллионов. Потом приезжает в Россию германский посол Митбах. Он пишет своему правительству: "Мне думается, что наши интересы требуют сохранения власти большевицкого правительства... было бы в наших интересах продолжать снабжать большевиков минимумом необходимых средств, чтобы поддерживать их власть". Правительство сразу же посылает 3 миллиона марок из сорокамиллионного фонда помощи ленинскому правительству.

В общем, завоевать власть и удержать ее в своих руках "помогли Ленину не "таинственные глубины русского народного духа", а — как о том непреложно свидетельствуют документы — силы гораздо более реальные и прозаические: систематические многомиллионные субсидии имперского германского правительства", — заключает проф. Пушкарев.

Конечно, союзником Вильгельма Ленин был только постольку, поскольку союз этот был выгоден для него. Получая от немцев миллионы марок, он строил планы проведения революции и в Германии; в полученных деньгах он видел ту "веревку, на которой можно будет повесить кайзеровскую империю".

В статье "Октябрьский переворот 1917 года без легенд", проф. Пушкарев, опять же с советскими документами в руках, разоблачает миф о "героизме тех великих дней". "Штурм Зимнего дворца", оказывается, произошел без всякого штурма. Ничего феерического там не было. По донесению Дыбенко и других участников "штурма", убитых было всего шесть человек. Красногвардейцы проникли во дворец с черного хода и "мирно" разоружили несших внутреннюю охрану юнкеров. Потом начался грабеж дворца, а затем и погром винных погребов.

Проф. Пушкарев дает предельно точные ответы на вопрос: почему Ленину так легко удалось подобрать "валяющуюся на улице власть".

Прочитав все статьи сборника, мы замечаем, что партия действительно всегда придерживалась и придерживается теперь намеченной Лениным "генеральной линии" как во внутренней, так и во внешней политике. Стремление к покорению всего мира, к искоренению религии, к воспитанию запуганных террором, безвольных человеко-роботов, как было при Ленине, так остается и теперь основной "идеей" партии. Ложь, насилие, предательство и, превыше всего, жесточайший террор — главные инструменты в деле осуществления этой "идеи".

Та же "идея" и те же "инструменты" применяются и во внешней политике ленинцев. "По окончании мировой и гражданской войн и до смерти Ленина, ленинская внешняя политика было примером "двурушничества": она шла двумя параллельными путями, на которых Ленин маневрировал одновременно и правой и левой рукой, — пишет проф. Пушкарев в статье "Внешняя политика Ленина 1914-1923 гг." — Его правой рукой был Чичерин... Ему было велено проповедовать теорию мирного сосуществования Советской России с "буржуазными" странами и писать дипломатические ноты западным правительствам, убеждая их в миролюбии советского правительства и в необходимости и обоюдной выгоде установления нормальных (и даже "дружественных") политических и экономических отношений с Советской Россией".

"Левой рукой Ленина был его старый партийный товарищ и преданный слуга Г. Зиновьев; ему было велено возглавить III Интернационал (Коминтерн) и раздувать изо всех сил пламя мировой социа-

листической революции. Сам Ленин, Троцкий и ряд других руководящих большевиков усердно работали и в советском правительстве и в Коминтерне, но Чичерин в руководящие органы Коминтерна не входил, — видно, было бы слишком зазорно, если бы Запад видел одну и ту же подпись и под призывами к мирному и дружественному сосуществованию "капиталистических" держав с РСФСР и под призывами к их тотальному разрушению посредством пролетарской революции", — пишет проф. Пушкарев.

Конечно, Ленину приходилось и отступать, когда власть его оказывалась на краю гибели. Но он умел эти отступления "по-большевицки" оправдывать всяческой ложью. Так "похабный мир" с Германией он оправдывал следующими словами: "Нам необходимо додушить буржуазию (внутри страны — С.Ж.), а для этого нам необходимо, чтобы у нас были свободны обе руки... Конечно, мы делаем поворот направо, который ведет через весьма грязный хлев, но мы должны это сделать".

Чтобы удержаться у власти, Ленин по Брест-Литовскому договору оторвал от России 780 тысяч кв. километров территории, 33% населения, 73% черной металлургии, 89% каменного угля, 35% железнодорожной сети, огромные посевные площади.

Обретя заключением мира передышку, Ленин советовал "использовать ее для увеличения своей военной мощи, готовясь к предстоящим неизбежным войнам с международным империализмом". О договорах с "капиталистами", о торговле и займах Ильич тоже дал точные указания. Концессии, предоставленные иностранцам в годы НЭПа, он считал не как "мир с капиталистами, а продолжение войны в иной форме, другими средствами". Ради восстановления разрушенного (им же самим) хозяйства, он привлекал заграничные капиталы и технику, давая пространные гарантии неприкосновенности этих вкладов. Но тут же строил планы их экспроприации. "Судебная власть на нашей территории остается в наших руках, — заявлял он. — В случае столкновения интересов (концессионеров и сов. правительства), решать вопрос будут наши судьи. Это не будет реквизиция, а будет примененис законных судебных прав наших судебных заведений".

Какое же государство построил Ленин? Правовое ли оно? А если не правовое, то можно ли вообще его назвать государством? Приняв марксову идею "диктатуры пролетариата", Ленин заявлял: "Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную,

непосредственно на силу опирающуюся власть". За шестьдесят лет существования страны советов, как мы знаем, положение не изменилось. В этом отношении книга С.Г. Пушкарева, говоря о Ленине, говорит, в сущности, и о современном СССР.

С. Женук

“РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ” НЕЗАВИСИМЫЙ РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН. Париж - Москва - Нью Йорк. № 1 - 2 1978.

В связи с приближением дня Тысячелетия крещения Руси по инициативе Архиерейского Синода Русской Православной Церкви за границей создана комиссия под председательством о. Александра Киселева. Эта комиссия кроме прочих дел, связанных с подготовкой к торжественному проведению юбилейного года, созвала два съезда русской общественности, где были прочитаны лекции на духовные и исторические темы. Труды этой же комиссии, при поддержке ряда церковных и общественных организаций, создан журнал “Русское Возрождение”. В состав редакции вошли: кн. С. С. Оболенский (главный редактор), проф. В. И. Алексеев, проф. Р. В. Плетнев и др.

Задача журнала определена редакцией так: “Быть собирателем и глашатаем духовных чаяний нашего народа в годы, предшествующие Тысячелетию его крещения. Воспринимая православное христианство и национальное самосознание как основные элементы нашего отечественного бытия, мы утверждаем необходимость их историософской неслиянности и нераздельности в нашем историческом будущем... Основываясь на православном и национальном самосознании, журнал будет бороться с клеветой, столь часто возводящейся на русскую нацию, на ее духовные устои, историю, культурные и государственные традиции...”

В первой же статье — “Вступительном слове” (на съезде), — о. Александр Киселев, кратко определив значение крещения Руси, призывает к главному: к действию, к повседневному деятельному самосовершенствованию. “Не смеем мы с чистой совестью возложить все на Бога и сидеть сложа руки, — пишет он. — Христианская жизнь есть со-работа человека с Богом своим в деле строительства Божьего дела... Мы часто живем слишком спокойно, слишком благодушно, как будто

всё кругом обстоит как нельзя лучше, как будто и нет трагедии у нас на родине и русское православие не переживает смертельных опасностей...”

Статья профессора Оберлинского колледжа Джона Дэнлопа “Национально - религиозное возрождение в современной России” (доклад на 1-м съезде) посвящена развитию этого возрождения и ознакомлению с идеологическими установками нео-славянофилов. Автор надеется, что ведущим окажется умеренный сектор национально-религиозного движения и тем предотвратится опасность впадения этого движения в крайности, вроде национального шовинизма.

Проф. В. А. Алексеев в статье “Пути и судьбы России” предлагает сжатый, но яркий обзор духовного становления русского народа после его крещения и причин, приведших к падению государства Российского. А Е. Вагин (один из организаторов разгромленного гебистами Социал-Христианского союза освобождения народа) в статье “Инакомыслие в сегодняшней России” сообщает о деятельности возрожденческого движения в наши дни.

В обеих книжках журнала имеются очень глубокие по смыслу статьи о. Димитрия Дудко. В одной из них даны выдержки из его книги “Преодоление соблазна”. Здесь мы видим оценку современных событий, проблем и обстоятельств с христианской точки зрения. Другая — “О чем проповедовать” — представляет собою ответ критикам его (о. Димитрия) книги “О нашем уповании”. Главную цель проповедничества он видит в борьбе со всеобъемлющим страхом. А страх этот побороть можно только воскрешением памяти о мучениках, положивших жизнь свою за народ и за Церковь. И это относится не только к людям, живущим в коммунистических странах, но и на Западе, ибо и здесь многие объаты страхом перед зловещим врагом и готовы пойти на любой компромисс с ним. Об этом подробнее сказано в речи А. И. Солженицына “Расколотый мир”, напечатанной полностью во второй книге журнала. Там же мы находим и беседу о. Димитрия с журналистом Кристофером Верном (“Нью-Йорк Таймс”), в которой идет речь о роли религии в развитии личности и народного характера, а также и в его духовном возрождении.

Священник о. Глеб Якунин в статье “Московская Патриархия и культ личности Сталина” утверждает, что возглавители Патриархии были создателями этого дьявольского “культа”. Они заявляли, что

Сталин "богопоставленный и Богом данный правитель", что он "избранник Божий, которого Промысел Божий поставил вести наше отечество по пути благоденствия и славы". Когда Хрущев разоблачал сталинские злодеяния, "никто из архипастырей, принимавших участие в восхвалении Сталина... так и не принес в этом церковного публичного покаяния", пишет о. Глеб.

Огромный интерес представляют собою письма Игоря Огурцова из заточения. По ним легко определить духовный облик этого страдальца. Облик этот — настоящий русский, в лучшем смысле этого слова. Обращение Е. Вагина к мировой общественности "Спаси Огурцова!" (недопущенное к обнародованию на втором Сахаровском слушании) становится особенно актуальным по прочтении этих писем.

Вторая книжка журнала открывается обращением членов Христианского комитета в СССР, адресованным председателю Американского комитета защиты православных христиан о. А. Киселеву. Христиане из Советского Союза взывают помощи, которая прежде всего должна (по их мнению) заключаться в широкой информации свободного мира о положении верующих в СССР. Обращение подписано о. Глебом Якуниным, дьяконом В. Хайбуллиным и В. Капитанчуком.

Статья еп. Нафанаила "О Петре Великом" содержит много интересных мыслей об этом императоре. Автор понуждает читателя многое заново передумать.

Большой труд покойного проф. А. И. Ильина "О монархии" представляет собою не критику или апологетику монархии, а философский анализ ее сути. Анализ такой тонкий и глубокий, какой только и доступен философам ранга А. И. Ильина.

В журнале мы также находим интересные статьи кн. С.С. Оболенского, проф. Н. Полторацкого, А. Карташева, протопресвитера о. Георгия Граббе и др.

Надо надеяться, что журнал найдет широкий круг читателей как среди русской эмиграции, так и на родине.

С. Жецук.

НА ПОЛКЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ КНИГ

Корней Чуковский в одном из своих писем за океан (опубликованных в очерке "Загадочная корреспондентка Корнея Чуковского", "Новый Журнал", кн. 123) пишет, как восхищает его, что "нет ни одной книжки

американского или английского журнала, где бы не было нитей к России, к русской культуре". Нетрудно понять его — связь обеих культур, русской и западной, интересна и вдохновительна и для нас, русских, живущих за рубежом. В частности — книги по русскому литературоведению, выходящие здесь. На моей книжной полке — несколько из них, присланных на отзыв или в подарок, и, хоть охотником писать рецензии я не являюсь, не откликнуться на них не могу — так они, по моему, значительны.

В связи с только что минувшим толстовским юбилеем начну с книги — ELISABETH STENBOK-FERMOR, THE ARCHITECTURE OF ANNA KARENINA. The Peter de Ridder Press, 1975 (Е. СТЕНБОК-ФЕРМОР, АРХИТЕКТУРА РОМАНА "АННА КАРЕНИНА").

Автор открывает свое исследование цитатами из известной переписки Льва Толстого с С.А. Рачинским, который, сообщая Толстому свои впечатления от романа, писал: "В нем нет архитектуры. В нем развиваются рядом и развиваются великолепно две темы, ничем не связанные"... (тема Анны и тема Левина. Л.Р.). "Суждение Ваше об А. Карениной, — отвечал Рачинскому Толстой, — мне кажется неверно. Я горжусь, напротив, архитектурой — своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок. И об этом я более всего старался. Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях лиц, а на внутренней связи".

Внутренняя связь эта — в противопоставлении морально-психологического облика двух главных персонажей романа: утраты душевной гармонии у Анны и поиски ее, в высшем смысле самооправдания, — у Левина. Е. Стенбок-Фермор совершенно правильно делает эту проблематику ключевой в своем труде, уточняя попутно и ее историю. Дело в том, что ответ на поиски "Как жить?" Левин находит в разговоре с крестьянином во время уборки урожая ("Жить для души. Бога помнить"). Эпизод этот помещен в восьмой, заключительной, части романа, опубликованной отдельно, т. к. редактор "Русского вестника", где были помещены первые семь частей, считал ее "лишней". Как видим, однако, отсутствие этой части нарушало бы цельность всей "постройки" романа и самого авторского замысла. Из моей личной педагогической практики: как-то в середине 50-х годов я разбирал роман в одном из скандинавских университетов и, говоря о найденном Левиным нравственном законе жизни, контрастном безудержному "я" Анны, заметил вдруг, что студенты меня не понимают. Выяснилось, что в том

издании толстовского романа, которое они читали, последней части не было — всё кончалось со смертью героини.

Рассказав в своей книге творческую историю романа, Е. Стенбок-Фермор в отдельных главах разбирает его внутренние капитальные темы, во многом определяющие структуру целого: "Свеча", "Поиски смысла жизни и смысла смерти", "Мотив железной дороги", "Тема семьи"... Литературоведческая эрудиция ее обширна, аналитические наблюдения скрупулезны, попытка привести их в целостную архитектурную схему (в книге даны две графические ее интерпретации) интересна и смела. Как обычно, когда речь идет о произведениях великих, отдельные толкования могут казаться спорными, но в литературоведческих исследованиях это, кажется, неизбежно, несмотря на единство подхода.

Я — сказать к слову — невольно сопоставлял этот подход с тем искажением облика Анны, которое было представлено в недавней телевизионной версии романа актрисой Никола Педжет, заявившей в данном ею интервью, что прочла она роман только один раз. Ряд неожиданных мыслей, в которые исполнительница вкладывала столь много от самой себя, вроде утверждения, что "Анна глупа, симпатично глупа, но глупа", — результат такого опрометчивого знакомства с образом, требовавшим сценического воплощения. В атмосфере юбилейных по Толстому работ — книг, статей и докладов — я с удовольствием перечитывал труд Е. Стенбок-Фермор. Как противоядие...

ELEANOR ROWE. HAMLET: A WINDOW ON RUSSIA. New York University Press. New York, 1976 (ЭЛЕОНОРА РОУ. ГАМЛЕТ: ОКНО В РОССИЮ.)

Др. Элеонора Роу, работая в области так называемого сравнительного литературоведения, выбрала одну из интереснейших тем — о влиянии западной литературы на историко-культурную и творческую действительность России. Тема эта все еще недостаточно развернута исследователями, несмотря на яркость отдельных фактов. "Россия оценила и вознесла Мольера выше, чем все страны Европы", — писал, например, один из французских литературоведов. А Мопассан? Число читающих его в современной России значительно больше, чем на его

родине. А Марк Твен; Джек Лондон — особенно, если коснуться литературы американской... Трагедия о принце датском начиная со второй половины 18-го века полонит воображение многих творческих умов России. "В течение 19-го века, — пишет Э. Роу, — Гамлет утверждается в русском сознании прочнее какого бы то ни было другого литературного образа".

В книге представлены различные сценические интерпретации этого образа от романтического и мрачного Гамлета Мочалова (1837) до пародийного — Акимова (1932) и позднейших (Смоктунувский в постановке Козинцева). Делает это Э. Роу в органической и интереснейшей связи с психологической и творческой концепцией Гамлета у великих русских писателей и теми изменениями этой концепции в сознании русской интеллигенции, которые она удачно называет "эволюцией русского гамлетизма". Эволюция эта прослеживается тщательно и тонко в прекрасно выделенных и мотивированных главах-этапах, охватывающих начало минувшего столетия и далее: "Тургенев, Гамлет и гамлетизм", "Толстой и Гамлет", "Достоевский и Гамлет", "Гамлет в годы Чехова и Блока", "Пастернак и Гамлет" и др. "Почему образ Гамлета оказался таким притягательным для русских?" Этот вопрос, который задает Э. Роу в своем "Заключении", фактически звучит и раскрывается на протяжении всей работы, составляя как бы внутреннюю ее тему и ее живой для читателя интерес.

Материал, использованный Э. Роу в ее исследовании, обширен и организован превосходно; превосходно также редкая в современных литературоведческих трудах сжатость и ясность изложения. Книга (186 страниц и 17 иллюстраций, открывающихся врубелевской картиной "Гамлет и Офелия") увлекательна и непременно должна была бы быть переведена на русский.

DOSTOEVSKY IN RUSSIAN AND WORLD THEATRE. VLADIMIR SEDURO, Professor - Emeritus, Rensselaer Polytechnic Institute. The Christopher Publishing House. U.S.A. 1977. (ВЛАДИМИР СЕДУРО. ДОСТОЕВСКИЙ В РУССКОМ ТЕАТРЕ И ТЕАТРАХ МИРА).

Нужно прежде всего подчеркнуть структурную "универсальность" книги: перед нами отнюдь не справочная иллюстрированная подборка инсценировок произведений Достоевского на русской и мировой сценах,

но — комплексная, широкого охвата, исследовательская разработка темы о театре Достоевского.

В. Седуро начинает с проблемы драматизации прозаических произведений вообще и творческой оправданности перевода их с языка повествовательного на язык сцены, — проблемы, которая, как он справедливо отмечает, составляет предмет дискуссий до нашего времени.

Вслед за двумя биографическими введениями ("Театр в жизни Достоевского" и "Достоевский — режиссер, критик и теоретик театра") развитие начатой темы продолжается в главах: "Сценические коллизии и театральная техника" и "К истории драматизации романов Достоевского". "Несмотря на риск цензурных запретов, — пишет В. Седуро, — искушение театрализовать Достоевского росло и усиливалось". Первым сценическим осуществлением этого искушения была постановка К.С. Станиславским пьесы "Фома". Картины прошлого в трех действиях," — им же сделанной инсценировки повести "Село Степанчиково и его обитатели". Можно было бы добавить, что помимо инсценировки Станиславского существовало несколько других, так и не увидевших света (А.М. Свечин, "Обыватели села Катюшина"; Мих. Зацкой, "Фома Фомич Опискин". Комедия в 4 действиях и др.), но это мое замечание никак не в упрек автору: труд его изобилует библиографическими данными и фактами, искусно отобранными как самые важные. Упомянутая выше комплексность авторского подхода составляет, по-моему, главную ценность книги; полнокровность исследования отмечает возможные упреки в многоплановости. В самом деле: театральные осуществления произведений Достоевского даются в аспектах: историческом, критико-идеологической борьбы (см., например: "Горький против Достоевского на сцене") и с собственно литературоведческими комментариями ("Трагедия Николая Ставрогина"). Всё это — воедино с рассмотрением постановок Достоевского на американской сцене и сценах Европы, включая отдельные, особенно интересные, случаи интерпретаций (например, "Бесы" — Альберта Камю). Даже и музыкально-драматические версии творческих переделок автором не забыты.

Нет сомнений в том, что эта богато изданная и иллюстрированная книга (130 иллюстраций!) — ценнейший вклад в литературу о Достоевском, притом — в области, не столь уж полно освещенной. Она будет читаться не только учеными, но всеми интересующимися творчеством великого писателя.

3. ВАТНИКОВА-ПРИЗЭЛ. О РУССКОЙ МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Критические анализы и библиография. Издание Russian Language Journal. East Lansing, 1978.

Книга д-ра З. Ватниковой-Призэл, как пишет она в предисловии "выросла из докторской диссертации, защищенной в Отделе славянских языков и литератур Ньюйоркского университета". Думаю, что есть все основания добавить: выросла из учебно-академической работы — в большой, самостоятельный исследовательский труд, значительно дополняющий сравнительно небогатую критическую библиографию в выбранной автором области: мемуары.

Интересен прежде всего опыт классификации мемуарных жанров (дневники, записки, собственно мемуары, литературные портреты, автобиографии), членение их по структурно-тематическим признакам, сопоставление, например, двух структурных центров: "автобиографического", с преобладанием "я" рассказчика, и "летописного", где преобладает эпоха. Интересно также и различие двух типов повествующего героя — "вспоминающего" и "комментирующего".

Намеченные автором мемуарные жанры представлены в "анализах" чегырьмя удачно выбранными произведениями — формальное их рассмотрение сделано очень содержательно, в значительной части своей — вполне "первично" и оригинально; разбор "Повести о жизни" К. Паустовского и "Люди, годы жизнь" — Ильи Эренбурга хочется выделить особенно. Новые, синкретические формы мемуарного жанра автор усматривает в таких произведениях, как "Бабий Яр" — А. Анатолия (Кузнецова), "Капля росы" — В. Солоухина и автобиографические творения В. Катаева ("Святой колодец", "Трава забвенья", "Разбитая жизнь ... или Волшебный рог Оберона" и "Кладбище в Скулянах"), действительно повернувшего на мемуары в последние годы (его "Алмазный мой венец", воспоминания, опубликованы уже после выхода книги З. Ватниковой-Призэл, совсем недавно).

Раздел "Библиография" содержит "перечень произведений мемуарного жанра и критические работы о них, авторами которых являются, главным образом, писатели"... — очень оправданный, по моему, принцип отбора.

Обширный материал, собранный автором, тщательность наблюдений, равно как и отдельные исследовательские выводы, — всё это ценно для каждого литературоведа. Книгу З. Ватниковой-Призэл нужно приветствовать!

Л. Ржевский

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- Михаил Хейфец.* Место и время. (Еврейские заметки) Изд. "Третья Волна". Франция. 1978. (208 стр.)
- Поэты и писатели русского зарубежья.* Портреты работы Е. Климова. Канада. 1977.
- А. Шифрин.* Вселенная и человечество. Притча о неверном управителе. Асунсион. 1976. (48 стр.)
- Лев Н. Толстой.* 1828-1978. Том XI. Изд. Русской Академической группы в США. Нью-Йорк. 1978. (255 стр.)
- Б. Нарциссов.* Звездная птица. Стихотворения. Вашингтон. 1978 (300 стр.)
- Петр Григоренко.* Сборник статей. Изд-во "Хроника". Нью-Йорк. 1977. (121 стр.)
- Олег Ильинский.* Стихи. Кн. 4-я. Мадрид. 1976. (93 стр.)
- Проф. С. Г. Пушкарев.* Ленин и Россия. Сборник статей. Изд. "Посев". 1978. (193 стр.).
- Петр Григоренко.* Наши будни. Изд. "Сучасність". Нью-Йорк. 1978. (21 стр.)
- С. Л. Войцеховский.* Эпизоды. Изд. "Заря". Лондон-Канада. 1978. (188 стр.)
- Иван Майстренко.* Национальная политика КПСС. Изд. "Сучасність". 1978. (223 стр.)
- Франтишек Силницкий.* Национальная политика КПСС в период с 1917 по 1922 г. Изд. "Сучасність". 1978. (314 стр.)
- Лия Владимирова.* Пора предчувствий. Вторая книга стихов. Изд. "Круг". Тель-Авив. 1978. (96 стр.)
- Валентина Синкевич.* Наступление дня. Стихи. Изд. "Перекрестки". Обложка Вл. Шаталова. Филадельфия. 1978.
- Барон Б. Э. Нольде.* Юрий Самарин и его время. ИМКА Пресс. Париж. 1978. (241 стр.)
- О религии Льва Толстого.* Сборник статей. Москва 1912. ИМКА Пресс. Париж. 1978. (248 стр.)
- Н. Анциферов.* Душа Петербурга. Изд. Брокгауз-Эфрон. Петербург 1922. ИМКА Пресс. Париж. 1978. (226 стр.)
- Памяти А. А. Блока.* Полярная Звезда. Петербург. 1922. ИМКА Пресс. Париж. 1978 (99 стр.)
- Князь Сергей Волконский.* Быт и бытие. Из прошлого, настоящего, вечного. Изд. "Медный всадник". 1924. ИМКА Пресс. Париж. 1978. (211 стр.)

- Н. Метнер.* Муза и мода. (Защита основ музыкального искусства) Париж. 1935. ИМКА Пресс. Париж. 1978. (154 стр.)
- Ю. Домбровский.* Факультет ненужных вещей. ИМКА Пресс. Париж. (476 стр.)
- Лидия Чуковская.* По эту сторону смерти. Из дневника 1936-1976. Стихи. ИМКА Пресс. Париж. 1978. (136 стр.)
- Г. М. Александров.* Я увожу к отвергнутым селениям. Роман в 2-х частях. ИМКА Пресс. Париж. 1978. (385 стр.)
- Родион Березов.* Лебединая песня. Ашфорд, Кон. США. 1978. (314 стр.)
- Зинаида Шаховская.* Рассказы. Статьи. Стихи. ИМКА Пресс. Париж 1978. (227 стр.)
- Третья Волна.* 3-4. Альманах литературы и искусства. Из-во "Третья Волна" Франция. (238 стр.)
- Андрей Битов.* Пушкинский дом. Ардис. Анн Арбор. 1978. (412 стр.)
- Георгий Бен.* Изменчивость. Изд. Время и мы. Мюнхен. 1977. (97 стр.)
- Глагол 2.* Изд. Ардис. Анн Арбор. 1978. (164 стр.)
- Зоя Призэл.* О русской мемуарной литературе. Изд. Russian Language Journal. East Lansing. 1978. (250 стр.)
- В. В. Шульгинь.* "Что намъ въ нихъ не нравится..." Об антисемитизме в России. 2-ое изд. "Славия". Париж 1930 (330 стр.)
- Сергей Ленский.* Живой памятник. (Историческая повесть). Изд. "Славия" Нью Йорк. 1976. (38 стр.)
- Мстислав Алоев.* Поэма о Нью Йорке и другие избранные стихотворения. Изд. "Славия". Нью Йорк. 1976. (65 стр.)
- А. Колибри.* Хорошо в краю родном... и в чужом. Изд "Славия" Нью Йорк. 1976. (108 стр.)
- Н. Костомаров.* Книги бытия украинского народа. "Славия". Нью Йорк. 1977 (28 стр.)
- Г. Климов.* Имя мое легион. Роман. Изд. "Славия". Нью Йорк. 1975 (526 стр.)
- Стрелецъ.* Сборник первый. Под редакцией Александра Беленсона. Изд. "Стрелец". Петроградъ. 1915. Переиздано "Ардис". Анн Арбор. 1978.
- Велемир Хлебников.* Зангези. Москва. 1922. (35 стр.) Переиздано "Ардис". Анн Арбор. 1978.
- Евг. Замятин.* Нечестивые рассказы. Артель писателей "Круг". Москва. 1927. (178 стр.) Переиздано "Ардис". Анн Арбор. 1978.

- Lydia Chukovskaya.* The Deserted House. With an introduction by Alexis Klimoff. Nordland Publishing Co. Belmont, Mass. 1978. (144 p.)
- Jan van der Eng. Jan M. Meijer, Herta Schmid.* On the Theory of Descriptive Poetics: Anton P. Chekhov as Story-teller and Playwright. The Peter de Ridder Press Lisse. 1978. (209 p.)
- Gary Rosenshield.* Crime and Punishment. The Techniques of the Omniscient Author. The Peter de Ridder Press. Lisse. 1978. (138 pages)
- Maurice Comtet.* Vladimir Galaktionovic Korolenko (1853-1921). l'homme et l'oeuvre. Tome I. Librairie Honore Champion. Paris. 1975. (432 pages) Tome II (434-850)
- Dissent in Ukraine.* The Ukrainian Herald. Issue 6. An Underground Journal from Soviet Ukraine. Introduction by Yaroslav Bilinsky. Smoloskyp Publishers. Baltimore. Paris, Toronto. 1977. (215 p.)
- The International Sakharov Hearing.* Edited by Marta Harasowska and Orest Olhovych. Smoloskyp Publishers Baltimore. Toronto. 1977 (335 p.)
- Nicolas Berdiaev Bibliographie.* Establie par Tamara Klepinine. Introduction de Pierre Pascal. YMCA-Press. Paris. 1978. (159 p.)
- Studia z Filologii Polskiej i Slowianskiej.* 17. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa. 1978 (325 pages)
- Wolfgang Kasack.* Die Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Harold Boldt Verlag K. G. Boppard. 1978 (157 p.)
- Bernard Comrie & Gerald Stone.* The Russian Language since the Revolution Clarendon Press. Oxford. 1978 (258 pages)
- Andrej Kodjak.* Alexander Solzhenitsyn. Twayne Publishers Boston. 1978. (170 pages)
- Constantin V. Ponomareff.* Sergey Esenin. Twayne Publishers. Boston. 1978 (194 pages)
- Boris Pasternak.* Collected Prose. Edited with an introduction by Christopher Barnes. Praeger Publishers. New York. 1977. (283 pages)
- A. Colin Wright.* Mikhail Bulgakov. Life and Interpretation. University of Toronto Press. Toronto. 1978. (324 pages)

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией

Г. АНДРЕЕВА, РОМАНА ГУЛЯ

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1979 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1979 год 24 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 7 долларов
Во Франции — 25 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме
праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня
